
В. Маканин • Место под солнцем
Владимир Маканин
Место под солнцем

Владимир
Маканин

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Рассказы



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1984

84Р7
М 15

Художник
СЕРГЕЙ ГЕТА

М $\frac{4702010200-153}{078(02)-84}$ 112—83

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Новая книга рассказов Владимира Маканина представлена подборкой написанных в разные годы произведений, варьирующих одну и ту же тему — выбора героями своей жизненной позиции, показывающих на разных творческих этапах развитие одной, сугубо маканинской концепции, его позицию.

Место под солнцем в широком толковании маканинских героев и их творца — вовсе не тепленькое или привилегированное местечко, обеспечивающее безбедное существование, а именно место в жизни, место среди людей, что в конечном счете определяется внутренней ответственностью всякого человека — его совестью.

Есть в творчестве Владимира Маканина один мотив, который прослушивается во многих его произведениях, начиная с первого романа «Прямая линия». Помните молодого научного работника, который в решительную минуту взял ответственность за аварию на себя? Как потом выяснилось, такой самоотверженности были недостаточно, груз ответственности оказался слишком велик, и человек не выдюжил, сломался — сломался физически, но не нравственно, потому что не раскаялся в своем решении.

Этот мотив личной ответственности современного человека, личной его причастности ко всему, что делается при нас и будет после нас (истоки будущего — в настоящем), оказался не просто ведущим у Маканина, с каждым новым произведением автора он усложняется, как усложняются социальные и личностные связи с миром повзрослевших его героев.

Классическая литература прошлого имела два типа героев — хозяина и слугу, господина и маленького человека. Такое со-

словное разграничение определяло права, обязанности и линию жизненного поведения обоих. Господа повелевали, слуги несли свой крест. Такие, как Семен Вырин, например, Акакий Акакиевич, Макар Девушкин, Антон-горемыка... Тургенев разглядел в однородной массе крепостных крестьян социальные характеры, различил Хоря и Калиныча, сочувствуя им, удивлялся дерзостной силе Базарова, а разночинцы заговорили не о благородной жалости к маленькому человеку — в долготерпении его обвинили, зреющий протест поторопили. А сколько сделал, «по капле выдавливая из себя раба», нравственно цельный, мужественный Чехов! С творчеством Горького связана целая эпоха социального взросления маленького человека в литературе — от деклассированных босяков до убежденных, последовательных революционеров.

И вот уже нет у нас прежнего надвое расколотого общества, нет сословной и экономической обездоленности для одних и вседозволенности для других: проблема социального неравенства принципиально решена полностью.

В рассказе «Голубое и красное», включенном в настоящий сборник, сорокалетний Ключарев вспоминает свое послевоенное детство, которое прошло под влиянием двух бабушек, Матрены и Натальи. Первая была крестьянкой, черная кость, работница и мать, самостоятельная, ведающая истинную цену хлебу, цену труду. А бабка Наталья и ее компаньонка — интеллигентные старушки, знающие французский, любящие литературу и искусство, добрые, непрактичные, беспомощные в быту. Они мягки, деликатны, умны, но тем не менее враждуют с Матреной, а Матрена с ними, это разные миры, и маленький Ключарев находится в цепких руках разрывающей его надвое любви и ненависти.

Этот важный не только для настоящего сборника рассказ, как бы советующий не забывать сложных процессов формирования современного человека, у Маканина не случаен. Он пишет в основном о наших днях, его герои — люди большого города, успевшие обосноваться на теплом, безбедном асфальте, хотя некоторые еще не обосновались по-настоящему, отпали от деревни и не привились в городе, мечутся, ищут свое место в жизни, как, например, слесарь-сантехник Куренков из рассказа «Антили-

дер». Он не то чтобы не признает власти над собой — пожалуйста, распоряжайся, если по должности, если надо для дела. Он не выносит превосходства одного человека над другим, не терпит разграничения на маленьких и больших, восстает против лидерства вообще. Обычно тихий, смирный, этот человек становится агрессивным и яростно нападает на любого «лидера», даже если тот значительно сильней его.

Рассказ одновременно грустный и иронический, чувствуется, что не очень ловкий слесарь Куренков и симпатичен автору открытым бунтом против своего положения маленького человека, и пугает своей необузданностью, а у читателя возникает желание более участливого отношения к каждому человеку, и не только к Куренкову, человеку искреннему, честному, которому борьба с «лидерами» не приносит никаких выгод.

Герои рассказа «Человек свиты», Митя и Вика — мелкие служащие, а Аглая Андреевна — что-то вроде столоначальницы. Она вольна их наказывать (руками своего директора) и миловать, приближать к себе и лишать высокого расположения. Аглая Андреевна расположения лишила: не нужны они ей более, не годятся своей послушностью, угодничеством.

Автор мог бы сочувствовать попавшим в «опалу» маленьким людям — Вике и Мите — и обличать Аглаю Андреевну, а он отчасти и смеется. Авторская ироничность отмечается всеми писавшими о творчестве Маканина как особенность его художественного дара, хотя ирония у него лишь средство, которое он использует не всегда. В «Прямой линии», например, ее почти нет, в рассказе «Пойте им тихо» тоже все доверительно, сердечно, люди в беде, и нехитрые причитания пожилой женщины серьезно принимаются в больничной палате, как целительное средство. И художественная идея — «доброта сильнее лекарства» — заявлена с доверчивой публицистической открытостью.

Он не любит высоких слов, патетики, не доверяет им, не считает необходимыми в наше равнинное время. Особенно если речь не о звездных минутах героя, а о человеке обыкновенном, в его обыденной семейно-бытовой и производственной жизни. Да если к тому же человек не очень симпатичен. Как мастер мебельной фабрики Михайлов, как математик Стрепетов, поэтес-

са Нестерова («Отдушина»). Тут ирония — в самый раз. Герои идут на сделку с совестью, и автор им не прощает.

По Далю, «совесть — нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращение ото лжи и зла; невольная любовь к добру и истине; прирожденная правда в различной степени развития...».

Можно сказать лаконичней, но можно ли сказать полнее? С высоким пониманием совести подходит Маканин к нравственной оценке и героев романа «Портрет и вокруг» — Старохатова, Веры, Игоря Петровича, Ани, Эдика Шишкина, Виталия Старохатова. Люди творческой интеллигенции, они в той или иной мере поддались довольно распространенному ныне культу вещей, потребительству, следствием чего явились склонность к хапанию, к наживе, и теперь им не обойтись без внутренних мук, без ответа перед своей совестью, иначе тихо восторжествует внутри человека мещанин.

В заявлении своих героев, порой в слишком пристальном обнажении их ошибок души Маканин беспощаден. Когда люди вольны в своих поступках, когда они сами могут определять линию своего поведения и таким образом принимать прямое участие в формировании нравственной атмосферы общества, с них авторский спрос еще строже.

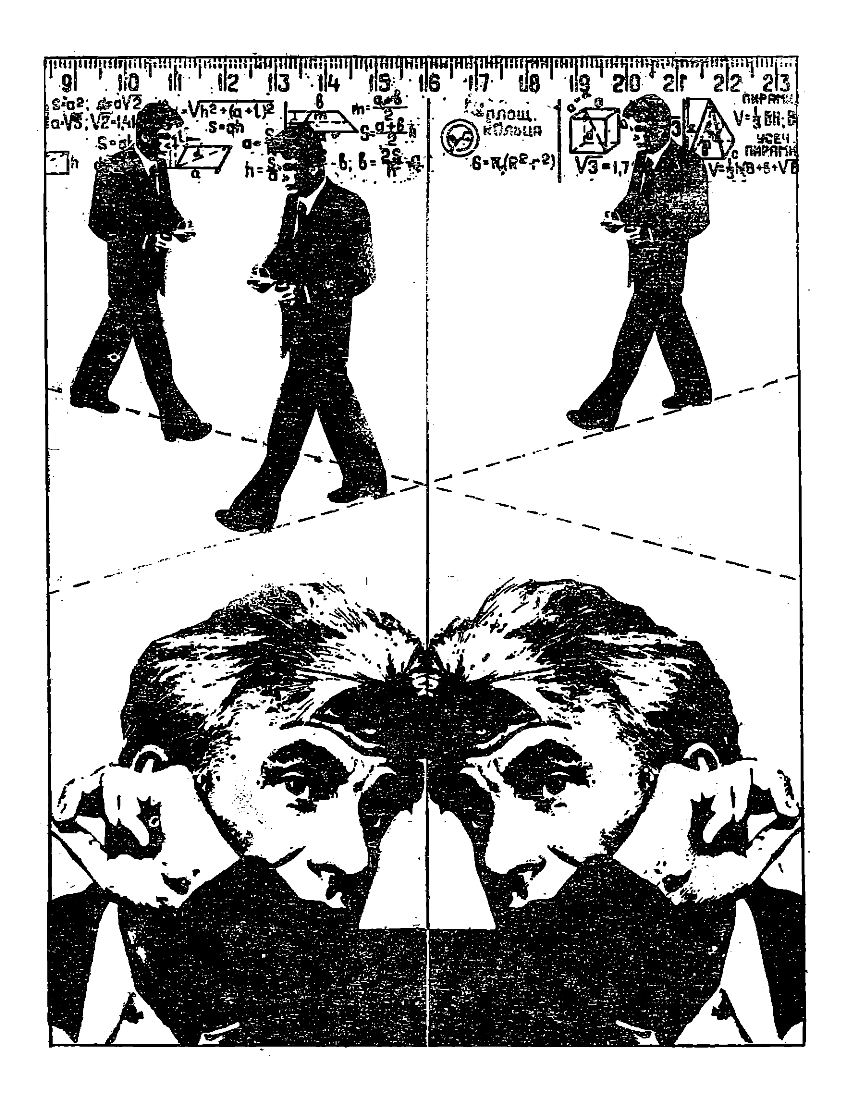
Пристально взглядываясь в своих героев и современную жизнь, писатель напряженно размышляет о человеческой природе вообще и о конкретном человеке, например, о том же Ключареве из рассказа «Ключарев и Алимушкин». В своей служебной удачливости Ключарев как бы сменил Алимушкина, он чувствует вначале беспокойство за Алимушкина, ответственность за его судьбу, но потом, когда утвердился в собственной удачливости, эта ответственность ослабевает и исчезает совсем.

И несомненно, что в рассказе «Человек свиты» совершают поступки люди с ослабленным чувством личной ответственности и самостоятельности.

Зато какой болью и каким чувством личной ответственности за все, что происходит вокруг, исполнен композитор Башилов, герой рассказа «Где сходилось небо с холмами». Здесь авторская позиция обнажена до предела — боль героя сливается с болью рассказчика, и нет места иронии в этом, может быть, главном, программном произведении сборника.

С другой стороны, едко иронизируя над героями «свиты», Маканин беспощадно бичует их затянувшуюся интеллектуальную и духовную инфантильность, потребительство, не спуская моральных компромиссов особенно тем, кто сделки с собственной совестью во имя мелкой выгоды пытается объяснить и оправдать некими уважительными причинами. Писателю хочется почувствовать их раскаяние, довести их до этого состояния и наконец увидеть, как черт в церкви плачет. Вдруг слезы будут искренними, целительными, очищающими, и грешник начнет выпрямляться. Бывший маленький человек, ставший полным хозяином окружающей жизни. Ведь должен же он и в массе выпрямиться во весь рост, стать не просто высоконравственным, но и социально активным, лично ответственным не только за себя, но и за свое время, за всю нашу жизнь. Мера личной ответственности у Маканина — самая высокая мера.

Анатолий Жуков


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
площ. кольца
S=π(R²-r²)

ЧЕЛОВЕК СВИТЫ

1

— ...Но что-то стряслось!

— Не знаю.

— Ты, Митя, подумай.

— А ты сама, Вика, подумай! — уже и колко говорит мужчина. Но колкие фразы их единству не мешают, и, едва начинает накрапывать дождь, Родионцев раскрывает зонт: оба идут под зонтом, притиснувшиеся друг к другу.

— Настроение тут ни при чем. Аглая Андреевна прекрасно владеет собой. А вывод: недовольство ее чем-то вызвал я.

— Но чем?

— Не знаю.

— Ну так припомни...

Громада серых учрежденческих зданий осталась у них за спиной. Дождь усиливается, но уже близко метро.

— Чего гадать — скоро выяснится.

— Неплохо бы, Митя, именно угадать — угадать и исправить. Н а м надо быть начеку.

Родионцев ее дружеский знак отметил и оценил, однако интуитивно он чувствует, что недовольство Аглаи Андреевны распространяется все-таки больше на него, чем на Вику (если это не мнительность). Расставаясь, Аглая Андреевна была холодна, промолчала о будущей встрече, и с того дня не последовало ни единого телефонного звонка. Наверное, есть лучшие способы сообщать, что с тобой отныне не водятся и что тебя разлю-

били (что тобой недовольны), но им — Вике Журавлевой и Родионцеву — придется, вероятно, мириться с тем, что есть: с недосказанностью. В метро припоминаются мельчайшие подробности реплик Аглаи Андреевны, но даже и дословно воспроизведя тот разговор, они никак не могут достичь следующего малоуловимого круга ее чувствований — круга, который она воплощает молчанием и неподвижностью своего красивого лица.

То ли расположение окон таково, что света через них вбирается много, то ли Аглая Андреевна звала их пить чай в самые солнечные дни, но это и впрямь непонятно и почти мистика: здесь не бывает непогоды. Приемная директора в такой час особенно просторна и заливаема солнцем — закатным, нестрастным, мягким, но обильным. Шторы раздвинуты до предела, в креслах уютно, а над дымчатым фарфоровым чайником, только что внесенным и зазывно стоящим на подносе, клубится легкий парок.

Комнатных цветов в приемной нет, лишь один-единственный: старая, пожившая роза. Когда в приемной наводили достойный начальства лоск и все хоть чуточку мещанское изгоняли, розу оставили за то, что цвела беспрерывно: на ветке близко к корням вспыхивал бутон, и на другой, на третьей, на пятой, затем огонь перекидывался на ветки среднего яруса, а на смену им зацветала уже и вся вершина. У могучего и, вероятно, предельно истощенного растения без цветка не было буквально ни дня. Красивая старостью (аристократ, уцелевший и выживший), роза без всякого труда сделалась достойной солнечной приемной и ее хозяйки — Аглаи Андреевны, а в их общем чаепитии именно роза была четвертым и тоже обязательным персонажем. Он, Родионцев, всегда сидел в кресле, что ближе к окну, а Вика — в том, что в глубине. А за столом сидела Аглая Андреевна, секретарь директора, с царственно-неприступной и одновременно доброй улыбкой. (Красивые глаза. Ухоженное крупное тело. Два дорогих кольца, изредка сигарета.

А на столе — чашка с дымящимся чаем.) С утра кипели деловые страсти, и, если позволительно сравнивать людей их «Техпроекта» с муравьями, здесь была вершина огромного муравейника. И лишь к концу — часам к пяти, к шести — муравьиная жизнь стихала, директор уходил, и Аглая Андреевна позволяла себе немного расслабиться. Аглая Андреевна пила чай, дела отброшены — час чая. И если кто-то заглядывал, даже из персон, Аглая Андреевна не смущалась — она лишь улыбалась вошедшему, как бы говоря: видите, отдых. Или же поясняла словами: дела закончены, директор ушел.

В час чая Аглая Андреевна звала к себе Родионцева и Вику, и вовсе не только о делах говорили они, а, скажем, о слухах; они говорили о семейных неурядицах, о том и о сем — Родионцев, к примеру, рассказывал о дочери-студентке: девчонка капризничала и, переборчивая, никак не хотела продолжать учение в вузе, в который к тому же едва-едва поступила.

«Чего же она хочет?» — ласково и покойно спрашивала Аглая Андреевна.

«В том-то и дело, что сама не знает».

«А головные боли у нее прошли?» — Аглая Андреевна знала и помнила все или почти все о дочери Родионцева, а также о его жене, а также о муже и маленьком сынишке Вики Журавлевой. (И не только о связанных родством, она помнила и о друзьях, о знакомых.)

«Головные боли у нее начались со школьных экзаменов».

Тему подхватывала Вика:

«К новшествам школы ни дети не успевают привыкнуть, ни родители — моему сыну идти в первый класс, а я уже загодя боюсь!»

«Помаешься, Вика!» — Родионцев подливал чай.

Аглая Андреевна со вздохом замечала, что в ее годы учиться было легче:

«Сказать по совести, я училась трудно, я ленивая была. Правда — красивая».

«Вы и сейчас красивая».

«Ну уж!..» — улыбалась Аглая Андреевна, поднося к губам чашку с чаем, и минутка грусти, проскользнувшая, вдруг повисала в этой залитой солнцем приемной. Минутка висела чуть дольше, чем нужно: миг, сопричастный красоте увядания, — и сама же Аглая Андреевна, неспешное время подтолкнув, говорила: что это мы пригорюнились, поговорим-ка о веселом...

Отряхивая зонт и в раскрытом виде оставляя его сохнуть у порога, Родионцев вдруг чувствует усталость (а ведь он из тех, кто спортивен и носит спортивные костюмы: моложавый мужчина, поджарый и быстрый для своих сорока лет) — вялый, он прошел на кухню, где и садится за стол, вроде бы сразу собираясь поесть, хотя есть он не хочет. Все его сорок лет сейчас с ним.

— Митя, я хотела бы знать поточнее: когда ты едешь на Староволжский завод? — спрашивает жена.

Он молчит, а жена — в глубине комнаты, полагая, что он не слышит, — повышает голос:

— Мне, Митя, все равно, уедешь ты на неделю или даже на десять дней, но мне важно знать, в конце месяца или в начале. Ты меня слышишь, Митя?

— Я, может быть, не поеду.

— Как это не поедешь?

— Может же Аглая Андреевна отрядить не меня, а кого-то другого...

Тут уж жена бросает свои дела в комнате и, не перекликаясь с ним издали, как в лесу, подходит; подойдя, трогает его, жующего корочку хлеба, за плечо:

— Митя, что-то неладно?

Жена часто болела, а дочь плохо училась, что для семьи в среднем приводило к жизни нелегкой, и, в сущности, к удару или к ударам жена была готова: из рас-

хаживающей по комнате женщины, говорливой и даже улыбающейся, она без перехода сразу превратилась в женщину сдержанную и ко всему внимательную. Она у него молодец. Он, Родионцев, нет-нет и хорохорился, а вот жена являла собой их семью общée и зримее: жизнь, а правильнее, молодость, давно, мол, прошла, жизнь смирила, и теперь нам достаточно иметь совсем немногое, а все остальное в мире пусть проходит мимо, мы обойдемся.

Сначала Родионцев отвечает невпопад, как полуглухой, но жена понемногу и ласково выуживает и выспрашивает: значит, что-то случилось? а, вспомни? а почему ты считаешь, что Аглая Андреевна стала относиться к вам с Викой по-иному?

Она даже так говорит успокаивая:

— Бывает, Митя, что многое, чем терзаешься, ты сам в себе растравил, а на деле этого нет.

На что он отвечает:

— Когда это я был мнительным?

Семья, как правило, считает смутной всякую ситуацию, которая ясностью своей хоть сколько-нибудь уступает ясности самой семьи, — и вот, подперев рукой голову, жена присела около, то ли смотрит в окно, то ли прислушивается к шуму проходящего там транспорта: улица под их окнами шумна. Молчат. Родионцев все же шевельнулся: вспомнил, что, как пришел, не видел дочери.

— Где она?

— Гуляет.

— У нее сессия, а она гуляет! — Это он просто так ворчит — вперед и в ожидание всяких прочих неприятностей и бед, которые, как известно, в одиночку не ходят. Но теперь молчит жена, отбывшая днем на службе, а к приходу Родионцева уже постоявшая у плиты: она быстро выдохлась, и у нее нет сил, чтобы спорить или даже просто затевать долгий разговор с какими-то выводами, пусть нужными.

Сынишка — пяти лет от роду — сидит и ковыряется в детском ручном пулемете, чинит, а у мужа (он перед телевизором) сейчас, разумеется, лучшие минуты жизни: смотрит футбол. Вика сбрасывает плащ и останавливается у него за спиной:

— На работе намечаются новости...

Муж реагирует коротко: «Ну и ладно!» — что понятно сразу и что в переводе на семейный означает: не мешай смотреть. Футболисты на экране прыгают, бьют и с правой, и с левой. Пребывая в продолжающемся раздумье, Вика и не ему, собственно, говорила — себе. Чутье работает с полной отдачей (для своих тридцати пяти Вика вышла замуж недавно, а до замужества ее хорошо покатало и помяло). Чутье не обманывает: Аглая почему-то ставит на Родионцеве крест, а может быть, на Родионцеве и на Вике вместе. Но почему, если они оба свое «солнечное местечко» старательно отрабатывали: они делали Аглае множество услуг и ведь не жалели времени: съездить, сбегать, узнать — всегда на подхвате...

Раздражение переносится на мужа, который воткнулся в телевизор и смотрит футбол. Муж у Вики веселый и добродушный. И сынишка у Вики тоже веселый и добродушный. И когда-то Вике казалось, что такая семья — предел счастья, тем более что замуж Вика вышла с запозданием и почти без любви и, как говорится, н а к о н е ц - т о. Однако прошло несколько лет, и выяснилось, что, помимо замужества, и семьи, и сынишки, есть еще жизнь, которую надо ж и т ь. Если даже и попал на солнечное местечко, нужно перемещаться, шевелиться и прилагать усилия, чтобы не оказаться в тени, когда солнце сместится. Солнце, хотя и помалу, смещается, и в тени оказаться — просто и быстро. Да, Вика суетная и, может быть, мелкая женщина, ну и ладно, какая есть. Во всяком случае, возле Аглаи Андреевны она чувствует себя активной, даже и нужной: тонус в жизни — это совсем немало, и лиши Вику этого, она захандрит, заболеет, нет, она именно заболеет, и, кстати, многие люди в

городе заболеют, лиши их активности, пусть мелкой и суетной.

— Ну, ты, Прозябатель, — говорит Вика мужу, который накормил сына кашей, после чего достал из холодильника пару пива и прикипел к экрану, считая, что перед семьей и человечеством на сегодняшний день чист.

— Дай посмотреть... Не мешай.

— Ну конечно, как можно пропустить футбол! А ты позаботился о том, как твоя семья — твоя жена и твой сын — проведут лето? Нет, ты скажи: должен или не должен муж думать о лете? (Аглая Андреевна помогла Вике достать путевки в чистенький пансионатик, притом на два срока, решив тем самым проблему лета и отпусков, мужик же Викин обрадовался, приняв как должное. Он, кажется, посчитал, что пансионатик будет отныне каждый год. Лодырь. Лишь бы с плеч...)

— Футбол надо смотреть с удовольствием, а если смотреть под твой скрип, то лучше сразу выключить!

— Ну и выключи! — Вика сердита.

В раздражении она тянет руку к телевизору:

— Ну что — выключить?

— Отстань же! — грубо, как в очереди, вскрикивает муж. И Вика осмотрительно идет на попятную. (Он, если зол, свирепеет.) Вика уходит на кухню, но добра в сердце своем она на мужа не держит: ничтожество...

Она стряпает, но, чтобы успокоиться, бросает стряпню и идет в ванную, где плещется под душем и где ей действительно становится легче. Как только нервы расслабились, она понимает, что в конце концов муж — это муж, приносит зарплату домой и смотрит по вечерам телевизор, веселый, любит сына — мало ли?.. Освеженная душем и вытирающаяся, она кричит ему из ванной:

— Какой счет?

— Ноль-ноль, — охотно откликается муж.

Вика фыркает, вот их суть: мужики смотрят свое ноль-ноль, и у нее еще до замужества накопился

огромный опыт по отношению к столь замечательному мужскому качеству. Вновь сдержавшись, Вика идет к столу, затем зовет мужа ужинать и сынишку кличет тоже, раскладывая уже по тарелкам.

Муж усаживается.

— Что ты там бормотала про лето? — спрашивает он, набивая полный рот. — Мы же решили (он жует), что едем все трое (жует) в ваш пансионат в Подмосковье (жует)...

— В это лето едем. Но дальше — не знаю.

— А что может перемениться к будущему лету?

— Все бывает.

— До будущего лета дожить надо! — Привычно от забот отмахнувшийся, он с новой силой налегает на еду. А Вика нервничает. Если перемены и если она лишится солнечного местечка, она сделается такой же, как и муж. Неучаствующей. Бездеятельной и безликой. Ей в пору пристраститься к футболу.

Лишь поздним вечером раздается звонок, и Аглая Андреевна, за позднее время извинившись, просит Вику, как и обычно, зайти к ней завтра: надо помочь разобрать стенограммы. А после, мол, поговорим. За чаем. (О Родионцеве ни слова.)

У Вики от сердца отлегло: прощена! — хоть и не знает, в чем винили. Как после южного вина, в голове легкость, свежесть, она улыбается, она придет, она непременно завтра придет, она прямо-таки воркует в телефонную трубку, однако товарищ — это товарищ, и Вика не столько на мужестве, сколько на счастливой вроде бы бездумности отваживается спросить:

— А Митя тоже завтра будет?

— Милая Вика, любите же вы усложнять. Я жду только вас.

— Я понимаю. Извините... — лепечет Вика, после

чего они и прощаются, пожелав друг другу спокойной ночи.

Муж, всласть покуривший, смеется:

— Ну видишь, все обошлось.

Муж ложится спать, тишина; сынишка уж давно спит. А Вика все колеблется: отзвонить ли Родионцеву?..

Вика размышляет: может, Митя где-то что-то ляпнул или не так сказал, и Аглая осердилась, но ведь Аглая отходчива, и как только возникнет необходимость (наметится поездка или объявится хлопотливое дельце), Митя тут же понадобится и его призовут, если суть и впрямь в какой-то мелкой досаде. Но едва ли, Аглая умна и из пустяков суеты не подымет; разве что за ним что-то вдруг обнаружилось. Аглая щепетильна и не выносит, к примеру, пьянства или иных общедоступных пороков, но что может обнаружиться за аккуратным Митей, человеком обычным и (одновременно) человеком осторожным?.. Вика колеблется, однако ночь все ближе, и вот чувство приятельства берет верх. Как бы за спиной Аглаи Андреевны позвонив Родионцеву, Вика сообщает, что назавтра она звана, а он — нет.

— Был у тебя какой-то промах, Митя, вот только какой?

2

После ее звонка Родионцев только и делает, что ищет этот промах и прежде всего в днях недавних, по времени близких. Достигнув в своем поиске определенной изощренности, он очень скоро находит два случая, которые тщательнейше исследует. Он только ими и занят. Оба случая были на чаепитиях, и для различия Родионцев нумерует их как чаепитие-один и чаепитие-два.

В первом была (скажем так) вольность. Известно, что Аглая Андреевна в молодости боготворила их шефа, то есть нынешнего директора, поговаривали, что была с ним даже и связана чуть ли не по амурной части, бог с

ней! — факт же в том, что внешне либеральная, смелая на язык, она втайне все еще могла его боготворить, а он, Родионцев, разогнавшийся в том легкокрылом разговоре, сказал: «Вот еще! Будет наш директор думать и помнить о Птицыне!» — на что Аглая Андреевна негромко возразила: «Он думает и помнит о всех». Родионцев и на тихий этот нажим никак не отреагировал. «Ну вот еще, станет он помнить о замухрышке Птицыне!» — продолжал он упрямо, даже и нагловато (если вдуматься), потому что Аглая Андреевна, вдруг сбавив голос, тихо и совсем уж покорно произнесла: «Уверяю вас, он помнит о всех...» — после чего Вика незаметно толкнула его ногой; спохватившийся, он смолк, а Вика, помогая, скоренько перевела разговор на другое.

Второе сомнительное чаепитие, отстоявшее от первого ровно на неделю (и там и тут — вторник), Родионцев тоже оглядел и обдумал, он нашел, что было, пожалуй, как-то особенно солнечно: солнце, хотя и предзакатное, так и вламывалось в окна, а Аглая Андреевна была утомлена: лишь час назад закончилось важное совещание у директора. Утомление заметил и он, заметила и Вика, а к тому времени в коридорах шагов уже не слышалось — «Техпроект» опустел. Было семь часов, а то и восьмой, но они, засидевшиеся, что-то втроем еще обсуждали, даже и наново заварили чай. Стали наконец прощаться, и тут Аглая Андреевна сказала, что она остается и кое-что из дел текущих подготовит на завтра. И с какой-то вкрадчивостью она это сказала: «До свиданья». «До свиданья», — он был в шаге от нее (она сидела за столом, он помнит), а Вика прошла вперед, хотя и она, конечно, слышала. «Вернитесь, Митя, выкурим еще по сигарете, хотите?» — сказала Аглая Андреевна, и он, конечно, кивнул. Он кивнул, и солнце (это уж Вика припомнила) как-то своеобразно освещало глаза Аглаи Андреевны: голубые, они вдруг делались серыми, а только сместишься чуть в сторону — вновь голубые.

Когда вышли, Вика восторгалась:

— Замечательная она женщина!

— Да... Для меня каждое общение с ней в радость! — Он никогда в славословиях, тем более аккуратных, не отставал от Вики, и вот, поддакивая, он спустился вниз, взял в раздевалке плащ, чтобы человека там не задерживать, и, сказав Вике: «Подымусь, она просила», — простился. Он и Вика работали в разных отделах, и понятно, что в некоторые вопросы обоих разом было лучше не вмешивать, но могло быть и так, что час поздний и Аглая Андреевна попросту не хотела Вику задерживать, а Родионцев был нужен; так или иначе с плащом через руку и с портфелем он взбежал вновь на второй этаж и вошел.

Аглая Андреевна сидела не за столом, а в кресле, на том месте, где только что сидел Родионцев, — он подошел, шаг сбавив и вполне осторожно, так как еще с порога увидел, что она сидит, прикрыв глаза. Он тихо позвал ее; она, утомленная, не шевельнулась. Она сидела, чуть склонив голову и подставив закатным лучам не столько лицо, сколько лоб, выпуклый, красиво очерченный, высокий. Он окликнул еще, чуть громче. Она была вроде как в дреме. Она подняла лицо и сказала:

— Утомилась... Дайте же сигарету.

Они закурили. Он — стоя и держа плащ и портфель, она — сидя в кресле. После легкой и, кажется, первой же затяжки Аглая Андреевна сказала:

— Ну-ну, продолжайте. Продолжим наш разговор...

Тут он смешался.

— О... чем?

Он забыл. Она подняла глаза уже со значением, а он замялся и, кажется, даже улыбнулся: забыл, мол. (Торопясь вернуться, шел слишком быстро.)

— Как же это можно — забыть?

Она не рассердилась, она прекрасно владела собой — всегда и сейчас тоже: ну, мол, забыл и забыл, но промашка его, разумеется, была зафиксирована. Усиление чувства не требовалось. И тогда Родионцев заговорил

сам собой и наугад, выхватывая из памяти какие-то разговорные куски, пусть случайные:

— Вы хотели, чтобы часть бумаг я отвез на ксерокопию... Я смогу... Но вообще-то нам пора иметь...

Однако Аглая Андреевна про ксерокопию тоже не поддержала — и, видно, впрямь он крепко запамятовал; он еще и еще дергался словами туда и сюда, на ощупь, но все без успеха; сигареты были докурены, и Аглая Андреевна отпустила его: идите, мол, а у меня работа на завтра. «Не помочь ли?» — «Нет-нет...» Теперь Родионцев вроде бы вспомнил (и Вика подтвердила), что разговор перед уходом был о директоре. То есть опять же о директоре (если учесть предыдущее чаепитие). Тем не менее опыт говорил, что сами по себе слова, хотя бы и повторенные, не могут быть таким уж промахом, чтобы прогнать человека с глаз долой, даже и не вспылив.

Второе чаепитие вычленила и Вика. «А помнишь, — говорит она, прощупывая и вдруг глядя глаза в глаза, — Аглая попросила тебя, и ты к ней вернулся...» — «Ну и что?» А Вика, нимало не прячась, спрашивает:

— Ничего ли *там* не случилось, Митя?

Вика пришла к ним домой, и сначала она шушукалась с женой Родионцева, а теперь (жена Родионцева на кухне варит им кофе) Вика спрашивает, уже и повторяясь:

— А ничего ли там не случилось, Митя? — Бывшая у Аглаи вновь и обласканная, Вика искренне хочет помочь и ему: ей кажется, что Родионцев умалчивает, стесняясь назвать, и что знает, возможно, свой промах, но таит. И так и этак она намекает, что всякий промах можно исправить и загладить, но для этого надо же знать, в чем он состоит, промах?.. Ну хорошо, если человек не знает, не помнит, он должен, хотя бы и усилием, вспомнить — не так ли?

На шесть, что ли, лет Вика моложе Родионцева, но

ведь она практичнее. Отметившая и сразу вычленившая тот случай, когда он поднялся к Аглае один, она расспрашивает, а затем намекает без подготовки да и без церемоний, не нарушил ли он, Родионцев, дистанции меж мужчиной и женщиной в отношениях с Аглаей Андреевной?.. Так она это формулирует, и Родионцев смеется: да полно тебе!..

«Знаю я вас, мужиков...» — «Тише хоть говори». — «Что, что?» — «Потише», — просит он, после чего Вика тут же и во весь голос, чуть ли не оскорбленная, вопит: «При чем тут «тише»?! Мы взрослые люди, и мы обсуждаем твою промашку!.. Галя!» — Она зовет жену Родионцева, и, когда та не без испуга прибегает с кухни, Вика говорит: «Галя, так я и знала: этот идиот еще и стесняется рассказать. Пойми, Митя, мы говорим не о пустяках, мы говорим о жизни!» — «Да вовсе не стесняюсь я, с чего вы взяли?» — вспылил тогда и он. «О господи», — говорит жена Родионцева с болезненно перекошенным лицом, что не нравится Родионцеву еще больше, чем нападки Вики. Он молчит. Возникает общая неловкость, так что поспевший кофе они пьют почти молча. А уходя, Вика шепчет жене Родионцева, притом не очень-то тихо шепчет: выуди, мол, из своего болвана.

Они вдвоем, и дочь еще не пришла, и потому, едва жена пытается что-то выспросить, Родионцев возмущается и в словах себя не сдерживает:

— Ты что думаешь, я там, в приемной, когда вернулся, стал ее с ходу обхаживать?

— ?..

— Или ты думаешь, что я стал заваливать ее там, прямо на диване?

— Ничего я не думаю, Митя.

Он замолчал, а жена тоже сидит, притихшая от грубых его слов, а еще больше от интонации: обиделась, но уж зато более не заикнется на эту веселую тему; она бы и вовсе не заикнулась, не поднакачай ее Вика, дока в бытовых грешках.

Приходит дочь.

— У тебя сессия, а ты все шляешься! — встречает ее неостывший Родионцев.

Когда Родионцев и Вике сказал: да полно тебе, или ты думаешь, что я набросился на нее в приемной? — она сделала обратное и несколько неожиданное предположение:

— Может быть, не набросился, чем и виноват.

— Ну уж нет, Вика, хватит!

Он тогда отказался от этой мысли слишком просто. Он и вправду воспроизвел в памяти то, второе, чаепитие посекундно, вплоть до самых мелочей и оттенков, и надо сказать, что в сравнении «чаепитие-один» показалось ему теперь более неловким и более, что ли, крамольным: он тогда тупо, именно тупо и с хохотком повторил: «Ну вот еще, станет он помнить Птицына», — на что Аглая Андреевна при нагловатом его повторе (зачем упорствовал, к чему?) — прикрыла на миг лицо, вроде как красивую свою бровь слегка потрогала мизинцем — этот ее жест он когда-то видел. Роясь в давнем и в недавнем, припоминая — подчас и мучительно, — когда и в чьей ситуации был подобный ее жест, он вспомнил: какой-то хам, случайный, из провинции, ломился к директору на прием, а Аглая Андреевна вежливо и вполне корректно, можно сказать, по-королевски, его не пускала. И не от брани, не от слов, извергаемых этим хамом, а от двух-трех даже и тихих мещанских словечек вдруг ее передернуло, и, чтобы скрыть, она вот так же коснулась брови рукой, закрыла на миг лицо, по-королевски же выказывая редкое самообладание.

К Родионцевым домой Вика на этот раз пришла с мужем, нагрянула — опять же полна заботой, желанием узнать и вынюхать, как же это человек оступился: уже и второй раз на чаепитие в приемную его не звали. Такова жизнь. Родионцев и ее муж сидят, курят, а сама

Вика с его, Родионцева, женой наскоро готовят подобие застолья, бегая вкруг раздвинутого стола и спеша одно прибрать, другое принести: хозяйничают. Вика говорит нервно и нацеленно:

— Надо срочно исправлять промах... Аглая может найти кого-нибудь ему взамен.

— Как взамен? — спрашивает жена.

— А так: найдут, откопают в каком-нибудь отделе говоруна или говорунью. Ту рыжую девчонку Аглая к себе неспроста приближает!..

Жена уточняет:

— Ты говорила: рыжая и совсем молоденькая.

— Так и есть!

И думая всё об одном, где же и какой он совершил промах, Родионцев, как это бывает, куда скорее (и результативнее!) обдумывает другое, сопутствующее: к примеру, он понимает, почему Вика пришла к ним в дом с мужем, нет, она и раньше по каким-то поводам бывала с мужем, но сейчас-то Родионцев разгадывает и понимает их приход без труда, как не понять, — это же соболезнование по всей и полной форме. Они оба, то есть все, явились соболезновать, как иногда все должны явиться на похороны или там на сороковины. Прозорливость длится: сбыв ту мысль, Родионцев почти тут же угдядывает мысль следующую и к сегодняшнему вечеру, может быть, главную: больше Вика к ним в дом не придет, ни с мужем, ни даже одна. Ей же теперь надо отдаляться — если он уже отдален. Событие, если оно событие, обычно пускает корни в разные стороны, одной из сторон будет эта — отдаление. Несоответствие, оказывается, уже и сейчас налицо, вот оно что: теперь Вика будет только звонить, ради чего и последний визит вдвоем; вроде как покойника дорогого уже предали земле, а дальше в обязанность уже только справляться о распыленной по миру его семье — как, мол, и что?..

Родионцев сидит рядом с ее мужиком — тот прост, как трава, не очень-то понимает, с чем пришли, и только

потягивает винцо; конечно, он хочет, чтоб п о д д а л и вместе, но Родионцев, пьющий в меру, как видно, и не пытается угнаться за любителем футбола. Сидят. Курят. Лишь однажды помрачневший муж Вики, хватанув еще стакан, вдруг вздохнул и сказал, впрочем, запнувшись:

— Слушай, а может, и правда стоило ублажить... старуху?

Это было очень глубокомысленно.

— Не лезь не в свое. — Родионцев ответил ему грубовато, но с пониманием его простоты, как бы сосед соседу. И, вняв сразу же, тот кивнул — мол, виноват, больше не в свое не полезу. И теперь муж Вики только пьет и пьет, время от времени мрачно вздыхая.

Ужин на столе, и жены наконец-то садятся рядом, говорят они о тряпках. (Когда-то Родионцев и Вика сопровождали директора в зарубежной поездке, а перед поездкой они вот так же собрались в две семьи: Родионцев с женой и Вика с мужем — вот так же сидели вчетвером, и жены так же говорили о тряпках.) Застолье вялое, но мало-помалу хмель берет свое, а теперь и жены чокаются с ними вместе и выпивают (тост Вики) за то, чтобы неурядицы сошли на нет и чтобы вообще в с е хорошо кончилось. Обе они сегодня много говорят или же они просто нервничают, как нервничают женщины при всякой перемене, опасаясь, как водится, чего-то еще более худшего.

В отделе, скучно переписывая смету, Родионцев, разумеется, думает о том, что сейчас на втором этаже Аглая Андреевна общается с Викой — чаепитие в той солнечной приемной, бывшее когда-то радостью, и делом, и чуть ли не смыслом его приходов на работу, является теперь раздражителем. В отделе, вероятно, заметили или вот-вот заметят, что он не ходит на чаи к Аглае Андреевне, что его не зовут, ему не звонят. Он сидит скорбный, и сослуживцы отдела, сидящие и справа и слева, возмож-

но, по его лицу уже сейчас прочитывают: в о п а л е, — а скоро и спросят. Они спросят завтра. Или послезавтра. К испытанию неопределенностью не всякий призван, и потому для него, для Родионцева, время до завтра и до послезавтра оказывается слишком долгим, невыносимым — тем просторным временем, когда некуда себя деть.

Он сидит и считает смету — то невеликое, что ему доверяют в отделе, то единственное, что ему осталось и что он умеет. 396,2 + 17,85 = 414,05. Безделье, вернее, полубезделье не так уж его давит, но нет-нет он чувствует удушье, которое как бы подкатывает к горлу комком, — и неважно, сумеет он ее вернуть или нет, потеря становится этим вот застрявшим комком в горле, становится из рода вещей, предметом, и тогда он встает и уходит. Пользуясь былым правом, он не отпрашивается в отделе. Вроде как он идет т у д а на чай — и верно, он спускается на второй этаж, где начальство; этаж невысок, но там своего рода небо и соответственно небожители, так что много там не походишь, однако раз-другой пройти мимо дверей можно, за которыми по вторникам и четвергам (иногда сдвигаясь на среду и пятницу) пьет чай в конце рабочего дня Аглая Андреевна. Однажды он слышит их голоса — взлетающий, оживленный голос Вики и мягкий говор самой Аглаи Андреевны, а третьего человека за их чаепитием пока нет. Как-то он даже и сталкивается в коридоре с Аглаей Андреевной: они поздоровались, после чего Аглая Андреевна проходит по коридору дальше, вся в делах, изобразив глазами грусть и некую вечность, которые не поддаются осмыслению.

Здравствуй — кивнула Аглая Андреевна, руки не подав и не пригласив на чай; она ничуть не больна, выглядит прекрасно, как и раньше. Да и не могла же она измениться внешне за эти шесть дней или за восемь, сколько их там прошло. А вот он, Родионцев, в минуту встречи весь напрягся, и актерская морщина возникла, и он нес ее, эту морщину, на лбу, как нитку, которую

никто не отряхнет, а свои руки заняты. Ему вдруг приходит новое объяснение: в последнее время он был говорлив, много расспрашивал, и Аглая Андреевна отстранила его, как бы убоявшись, что он прежде времени обнаружит какие-то тайные стороны или пружины их общеделовой жизни. Такое нередко, но нет, нет, нет, нет, не был он расспрашивающим, он был говорлив, несколько напорист, а может быть, просто восторжен по весне, не более того. Он даже с досады не бывал язвителен, именно что говорлив — и никак не больше.

Вика не заглядывает к ним в отдел и не подходит в коридоре, чтобы вместе пойти пообедать, но Вика звонит — и пока еще довольно часто. Игра в товарища и проста и непроста. Вика наконец лишилась мелькания разных оттенков в голосе: после случившегося она как бы раз и навсегда по отношению к Родионцеву приобрела телефонный голос полувоинственный, полузадумчивый, как бы окаменевший в тот самый миг, когда Родионцева щелкнуло, ударило маленькой молнией, а ее, бывшую рядом, нет. Недальновидность товарища и даже его корысть можно простить, но не о т в о р о т судьбы — тот поворот, когда судьба почему-то отвернулась.

Вика звонит: да, она все-таки набралась смелости и спросила сегодня за чаепитием у Аглаи Андреевны — сначала лишь намекнула, что Родионцев, мол, что-то грустный, намекнула — и паузу подержала — и ждала, — однако Аглая Андреевна ответила ей спокойно: «Вика, разве мы вдвоем не справляемся? Или вы подыскиваете кого-нибудь третьего?..» Последнее было сказано и в шутку и с некоторой насмешкой над бесправной Викой, но Вика тем более считает, что Родионцев должен что-то срочно предпринимать и что в словах Аглаи есть уже явный намек на поиск кого-то третьего, кто его, Митю, заменит.

— А что о поездке? — спрашивает Родионцев.
— О поездке на Староволжский завод пока ничего.
— Ни слова не сказала?
— Пока нет.

Были на двоих у него с Викой эти поездки, и эти солнечные квадраты на паркете в приемной, и роза, цветущая в углу, и любовь Аглаи Андреевны, и понятно, что Вика не хочет ни терять, ни делиться с кем-то, пришедшим наново вместо Мити, быть может, человеком алчным и наглым.

«Родионцев грустный какой-то ходит...» Она, Вика, еще и в наив немного сыграла, однако Аглая непроста — наша милая Аглая Андреевна лишь пожала плечами: ах, мол, пустяки... не усложняйте, мол, жизнь, Вика. И тут же кликнула бабу Дашу, технического работника, попросила заварить чай.

Вика в приемной не переубедила и даже не вызнала, но дышится ей теперь, надо полагать, легче: все-таки старалась помочь. Он же, Родионцев, с тупостью, присущей отстраненному и обойденному, все чего-то ждет и невольно строит из себя при этом человека горделивого: отстранили, а я, мол, и не заметил. Он ждет и терпит недоговоренность. Он стерпел бы, пожалуй, и прямой ответ. У Аглаи Андреевны бытовало выражение: «спетая песня», по разным поводам произносимое. «Ах, Вика... ваш Родионцев — спетая песня...» — могла бы и так ответить.

Но на десятый, кажется, день обида захлестнула, и, травя себя, он все больше думает об Аглае Андреевне. Он признал ее право, он покорился ее решению, он и в покорности нашел себя, и он не ропщет, но что делать с обидой — такое оказывается неожиданное чувство. Он думает об Аглае Андреевне, притом так много и так странно о ней думает, что чуть ли не любит ее, — именно влюбленности это чувство сродни, потому что иной

раз, совсем уж как юнцу, ему вдруг представляется, что Аглая Андреевна заболела и что все ее покинули (он один помогает ей добыть лекарство ли, рецепт ли; бывало, что он приходил к ней с лекарством даже и домой, и она, одинокая, понимала наконец, кто ей на самом-то деле предан, — он позволял мыслям уносить себя достаточно далеко). Теперь он сделался обижен на многое и на многих, подтверждая то простенькое правило, что все на свете может идти для нас как попало, пока не случится беда. Оказалось, что он, Родионцев, давным-давно не был вот так впрямую обижаем, в сущности, он жил и жил, не испытывая ни в себе, ни на себе никакого чувства более или менее сильного. Теперь же химия затяжной, сбраживающейся обиды приводила к тому, что в осадок вдруг выпадала короткая вспышка злобы:

— Да что такое! Старая холеная баба — чего я о ней думаю?!

Обидно: ему не так уж нужны были эти мелкие блага от секретаря директора (как, возможно, они были нужны Вике, хотя и ее практичность можно понять), ему-то нужны были, как видится теперь, именно тепло и солнечность той приемной, занятость в жизни, суета смышленого человека при директоре — хотя бы крохотное, но значение, вот что было нужно, и этого-то значения его лишили вдруг. И пусть бы действительно промашка — так нет же, он был начеку, притом не от натуги, а *привычно* начеку, такие люди не совершают промаха, он дарил Аглае Андреевне цветы, он пил не больше, чем пятьдесят граммов коньяку, он не встречался с молоденькими женщинами, потому что в директорском окружении это считалось не жизнелюбием, а развратом. И тем не менее отставили. В сорок лет... Он считает, сколько же лет провел в устройстве всяческих поездок, в делах и чаепитиях в той приемной — получается много: десять, нет, больше, пятнадцать лет. Можно считать, что это было всегда. Закончившего вуз и пришедше-

го сюда на работу Аглая Андреевна выделила и приблизила, почувствовав, что у него гнущийся позвоночник, что он мил, вежлив, быстр, весел, а подчас и остроумен. Дальше ковало время. Родионцев взрослел, а склад его ума и талант определенной человеческой мягкости так влияли, сочетаясь, друг на друга, что из Мити Родионцева незаметно выработался полноценный, как однажды выразилась Аглая Андреевна, работник свиты. Путем некоторого осмысления и ежедневной корректировки мимика его тоже поднялась на высокую степень правдивости, в том смысле, что теперь и внешне была видна необходимость его служения людям и делу. Он чувствовал себя нужным. И Аглая Андреевна тоже, конечно, чувствовала, что такой вот человек, мягкий и спокойного ума, поможет в деловой суете больше и верней, нежели беспутный или просто дерганый гений, потому и приблизила, подняла Родионцева — себе в помощь. Его и Вику, двоих. При всем том Родионцев и Вика оставались в жизни людьми обычными, живущими на прежнем окладе и в своих же небольших квартирах.

Аглае Андреевне пятьдесят пять лет или, скажем, пятьдесят четыре, хотя по внешнему ухоженному виду ей легко и иногда без лести можно дать сорок пять, она это знает, но вроде бы и не замечает: как, мол, выгляжу, так и выгляжу. Она слегка располнела и полнеет дальше, но это уже возрастное. И, разумеется, ее не мучат темные страсти и волнения, а если такое и мучило, то разве что в молодости (но, может быть, и в молодости обошлось без). Она знает, что все еще нравится мужчинам, но столь же хорошо знает, что к ней так просто не подступиться: она всегда держит дистанцию. Она и в делах такая — не говорящая, но значащая. И потому Родионцев ждет: если он ошибся, пусть она покажет, в чем и как, — он готов исправить, он весь внимание и слух (внутренний). Однако время идет, а она его ошибку ему не показывает, не хочет, хотя ей всего-то и дел — шевельнуть пальцем.

Митю заменили.

Вика встревожена, и ей сейчас совсем немаловажно, в чем Митя промахнулся, а с другой стороны, Вику саднит и точит то, что с Родионцевым она совсем не видится, так легко от него и одноразово (визит с мужем) открестившись после стольких лет... Возможно, Митя и впрямь стал малость однообразен и, может быть, просто надоел Аглае своей нарастающей с годами пресностью — раньше он был свеж и в свиту годился; впрочем, люди иногда надоедают не по той или иной причине, а потому именно, что надоедают, — и она, Вика, эту жизненную позицию не только сейчас заметила.

И не нравится Вике его поведение, его голос. Сник и скис. Ну и плевать, думает Вика, что я ему и кто я ему? сестра родная? жена? Даже и не любовница в прошлом... Чего это я так стараюсь втащить его на гору, на которую влезть он не может да уже, кажется, и не хочет? Однажды она ему впрямую крикнула в телефонную трубку:

— Надо же бороться за место под солнцем!

На что он пронюнил:

— Видно, это место мне досталось случайно.

— Митя, все на свете поначалу достается случайно. А уж дальше люди борются!.. — Были ли это у Вики угрызения, переходящие в тревогу, или, наоборот, тревога спровоцировала какой-то внутренний вспых, сейчас уже трудно сказать. Сейчас уже надо сообщать, что Митю заменили.

Вика затевает в ванной постирушку, чтобы успокоиться, но покоя нет. А звонить надо. С мокрыми от стирки руками, не в силах взять трубку, она сначала лезет в холодильник и, отыскав сразу, пьет валерьянку. Затем она прикрывает дверь в комнату сына, который что-то слишком гремит игрушками. Она звонит.

— Ну что, — говорит она Родионцеву, — допрыгался? Я же тебе, Митя, говорила: выясняй промах, проявляй интерес.

Он догадывается:

— Нашли замену?

— Нашли...

Без обиняков Вика сообщает: в поездку на Староволжский завод посылают ее, Вику, и еще одного малого, ей неизвестного, также и тебе фамилия ничего не скажет: Санин... Нет, ничем не приметен, Аглая Андреевна из прочих выбирала его при ней, при Вике. Она сказала, что надо, мол, из недавно поступивших на работу — из недавно кончивших вуз, и сначала хотела рыженькую ту девчонку. Ну, эту, которая втирается все настырнее, однако, поколебавшись, Аглая решила, что надо все же парня, чтобы хоть один мужик был. А затем по памяти стали перебирать тех, кто пришел не так давно: Данилов... Зейц... Ракукин... Санин. Да, говорит, пусть Санин, в нем, кажется, было что-то этакое — и веселое и нравящееся, не попробовать ли его, Вика? Возможно, что он деловой, а вы, Вика, его обтешете и вразумите. Ну как, пробуем?

А что Вика может возразить или ответить — конечно, пробуем...

— И ладно, — говорит Родионцев, хотя обида вздымается волной и на миг захлестывает; пряча боль, он поскорее передает трубку жене, вроде, мол, поговори и ты, после чего начинается обычная канитель большого города — все рассказывается заново. Вика сообщает жене, но уже и с подробностями, рассказ свой обставляя и уточняя. Родионцев наконец сам в состоянии слушать, он вновь берет трубку и расспрашивает: оказывается, на Староволжский завод они едут сегодня — в ночь? — да, в ночь, уж и билеты есть, на одиннадцать сорок, так что ей, Вике, уже бы и собираться надо. Да, так получилось. Директор сказал: едем сегодня — и все встрепенулись.

Вновь говорит с Викой жена: да, да, она понимает, что поездка уже решена, ну а на будущее, неужели Митя из сердца Аглаи Андреевны вытеснен навсегда — и слы-

шатся чуть ли не мольбы, чтобы каким-то образом все устроилось к лучшему.

— ...Вика, а когда вернетесь и когда все уляжется, ты можешь прихватить как бы случайно Митю на чай и хотя бы намекнуть Аглае Андреевне...

— Я ли не намекала!

— И что она?

— Молчит. Или переводит разговор на другое.

Они говорят:

— Вика, а кто этот Санин?

— Никто.

— Давно работает?

— Совсем зеленый. Их только-только приняли целую ораву.

Жена усаживается поудобнее — разговор длится. «Устраиваюсь», — говорит она Вике в трубку, и Вика откликается: «Ага!» — и, хотя Вике надо готовиться к отъезду, она тоже хочет поговорить всласть именно с женщиной. (Муж как раз уселся смотреть очередной матч.) Некоторое время Вика созерцает на экране толкотню футболистов поверх тупого затылка мужа, после чего («Я тоже устраиваюсь поудобнее». — «Хорошо!») выносит телефон из комнаты и скрывается в ванной. Здесь тихо. И продолжает:

— Конечно, Аглае нужно послать двоих — ты слушаешь?

— Да.

— Вот она и подыскала этого Санина. Но чай он у нее в приемной пока не пьет...

Родионцев ворочается в постели, измаявшийся, когда вновь раздается звонок, он берет трубку, готовый сказать Вике, если это она, что он уже переболел, и пусть она, Вика, не рядится в друзья и живет спокойно. И тут уже нет обиды; пусть хотя бы и вовсе не звонит, Родионцев ее поймет. Однако звонок — ошибка. Ошиблись номером.

И с ночным неприятным ощущением, которое еще не определилось, он понимает, что Вика и не могла позвонить: Вика в поезде, они уж часа два, как едут.

От случайного звонка проснулась и жена, она смотрит на Родионцева в свете ночника и переводит глаза с него на аппарат, ожидая чего-то дурного, может быть, известия о родителях: с момента, как Родионцева «отставили», жена уже не ждет от телефона ничего хорошего, приготовилась. Сцепление случайных обстоятельств в их жизни пойдет отныне намного бойчее. Есть ощущения, прояснить которые чувство не может, мысль почти не может, время и день за днем — могут, но тоже не до самой изнанки. Родионцев лежит в темноте опустошенный, но уже не мучающийся.

Деловой человек, он, разумеется, без труда представляет, как это было, он даже картинку видит (небольшой фильм), где Аглая Андреевна, уже решившаяся, звонит в отдел, в каком работает недавно к ним поступивший молодой Санин.

— Да, именно Санин. — Она (закурила сигарету) наскоро объясняет начальнику отдела, что директор едет в серьезную поездку на Староволжский завод и потому Санина, пожалуйста, отпишите на всю неделю — он будет сопровождать, он будет нам нужен.

— Почему он? — Начальник отдела, разумеется, никогда в жизни не станет перечить Аглае Андреевне, но пользуется минутой, чтобы полюбопытствовать.

— Таково мнение. — Аглая Андреевна любит ответить широко.

Начотдела молчит. Аглая Андреевна (затянулась сигаретой — отыграла паузу) теперь поясняет:

— Санин — человек общительный, такие нам понадобятся. Похлопотать, подсуетиться, развеселить словцом, короче — свита, вы меня понимаете?

— В общем, да.

— Слава богу.

— Кажется, это будет неплохая поездка с возвраще-

нием по Волге на теплоходе, а я туда не подойду? — пусть со смехом, но все же спрашивает начотдела.

— Виктор Васильевич! Там нужен мальчик на побегушках, а не солидный и уважаемый начальник отдела, бог с вами! — Аглая Андреевна (погасила сигарету) еще кое-что ему объясняет. А потом звонит в отдел, где Вика, выспрашивая ее тоже на неделю — там уж знают наперед...

Родионцев не спит. Картинки перед его глазами теряют в пестроте и на некоторое время приобретают логику поиска. Вот купе, вот Вика: она спит под стук вагонных колес на своей нижней полке — рядом всегдашний термос. Родионцев из желтого как бы переходит в синий полумрак соседнего купе, отыскивает и видит этого Санина (лицо условно) — юнец сладко спит, как спят те, для кого начинается новая жизнь, и неважно, что поезд тряский и мотающийся на стрелках: тем слаще. Аглая Андреевна спит, конечно, у себя дома, но тут своеобразная тонкость: она не в поезде и в то же время она с ними (Родионцев пытается представить ее спящую, а затем, как в мифах, мчащийся за поездом ее образ) — боготворила в молодости директора, любила, и, стало быть, не просто секретарь; не просто помощник в сложной и деловой текучке, а женщина, которая и по сей день не прощает, если кто-то скажет о нем плохо, которая служит ему, мужчине, и по сей день в том лучшем и еще не до конца изжитом смысле, как служили женщины в дохристианской, в дохрамовой древности, и, по-видимому, не важно, что у Сергея Леонидовича торчит и завис живот, что отечное лицо и склеротические жилы — для нее он красив как Спартак, как римский гладиатор, как греческий олимпийский бегун. Аглая Андреевна спит дома и спит счастливая прежде всего потому, что дело делается: поезд мчит, вагоны грохочут, а значит, и во сне она ему служит.

Когда Сергей Леонидович, то бишь директор «Техпроекта», совершает визит-наезд или, скажем, визит-

наскок (тут разница), он едет не просто так, а, как говорили в старину, обуреваемый чувствами (деловыми, конечно), и при нем они двое, Родионцев и Вика, тоже взволнованные, тонизированные, в одежде нарядные и броские, чтобы внушать уважение уже с расстояния. Иногда с ними напористый юрист, и тогда их трое, а в параллель едет, скажем, человек из министерства, с ним еще человека четыре — и вот все семеро, быстро и с полуслова понимая друг друга, организуют: поезд и прибытие на перроне, номера в гостинице и насыщенную программу (деловую днем, развлекательную вечером), поездки по окрестностям, встречи, собеседования, а иногда и прессу. С инспектируемым учреждением они сносятся заранее, а те и рады-радехоньки (полное доверие, к тому же ассигнования!) встретить их, хотя и тут непросто: побаиваясь свежего глаза, некоторые предпочитают побольше толковать об обедах и ужинах, да ведь когда же и пообедать с размахом, если не на выезде, но и дело зовет, и не засидишься, командуя штатом стенографисток, машинисток и прочей деловой обслугой.

«Нет-нет, обедаем на заводе — вернемся лишь к ужину, тогда только Сергей Леонидович вас примет. Однако не более пяти минут...»

Или:

«Нет-нет, опоздали: советую ловить Сергея Леонидовича на платформе, да-да, когда он будет садиться в вагон; поймите: день у него расписан до предела...»

Адъютантская причастность к сиянию, пусть чужому и отраженному, причастность к власти и к суете людей (к их расталкиванию туда-сюда, в союзе с желанием принять нужных и отмахнуться от назойливо-бесполезных) — все это было не только сутью его, Родионцева, и страстью, но и как бы ответом, почему он в жизни этой, в сущности, недолгой, лишь пересчитывает какие-то заурядные сметы (на уровне новичка), почему он сидит в солидном экспериментальном отделе, где и получает зарплату, инженерным работником нимало не яв-

ляясь. Впрочем, сметы он считал добросовестно и был вне упреков. Не затягивал. Не подводил. Так было проще.

Он не спит, он думает о том, что сильное впечатление именно как рана: не слышишь, когда получаешь, зато уж теперь болит! Заснуть не давая, в окружающей ночной комнатной тьме перед ним плывут те светлые солнечные квадраты на паркете приемной и та роза, что цветет в своем левом углу без устали (вглядываясь, он видит два новых бутона на сносях. Что за цветок, ей-богу?!) — он видит, как баба Даша, технический работник, старуха, вносит поднос с пузастыми цветными чайничками, а затем (в повторе) он сам, Митя Родионцев, лицом еще весь светлый и свитский, с плащом на руке и с портфелем, входит, быстро вернувшийся, а Аглая Андреевна, красивая и чуть усталая, сидит в кресле, призакрыв глаза...

Многочасовой сон ему уже и не нужен, глаза бы хоть сомкнуть, но нет, пустое бдение затянулось, это ясно. Он встает и подходит к окну. Когда он вглядывается в темень и в ночную редкую россыпь московских окон, мелькает мысль-предположение: мысль, что причины нет и что промаха тоже никакого нет — из хора мальчиков сам собой уходит или изгоняется ломающийся басок. Утратившего блеск — хотя бы за счет седины, за счет посеревших щек и морщин — его, Родионцева, попросту выкинули, выбросили на лестничную клетку, как выбрасывают ненужный старый шарф или старую перчатку, а даже и не совсем старую, но уже снашивающуюся. Тогда, конечно, и Вику тоже скоро... разрозненные перчатки не носят.

Мысль не впуская, он произносит негромко:

— Нет...

Неожиданно ему становится больно, он берется рукой за грудь: небольшой спазм, вот ведь как. Он раскрывает пошире окно, распахивает — вот он весь перед богом: в серенькой пижаме он стоит, вытягивая шею и заглатывая для успокоения холодный ночной воздух.

3

Приходится отказываться от некоторых привычек: купив у метро утром букетик цветов, Родионцев спохватился и довольно долго колебался, отдавать ли. Он было решил, что нет, отдавать не надо, но букетик уже в руках и кому же еще отдать, как не ей. Для начала Родионцев решается просто пройти мимо (там сейчас пусто и тихо, директора нет, стало быть, и приема нет), но как раз когда Родионцев пересекает пустую площадку недалеко от приемной, появляется вдруг Аглая Андреевна, и он, конечно, отдает ей маленький свежий букетик. Цветы вовсе не намек и вполне сойдут за остаточную его вежливость. «Вот...» — говорит Родионцев, слегка краснея. Аглая Андреевна, взяв цветы, молча кивает.

Отставленный шут, он сидит в отделе и тем именно занят, что колет себя словами: постаревший, мол, шут или же увеселитель, массовик-затейник, словцо за словцом подбирает он, чтобы далеко и уже навсегда задвинуть в прошлое такие полные блеска образы, как «человек свиты», или «референт», или «составитель докладов для директора» (всего лишь с точки зрения стилистики и правильного русского, а все-таки было, было!). Занятие на сейчас, слава богу, есть: он механически водит пером, перебеливает смету, а в голове тем временем уже и до конца проясняется, что никто его не поймет и что, того более, они, окружающие, будут по-своему правы, шушукаясь за спиной оступившегося прилипалы и ловчилы (таков он теперь в их глазах): ах, бедный, он утратил званые чаепития, командировки и дармовые разъезды во все концы, а как же живем мы, люди простые и будничные, вкалывающие день за днем от отпуска до отпуска?..

И, словно вызванная его же мыслями, по отделу проносится мелкая волна нелюбви и неприязни к нему, к Родионцеву, — пришло сообщение о непринятом отчете,

время от времени такое бывает в их огромной комнате с четырнадцатью тесно сидящими сотрудниками. Каждый раз, как только по линии начальства что-то не ладится, они все потихоньку шипят за спиной Родионцева, считая, что это он, общаясь с Аглаей Андреевной, так или иначе ее информировал. В лицо не скажут, но за спиной непременно. Разумеется, когда Аглая Андреевна расспрашивала о том о сем (не только же о поездках говорить за чаем), Родионцев ей что-то рассказывал и о жизни отдела, а также людей, конечно, как-то характеризовал, но такое бывало редко и всегда неумышленно. Да и кому они нужны, с их простенькой жизнью, где самая крайняя провинность — запой или развод?

— ...А надо, чтобы кое-кто поменьше языком болтал. Язык-то без костей! — доносится чей-то и будто бы в никуда брошенный возглас. (Сейчас и вовсе абсурдно, но в отделе, разумеется, продолжают вешать собак на Родионцева.) Родионцев молчит: человек говорлив до поры, пока не натыкается на главное.

Те, что в поезде, уже, вероятно, проехали Пензу, и впереди первая суета — в гостинице, где освобождается много номеров сразу: и люксы и на мелкоту тоже. Родионцев ловит себя на том, что ему интересно, затеют ли волгари переговоры на свежем воздухе. И прогуляют ли наших обратно на теплоходе? Увлекшийся, он прикидывает, легко ли выбить теплоход, и подсчитывает (фрахт плюс еда и питье, но минус билеты на поезд), во сколько это обойдется.

Когда с человеком случается неприятность, вариант беды, человек становится лучше и чище — и уж точно в глазах жены. В длительности раздумья его жены о случившемся есть хотя бы та хорошая сторона, что Галя как бы вновь рассмотрела его, Родионцева, и лишний раз нашла человеком замечательным и любви ее достойным (она романтична, ей это важно). Он не только не утра-

тил в глазах жены то, что считается ценным и недробимым, но еще и выкреп. Отстраненный, он ведь не заискивал перед Аглаей Андреевной, не бегал.

Общение с Аглаей Андреевной позволяло Родионцеву быть в курсе дел фирмы или хотя бы просто слышать о всяких смещениях и перемещениях, о том, к примеру, что Рубакин скинул было Петровского на отчете, но тот, скользкий, как угорь, предпринял атаку с фланга через министерство и уцелел. И поскольку свой быт сер и событиями скуден, для Родионцева и отчасти для жены Родионцева из года в год существовала иллюзия знания той жизни, иллюзия даже и соучастия в ней. И понятно, что жена Родионцева тоже обеспокоена его загадочным промахом или промашкой, в силу чего его теперь оттесняют, притом несправедливо — он ведь не предавал и не передавал, не носил в клюве, а в разговорах об Аглае Андреевне он был почтителен всегда и везде, даже и дома.

Жена как помочь не знает — неуверенная, она спрашивает, не устроить ли скромный домашний ужин, у тебя, Митя, скоро день рождения. И не пригласить ли Аглаю Андреевну — это будет и интеллигентно и просто.

— Ну что ты. Она не пойдет, — отвечает Родионцев.

— Почему?

— Она не пойдет, поверь мне.

— А ты уговори! Ты же симпатичный мужчина, в тебе есть порода, интеллигентность — у тебя есть определенные козыри, Митя...

Бедная, ей кажется, что ее муж чего-то стоит, — обычная ошибка таких вот тихих и преданных жен. Он, Родионцев, в сущности, добр и мягкотел... и никчемен, если говорить до конца, и только при очень большой любви можно счесть это интеллигентностью. Он значил лишь в свите. О да, если б он, скажем, защитился, отмечал защиту даже и плохонькой диссертации, пригласить было бы можно, хотя и на защиту Аглая Андреевна не без выбора приходит — защита защите рознь.

— Мой день рождения — это ничто.
— Но, Митя, как же так?
— Вот так.
— Совсем ничто?
— Совсем.

Жены умеют либо посильно затушевывать, либо посильно же возмещать: она считает своего Митю очень гордым, что и приводит к несовпадению их состояний, она пытается удержаться и ухватиться, в то время как Родионцев уже совершенно ясно понимает, что разобщение с такими людьми, как Аглая Андреевна, похоже на лавину, снежные комья которой могут, как известно, двигаться только в одну сторону.

— И хватит об этом, — просит он.

Когда Родионцев, покуривший на лестничной клетке и вернувшийся, ложится, жена, хотя и в постели, но, конечно, не спит и вздыхает, — а потом шепчет:

— Митя, я придумала...
— Что?

Запинаясь и в темноте, вероятно, краснея, она говорит: ты, мол, сделаешь Аглае Андреевне подарок, настоящий подарок.

— С какой стати?
— А ни с какой, Митя. Только из уважения, а я такой подарок присмотрю; можно сережки купить или брошь, скажем, рублей за сто...

У него стискивается сердце от неведения жены, от ее простоты, которая, как говорят, богом хранима. Убедить невозможно. Но если бы однажды она увидела, пусть мельком, не кольца и серьги Аглаи Андреевны (это больно), а хотя бы саму Аглаю Андреевну, хотя бы издали, то даже и при простоте своей, при наивности она бы смекнула, что с дурацкими сережками за сто рублей там делать и искать нечего.

А жена плачет: ей кажется, что ее Митя вял и что вот так и начинают проигрывать жизнь, уставая и не желая шевельнуть рукой. У нее ни колец дорогих с камня-

ми, ни особенного туалета, обычная вкалывающая, верная жена, скромный интеллигентный заморыш, но она думала, и ей помогало жить, что хотя бы муж ее энергичен, быстр, а иногда и блестящ — когда он в свите. Он рассказывал (пусть даже прихвастнув), и она с радостью слушала, какой он немыслимо ловкий, и как остроумно он говорит, и как вокруг о т и д о разговор его ценят, и как они, свитские люди, царствуют и пылят в глаза в своих командировках и наездах, и как вообще они там сверкают в п я т и ш а г а х от директора.

Жена лежит, отвернувшись к стене, и тогда Родионцев, словно вспомнив, что они семья, целует ее и ласкает, настаивает, она уступает нехотя — и потом, вновь отвернувшись, плачет. Молчание длится. Ей кажется, что он, ее Митя Родионцев, лишь из гордости не хочет у сильных мира заискивать и, хотя бы в ущерб, предпочитает быть в стороне от интриг. Его жена из тех женщин, что живут не столько с реальным мужем, сколько с кем-то придуманным. Пусть так. Он целует ее. Он успокаивает:

— Это пройдет, Галя... У нас семья. У нас дочь взрослая. (В отделе то один, то другой уже догадывается, нет-нет и вперяя в Родионцева глаза: с чего это, мол, человек перестал к секретарше директорской шастать? — удивлялись, что он там засиживается, теперь удивляются, что он не там. Люди т а к и е. Люди во всем такие. Ничего. И это пройдет.) Это пройдет, Галя... Ты засыпаешь?

— Да...

Днем ладно — день помогал быть хоть как-то деятельным, зато сейчас Родионцев мучился: ночью неприятное и унижающее подступало к самым глазам.

В «Техпроекте» как бы ветерок прошелестел: п р и е х а л и — вернулся директор, после чего на втором этаже начальники отделов принялись расписывать первый

же директорский приемный день, расхватывая его поминутно, а Родионцев вновь остро почувствовал, что жизнь идет мимо. В прежние времена отчасти он, Родионцев, и создавал этот ветерок — стремительно шел он обычно по коридору, приехавший, подвяленный воздухом, поджарый, иногда успевший загореть. Он даже...

— Родионцев! — слышится оклик.

Машина всякого учреждения проста, если не груба.

— Родионцев, — говорит (велит) начальник отдела, — поди-ка к плановикам и спроси, можем мы смету сдать на два-три дня позднее? Поклянчь, если что.

Он знает, что клянчить у плановиков бесполезно, и он шлет именно Родионцева — и отныне по всякому копеечному делу будут посылать его, это ясно. Ничем не защищенный, он лишился своего дела, так что помыкай им, ребята, не жалей — и как возразить, если столько раз, помыкая, посылали и гоняли других, а Родионцева тронуть или даже попросить боялись, теперь уж, конечно, аукнется. Жизнь как жизнь.

Едва Родионцев приходит, плановики (нет, это удивительно!) буквально с порога понимают, что́ с ним произошло (стряслось), то есть они глядят и ровно одну секунду удивляются, что прислан по такому пустяку Родионцев — никогда его тут не было, со времен юности, — смекают, что с начальством-то он не ездил, и уже в следующую секунду (итого понадобилось две) начинают на него даже и не кричать, а вопить:

— Как это так? Как это — задержать смету н а т р и д н я?!

Он стоит в дверях, а они обе на него кричат — женщина пожилая и женщина молодая — нет, они именно вопят, как будто лично он, Родионцев, провинился и задерживает смету всего отдела.

— Лодыри! Бездельники! О чем думали раньше! — кричит молодая.

— Небось и премию хотите? — кричит пожилая.

К торгу, да еще стоя в дверях, Родионцев не готов:

он было пятится, но что-то его останавливает, и это, конечно, она, живучесть, приспособляемость — она, родная. Согнавший краску с лица, Родионцев выдерживает паузу: спокойно и уже с улыбкой (с одной из лучших своих улыбок) он объясняет им, что отчет един. Отчет един, а ведь отдел проектирования свою смету тоже как минимум задержит на два дня — итак, двухдневный простой? И какая разница, тут или там будут лежать бумаги! Вскользь и не совсем уместно, но он упоминает, вводит в игру имя Аглаи Андреевны, вроде как и там у него не все потеряно (смотрите, не пожалейте о крике своем завтра!), и наконец разговор завязывается по существу: бой идет даже и за часы. В итоге не три, но два дня для своего родного отдела Родионцев выторговывает. Профессионал, он уходит наконец от крикливых баб, он идет по коридору, и горечь душит его — этим ли заниматься в сорок лет? Он даже и глазки им, плановичкам, строил.

Ему хочется поговорить по душам, но не с кем, он медленно идет коридором, думая о Вике: в том-то и дело, что, не сговариваясь и не созваниваясь, они встречались сами собой. Работавшие в разных отделах и на разных этажах, они, казалось, и десяти быстрых шагов не могли пройти по коридорным внутренностям фирмы, чтобы не наткнуться друг на друга. Иногда они даже слишком часто попадались друг другу на глаза, ненужно часто, даже и смеялись, перемигиваясь: нельзя, мол, шагу ступить, и было уж совсем обычным, что они встречались в раздевалке по пути домой, и, если дождь, он тут же расправлял зонт, чтобы дойти до метро вместе.

Думая о Вике и о переменах в судьбе, он идет по коридору и улыбается время от времени по сторонам, как в добрые старые времена.

Так, да не совсем так. Как и раньше, Родионцев улыбается встречным начальникам и почти начальникам, и как приближенного к Аглае Андреевне они все, конечно, его в лицо знают и тоже здороваются, но нынче он уж

очень им кивает, и у кого-то из них должно же мелькнуть, что человек он сейчас отставленный, бесхозный то есть, в общем-то человек далеко не последний в смысле шустрости и деловитости — чего-то же он стоит! Этот именно текст Родионцев читает в глазах одного или двух встреченных (тех, что смекнули), и удивительно, но только тут до него самого доходит смысл и значение своей же улыбки, улыбки отчаяния. Он улыбался... невольно. Осознав, на миг он вспыхивает, даже и морщится, но тут же (прочь сомнения!) улыбается вновь, улыбается еще и навязчивее — это как профессия, это сильнее его. Да, мол, предлагаюсь — возьмите меня, имеется немалый опыт оперативности и услуг, возьмите — не пожалеете.

Один из начальников, правда, из недалеких, даже сразу и остановил:

— Что это вы, Митя, не загорели после Волги? Ах, да, вы не ездили! — Недалекий, как водится, соображает вслух.

— Не ездил.

— А в чем дело?

Есть такие, что и спрашивают впрямую.

— Да так. Нашли на мое место более юного.

И вновь улыбка: но и я чего-то стою, я сгожусь, и для начальника меньшего, чем директор, или для зама я еще ох как сойду!.. Вы же видите: сам и спокойно говорю я о своем отстранении, и если поняли, оценили самосознание человека, который нужен и которого все равно возьмут, так не хотите ли поспешить и взять блинок, пока горяч?..

— Как-нибудь поговорим... Всего хорошего, Митя.

— Всего хорошего.

Петляя по коридорам, Родионцев спохватывается, а не слишком ли он улыбчив — не переигрывает ли? Возможно, что от лица его, помимо воли, исходит жалкость (не жалость, а жалкость), и всякому видно, что по коридору движется человек конченый, отстрелянный патрон. Он сглатывает ком. И вновь спохватывается, так как ноги

привели его не на свой, а на второй этаж — пока он улыбался, ноги привычно спустились сами собой, и Родионцев уже идет по тому коридору и, понимая, куда привели ноги, кривит лицо — не повернуть ли. Но повернуть неловко, да и нелепо, Родионцев идет, и ему проходить сейчас мимо приемной, мимо Аглаи Андреевны, тут сегодня некоторая людская толчея, так что кое-кому придется кивнуть...

Он уже прошел мимо, прошагал, а все же слышит сзади, как плотно прикрытая дверь (какой знакомый звук) распахивается. Именно что спиной узнает Родионцев звук той двери, и (подумать только) узнает на слух шаги Вики, и уже знает, что это Вика, прежде чем слышит ее голос:

— Митя...

Он думает, как быть; он не оглядывается.

— Митя! — зовет она громче (он останавливается). Она спрашивает: — Чего ты тут бродишь, Митя?

Голос ее добр и участлив, но тем более ему неприятно.

— Вовсе я не брожу. Шел мимо.

И Родионцев уходит, чувствуя, что смотрят вслед.

4

— ...Людей инспекции разместили в левом крыле гостиницы, а директор и мы — на первом этаже. Рядом был холл с кактусами. Все переговоры, в сущности, там и шли. А как только деловая часть кончилась, в тот же день погрузились на теплоход.

— Разработчиков завод просил?

— Директор сам им предложил...

— Но занизил число.

— Нет. Не занизил...

Когда Вика отчитывается, Аглая Андреевна особенно дотошно вникает в переговоры и чуть ли не слово за словом хочет слышать реплики выступавших — держит ру-

ку на пульсе; стенограммы Аглая Андреевна, разумеется, тоже просмотрит, но ведь хочется иметь отчет более скорый и более живой. Про то, как возвращались по Волге после трудов праведных, Аглая Андреевна спрашивает вскользь, а жаль, тут бы Вика рассказала с бо́льшим удовольствием: возвращение было дивное — они плыли на очень уютном, небольшом, а главное, полупустом теплоходе. Кстати, молодой Санин был активен и даже слишком: он очень старался, был на виду и справлялся с поручениями, но перед отплытием чуть что убегал любоваться пейзажами с молчаливой местной девицей, весьма худенькой. Какая-то девица. Нет, Вика даже не намекнула. Да, Санин и в суете показал себя неплохо и остроумен был, однако же цветы он дарил не столько женщинам из инспекции, как опять же своей худышечке. К слову сказать, она слишком громко плакала, когда расставались у причала и когда за ней уже по пятам ходил местный ее муж: могло дойти до скандала...

— Это от молодости! — снисходительно говорит Аглая Андреевна. — Куда важнее, что Санин деловитостью своей понравился и директору и заму...

— Он деловит, но...

— Вернемся к цифрам.

Вике придется углубиться в отчет, насчет же Санина язычок прикусить, а жаль, потому что Санин, конечно, деловит и быстр, но ведь в тот последний вечер он явно перепил. А вечер был дивный, с берегов кой-где мерцали огни, поэзия — теплоход на плаву погружался в сон. Была и луна; Вика прошлась там и здесь и только-только убедилась, что все наконец разошлись по каютам и улеглись спать, как вдруг обнаружила, что Санин не в себе: ужасного ничего не было, но молодой человек, что называется, очаровательно безобразничал. Он отыскал в своей каюте какую-то грязную дрель, после чего пытался просверлить каюту наружу, чтобы — зачерпнуть ладонью волжской воды. Это он стращал Вику — допустим, но ведь он еще вылез на палубу, и Ви-

ка, умоляя не шуметь, выскочила за ним. Была дивная лунная ночь, а этот малый — представьте себе! — прямиком кинулся в каюту к помощнику капитана, где и выпустил (а говорит — упустил) помкапитановского попугая. «Санин! Ну перестань же... ну не валяй дурака!» — умоляла его Вика, а погоня уже началась. Попугай летал плохо, но, гоняемый Саниным, трепыхался по палубе то там, то здесь — взлетал, сидел на поручне, как чайка, и в ночной тишине орал чудовищные слова.

Именно тогда на ночной палубе, в подпитии, Санин распустил язык вовсю: вы, мол, там возле толстухи Аглаи распиваете чаек и тем счастливы, мелкие вы, мол, люди, обыкновенные крохоборы! Уж он, Санин, если и станет старушку Аглаю обхаживать, то ради некой более весомой выгоды и не только ради себя. Вике было и смешно и страшновато, а грандиозные планы подвыпившего юнца все распахивались: он даже не понимал, кажется, что болтал. Придавая пьяной болтовне размах, он уже говорил не «я», а «мы» — вроде как у них давно уж возникла целая группа рвущихся к пирогу юнцов.

«Бедная я, — сказала тогда Вика. — Я ведь буду для вас помехой, занимая возле Аглаи Андреевны место...»

А этот щенок, пьяненький, еще и похлопал ее по плечу:

«Да ты не бойся, мы тебе не сразу отставку дадим. Поживи, пособирай крошки со стола, так уж и быть... — хорохорился он. — На мне ваша Аглая промахнулась...».

И, пьяный, вдруг дико закричал: «Я ночной тать!..»

И заухал филином:

«Ух!.. Ух!.. Ух!..»

Тут уж Вика испугалась всерьез:

«Прекрати!» — Недалеко от них была каюта Кочина, а туда как раз пришел директор, оба с бессонницей — что и худо! — попивавшие чаек, они вели долгий ночной разговор, итожа поездку. Когда Санин заухал, Вика прикрикнула, Вика даже толкнула его в спину, иди-ка, ми-

лый, в каюту да проспись, но и тут Санин в каюту не пошел, не угомонился и вновь (и все это время Вика не спала) стал гоняться за совсем уже свихнувшимся от страха попугаем.

— ...А что Тарасенков? — спрашивает Аглая Андреевна.

— Был очень сдержан. Корректен.

— Об уходе разговоры не вел?

Тарасенков — зам, а отношения его с директором — старый больной вопрос, оттого-то Аглае Андреевне и важно знать нынешнее эмоциональное состояние в затаившейся драме.

— Не было ли в его сдержанности оттенка — наплевать, мол, через месяц уйду?

— Нет. Он вникал в дела.

Отвечая на вопросы простые и на вопросы сложные, Вика вдруг напрягает слух: слышит далекие шаги в коридоре... Она сначала колеблется... она не узнала, но ее слух, своей и как бы отдельной жизнью живущий, уже узнал. «Одну минуту...» — говорит она, извиняясь, Аглае Андреевне, и, так как разговор у них долгий (они еще и чай не пили), Вика вполне может на минуту выскочить.

В глубине коридора она видит спину Родионцева, более того, она мгновенно считывает с его спины то скорбное выражение, с каким он прошел мимо этих дверей.

— Митя...

Не оглянулся — как объяснить ему, что дела уже не вернуть и не поправить.

— Митя. Что ты тут бродишь?

— Вовсе я не брожу. Шел мимо.

Вика думает, не догнать и не остановить ли его, но что ему скажет она, загоревшая, отдохнувшая, счастливая.

Не было у них небольшого романа, не было и дружбы, но были отношения, приправленные некой особой нежностью. Вика и раньше успела оценить, что Родионцев из тех, кто за спиной твоей дурного не скажет, но в той поездке (осенью, в Белгороде) как-то особенно выпя-

тилась его порядочность, а также его веселость без желания что-то впрямую себе урвать или хапнуть. Вика нечасто встречала в жизни таких мужчин, и как-то уж очень она тогда, в Белгороде, расчувствовалась, хотела и на близость пойти (опытная, она могла бы проделать все так незаметно, так подлинно, что близость их случилась бы сама собой: как в романах), но вдруг, сильно повзрослев за двухсекундный промежуток времени, подумала: зачем портить редкое? Тогда-то, прошедшую огонь и воду и трубы, ее и укололо некой нежностью, после чего они остались *только* в приятельстве, и Вика это ценила (да, на выезде шел дождь, а они коротали вечер в белгородской гостинице, в ее, кажется, номере — на Вике была яркая голубая кофточка, а транзистор передавал старинные марши и вальсы для духового оркестра), и уж много лет они были просто в приятельстве, и Вике это было куда дороже после бурной ее молодости и после пяти, кажется, неудачных попыток выйти замуж, когда телесная близость так потеряла в цене.

Напротив Аглаи Андреевны сидит маленький заикающийся человечек из хозобеспечения.

— М-мне л-лично все равно, — повторяет он. — В-выбирайте...

Шторы, что он принес, лежат в двух вариантах: качество превосходное, но одни потемнее, другие понаряднее. Приглядевшись и в пальцах помяв, Вика говорит Аглае Андреевне, что, если ее мнение чего-то стоит, она бы выбрала вариант посветлее: что вы, что вы, в них нет и тени легкомыслия.

— С-солидные, — подтверждает заикающийся человечек.

И не замечает, что, хваля, Вика одновременно подмигивает Аглае Андреевне: мужичок-де хитроват и вкрадчив, не лукавит ли? — на что величавая как богиня Аглая Андреевна тут же реагирует и говорит строго:

— А принеси-ка, хитрец, нам еще шторы. Мне не нравятся оба варианта.

Заикающийся маленький человечек уходит и вскоре же приносит новые два варианта; он как гном — в дверях возникает движущаяся гора штор, под которыми видны коротенькие ноги. Принесенное аккуратно раскладывается на два кресла — гномик устал, он мокр и очень слышно дышит.

— В-вот эти, — говорит он, — лучше нет. Д-дорогие оч-чень...

— Вот эти директору и подойдут, — произносит Аглая Андреевна, как бы решив разом, однако шторы для приемной, с Викой перемигнувшись, Аглая Андреевна бракует вновь. Гномик отсылается еще раз. Он приходит с новой парой, и новый пот ручьями бежит с его мелкого и маленького лица. В принесенном сразу и без трудов угадывается столь же бесспорный вариант для приемной. Красивое видится само, а все же Вика угадывает первая: и вот окутанная полосой штор, как полинезийская женщина в свадебно-боевом наряде, Вика подходит к окну. Солнце на ткани без промедления начинает играть. Вика подымает руку — и ткань попадает в позицию «на просвет», после чего становится бесспорным, что цвета новых штор не только соответствуют стилю приемной, но также подходят к лицу Аглаи Андреевны и даже к розе, что цветет в своем углу не переставая, — замечательно! Женщины в восторге.

— Почему сразу эти шторы не нес? — смеется Аглая Андреевна, выговаривая гномику, впрочем, добродушно. — Неужели хотел всучить что похуже?

— Я ж не ж-ж-женщина, не знаю, — прожужжал тот.

— Все ты знаешь! — корит его Аглая Андреевна, а он по частям и со вздохами (тяжело!) начинает уносить забракованное к себе в хоромы.

И только-только Вика подумала, кого бы это (может, Митю?..) позвать в помощь, чтобы повесить шторы взамен старых, как стук в дверь — и надо же! — входит

молодой Санин. Вика бы присвистнула, если б умела. Нюх, слов нет.

— Вы очень кстати, — говорит Аглая Андреевна. — О поездке мы побеседуем после, а пока не поможете ли со шторами?

Санин улыбается и, разумеется, красиво разводит руки — весь, мол, к услугам! Ох и мальчик, уж эти его голубенькие глазки: именно что перевоплощение; подумать только, что такой галантный молодой человек лунной ночью гонялся по палубе, как псих, за сквернословящим попугаем.

— Начнем с головы? — Санин распахивает стремительно дверь, и все трое проходят в кабинет директора.

В отсутствие хозяина кабинет кажется и просторным и приятно доступным — вероятно, последнее и придает смелость, иначе отчего же Санин так мальчишничает: проходя мимо, он плюхается в кресло директора, делает лицо сатрапа и басит:

— Всех уволить!..

Впрочем, он тут же вскакивает — и к делу: влазит на подоконник, предварительно закидав его газетами, чтобы не наследить. Он вешает шторы — двигает руками старательно, быстро и неожиданно ловко, а Аглая Андреевна и Вика, шторы подавая, смотрят на него снизу вверх, откуда, длинноногий, он кажется еще более рослым. Солнце то скрывается за движениями его рук, то вновь распахивается с яркой силой, а сам Санин, прилаживая, то меркнет, то вспыхивает. Шутит, даже и паясничает он на этот раз более удачно: в точно выбранную минуту он, как детям, делает им сверху козу:

— Женщины! Утю-утю-утю-утю... — И хотя это совершенно бессмысленно, но почему-то смешно, и женщины — обе — смеются.

Вика машет на него рукой:

— В их отделе большие шутники, вы же знаете, Аглая Андреевна!..

Закончив, Санин легко спрыгивает, и все трое пере-

ходят теперь в приемную. Вика перенесла газеты, подоконник застилается; после чего молодой Санин, вновь влезший, вешает шторы еще и быстрее, чем те, так как к ловкости добавился опыт. Закончив, спрыгивает. И вот, не скрывая некоторого возбуждения, две женщины и молодой мужчина любуются шторами там и здесь: они переходят из приемной в кабинет, а из кабинета возвращаются в приемную. Они оценивают. Они говорят друг другу, что и там и здесь — здорово!

И даже непонимающий гномик из хозчасти, перетаскавший наконец к себе забракованные шторы и от трудов весь еще мокрый, стоя у дверей, тоже произносит:

— З-здорово!

И кабинет и приемная выглядят нарядными, помолодевшими. Свежие краски дают свежее ощущение — новизна! Молодой Санин по-суздальски бьет рука об руку, стряхивая будто бы многотрудную пыль с ладоней, и говорит:

— Ну, Аглая Андреевна, если и после этого вы не напоите работягу своим чаем, я уж тогда и не знаю. Это будет... как бы вам сказать...

И он делает гримасу стилизованного гнева.

— Напою. Напою... — Аглая Андреевна улыбается.— Но знаете ли, мой чай надо ценить.

— О вашем чае, Аглая Андреевна, легенды ходят!

И сумел-таки — и ведь быстро и как аккуратно занял освободившееся место.

Вика, чуть надувши губы, направляется помыть чашки, так как баба Даша, технический работник, куда-то ушла, — но чуткий Санин, с кресла мигом взметнувшийся, идет следом за Викой поставить чайник и, стало быть, тоже вложить труд. Вика ему на ходу показывает — чайник в бытовке, знай на будущее — и Санин идет за ней, и какими же твердыми шагами перемещается он по бытовке, прихватив сверкающий чайник. Мель-

ком взглянул на свое отражение в зеркале и вот уже подставляет чайник под мощную струю воды.

Вика занервничала: с чашками она возвращается чуть позже и видит эти разлитые на паркете квадраты света, по которым ходит Санин, новый человек, а солнце пьянит и буквально заливает приемную, врываясь меж раздвинутых штор.

За чаем, самоутверждения ради, Вика развивает одну из своих излюбленных тем: нынешние мужчины — ничтожества:

— ...Я сужу по своему мужу, а он, поверьте, совсем не хуже других; их всех надо бы за колючую проволоку. Изолировать. И выпускать только в дни спаривания.

В голосе Вики печаль и насмешка одновременно: ей иногда очень даются такие минуты.

Теперь Вика втягивает Санина, ей необходимо (опа это чувствует) его втянуть:

— Ваше поколение так и живет: ваше поколение все берет с лету. Что ж! У вас крылья, у нас — дети...

Молодой Санин защищается с обаятельной улыбкой:

— Да что вы напали! И ведь не виноват я, что мне двадцать четыре года...

— Зато я виновата, что мне тридцать пять! — ударяет Вика.

— Я не только не виноват, что у меня пока еще нет семьи и детей, — в этом, если хотите, моя печаль. Поколений нет, есть люди, есть человеки — я так считаю, Аглая Андреевна.

— Ах, бросьте вы оба спорить!

— Я не спорю, но она нападает на все поколение, Аглая Андреевна.

— Дурачок! — взвивается Вика, осторожничая и уже держась к бережку ближе. — Да ведь я люблю тебя, то есть не тебя, а твое поколение. Я люблю и завидую!

Аглая Андреевна смеется:

— Выпьем по последней чашке чая, выкурим по сигарете — и разойдемся. Так?..

И добавляет, голос ее мягок:

— Вы, Вика, еще на минутку останьтесь.

5

Два слова сверлят ему душу: напиться и выговориться — то есть не схожие два, а именно эти, как в плохом, в дурном фильме, когда человеку после обиды напиться надо непременно, да так, чтобы видели и, стало быть, в обиде его не сомневались. Особо значащим является слово первое, потому что не выпить, а напиться — уже само по себе для человека свиты (с пределом в пятьдесят граммов коньяка) означает бунт в любой форме, может быть, и в скандальной. Существовали, конечно, свиты и повеселее, попьянее, но Родионцев был в той, в какой был.

В возникшем желании таилась новизна, которая уже сейчас ему очень и заметно нравилась, и потому в пылу, новизной обольщенный, он даже решил позвонить жене и ей рассказать: раз, мол, в жизни напьюсь, благослови... Впрочем, он тут же и одумался: сообразил, что жена не только начнет отговаривать, упрашивать, а еще и примчится сюда — бросив и службу и дом, напуганная и посчитавшая, что от потрясения он сошел с ума. И, кстати, то, что о нем, о Родионцеве, в его ситуации можно подумать, что он сошел с ума, ему тоже нравится.

Жене он все же звонит, но сообщает лишь то, что вернется поздно. И кажется, он сказал: встреча с кем-то.

Одним из первых Родионцев выходит из проходной, спешит к остановке и там, в цепочке нервничающих людей, ждет такси, а как только такси подруливает, он плюхается на заднее сиденье, разваливается и расслабляется — путь в ресторан хорошо знаком. Не раз и не два Родионцев устраивал там встречи и юбилеи, так что, если очередь или просто нет мест, можно будет подняться и по-

просить лично директора ресторана, для которого Родионцев все еще Родионцев. Но очереди нет. В ресторанной уже загодя бодрящей ауре Родионцев удачно находит место за столиком. Правда, неподалеку за сдвинутыми столами шумит банкет, где уже давно славят диссертанта, но отчасти шумное соседство даже приятно — да, приятно, так как напоминает, что сегодня Родионцеву не надо шутить, не надо быть начеку, не надо вперебой предлагать нужный тост, чередуя его с остроумным. Впервые Родионцев сам по себе, свободен.

Он сел, столик с ним делят два человека: мужчины. Оба пожилые. Оба крупнолицые и заметно рябые. Родионцев как завсегдатай бойко заказывает официанту то, то и то. Он вдруг чувствует, что хочет выпить. Гора с плеч.

Он разглядывает банкет, откуда доносятся тосты и бессмысленно-радостные клики, он видит и дальше: дверь в другой зал, где торжеств никаких нет и где просто пришлый и денежный ресторанный люд торжествует сам по себе. Для них там наяривает бедовый оркестр, прорываясь и сюда гундосящим саксофоном.

Родионцев уже жует и пьет — ему принесли всего лишь закуску, зато водка, как всегда, идет намного впереди прочего, и ее можно пить сразу; водка колышется в графинчике, ее немало, и Родионцев понимает, что это красиво, когда официант с особой предупредительностью говорит ему, Родионцеву, что для любителя найдется особый розовый стручок перца, который, втиснувшись в графинчик, сейчас же и будет плавать в водке, придавая ей аромат и вид, не бросить ли?.. и бросает, едва уловив кивок Родионцева.

Два пожилых рябых человека, с которыми он делит стол, — люди бывалые, с бывалостью и в лицах и в движениях, когда они режут мясо или разливают выпивку, и потому Родионцев, заранее объясняя себя и свои как бы права и возможности, говорит им без церемоний:

— Я пришел напиться...

— Ага, — замедленно откликается один.

И второй откликается совсем уж с запозданием:

— Ага.

Оба, по-видимому, сибиряки, крайне медлительные и крайне молчаливые, что Родионцева очень устраивает. Вероятно, приехали в столицу по делам. Вот и ладно. Пусть сидят и молчат — будет тихо и замечательно. Но сам же и первый молчания он не выдерживает:

— Я человек вам незнакомый, тем легче мне вам сказать... Меня обидели. Да, начальство. Заметьте, я и сам человек не маленький. Очень даже...

Родионцев понимает вдруг, что уже и с первого хмеля заврался: две стопки пошли, в сущности, натощак. Но одновременно он понимает, что ему, пожалуй, и легче будет высказать наболевшее с точки зрения, допустим, известного ученого (пусть слишком засекреченного и конфликтующего с начальством), чем с точки зрения мелкоты, даже и не мелкоты, а ловчилы и полулакея, каким он может показаться, и не без оснований, этим пожившим людям. Тут же Родионцев ловит себя на совсем уж простой мысли, что он им выговорится, наболтает, пусть и заврется (надо же душе мягкого), но уж после, когда они уйдут, он обдумает сам с собой в открытую и до конца, тогда и хмель его будет настоящим, и слезы нужными, и правда — горькой.

— Сегодня самый нехороший мой день, самый черный, — гонит он слово за словом. — Сегодня дела побоку: день обдумывания...

Ему нравится собственный голос, и к тому же его подстегивает (и поощряет) как бы прозрение, вот почему в кино нужны доктора наук, и ученые, и крупные хирурги, и вообще значительная номинальность в пьяненьком виде — им, значительным, каяться вроде можно и пить можно, их вроде как что-то всерьез мучит, их, мол, и слушать станут. А нас? А мы не люди?.. Да вот ведь потому мы в ресторанах и привираем, чтоб нас слушали, и правильно делаем, человека надо слушать.

— ...Счастливые исповедуются, а несчастливые вопят о том, что их надо спасать первыми, верно?.. Я жил, и жил, и жил, был нужен, делал свое дело отлично, а что в итоге? А в итоге провал, притом постыдный и оглушительный... Нет-нет! Меня, заметьте, не надо спасать: меня не убили и не обобрали, меня обидели — мне подставили зеркало, которое я вовсе не просил, и я увидел, что я ничто и ноль...

Он осекается, проговорившись, — как же это «ничто и ноль», если он только что хвастал значительностью калибра. Впрочем, пожилые рябые мужики поймут его слова, как рисовку ученого: вот пусть так и поймут... Он выпивает, он еще и охотнее говорит, и вдруг, глаза подняв, видит: они его вовсе не слушают. Они как бы поставили на нем знак: пьянь, мол, и теперь только едят и пьют.

— Да вы хоть немного послушайте меня! — взвивается Родионцев.

На что один из них (рябинки на лице у него помельче и насыпаны гуще, чем у второго) молча выпил, крякнул и продолжил еду, а второй даже и лица не поднял: жует.

Тут Родионцев уже совсем неожиданно для себя говорит:

— Пусть я ничто и ноль, и пусть во мне ничего и не было, но была же во мне молодость!.. На что-то же я ее потратил?! Сверстники мои уже все чего-то добились. Уже с машинами, с дачами! Даже и те, что дергались, гениальничали, даже и они теперь пристроились: кто живет воспоминаниями, а кто и на местечко влез — у всех все прилично, а я?

Он горько смеется:

— Я же, который себя не жалел, бегал, спешил, который, можно сказать, горел для дела, — а что в итоге? А в итоге вспомнить мне нечего, а поезд ушел... Да вы хоть слушаете меня?

— Ага, — говорит один из рябых.

И не слушает.

Родионцев опомнился — оба пожилых рябых человека равнодушно и спокойно (без переглядываний) его не слушают: чокнулись меж собой, выпили и теперь курят. Это удивительно, что люди могут так слушать и не слышать. Они привычны: он может приговориться, он может вскрикнуть или рубашку рвануть — им все равно, в конце концов он пьяный, а не пьяный, так подвыпивший.

Но, помимо равнодушия, нехорошего, черствого, в этих минутах присутствовало как бы некое ему, Родионцеву, прощение, прощение вперед и загодя, которого он, кажется, давно ждал, очень давно. Ни об Аглае Андреевне, ни даже о самом себе думать необязательно. Можно и вовсе не думать. Необязательным стало состояние меж рациональной мыслью и отчаянием, появилось нечто третье, спокойное, милосердное, и он, Родионцев, может сколько угодно длить эти святые минуты, когда мысль парит и когда все очевидное и само собой разумеющееся кажется пошлым. Я пьян, подумал он с радостью.

Тут было еще и увлечение собственной исповедью, пусть отчасти липовой, но которая впервые и вдруг прорвалась, вылезла откуда-то изнутри, минуя надзор и догляд самого себя. Тут был еще и некий порыв, потому что, потеряв свой круг и оглядываясь среди людей заново, делаешься несколько ребенком, обретая даже игру, но не ту игру внешним, когда резвость и...

— Сбился, — говорит он. — Я сбился. Простите...

Он тянется (он старается сделать это уверенно) за графинчиком и вновь себе наливает. Первый хмель исходит, и Родионцеву совестно, так как кажется, что они оба смотрят на него, болтливого, с укором молчащих. Оба мужика несколько простецкого вида. Один протянул сигарету, сказав другому вполголоса: «Держи», — они курят и молчат.

В Родионцеве возникает чувство пустоты, обычное после наслаждения порывом, хотя бы и недолгим, он

выпивает под их взглядами, берет вилку, нож и, не поднимая глаз, режет мясо.

Их молчание упорно, как дождь.

— Я... — Он замялся, голос его негромок. — Я сбился.

А они молчат.

Теперь, когда запал иссяк, слова Родионцева, и его сидение напротив, и водка в его графинчике — все кажется глупым и незащищенным, притом что эти рябые— люди бывалые, даже не удивляются. Они знают наперед. Они оба без натуги и просто понимают химию алкоголя, то есть, не зная ни о химии, ни об алкоголе, они знают очередь поступков и знают, что именно теперь Родионцеву нужно еще выпить, и он выпьет, деться ему некуда. И новая волна возбуждения и слов нагонит прошлую. И не страшно, что в момент совпадения отступающей волны и волны подгоняющей случится заминка, сбой, и полезет из него собачья чушь, зато через время возникнут новые страстные слова, которые, надо думать, позарез нужны этому человеку лет сорока, с залысинами, в строгом пиджаке и при галстуке.

Родионцев выпил.

— Я наговорил лишнего? — спрашивает он, извиняясь.

Оба медленно пережевывают мясо, ни звука в ответ. Они молчат — возможно, они понимают, что он на том последнем перекате, где из молодых, сильных людей получаются, превращаясь, пожилые и утомленные, а то как (за счет чего) у него это превращение происходит и отличается ли от других превращений, в том числе их собственных, их попросту не интересует, да и с какой стати: чужие ж люди.

Возможно, что молчание их чем-то было обусловлено еще до его прихода. Один из них подымает рюмку молчком, второй подымает следом.

И они выпивают.

Он даже и потрясен их молчанием, он в недоуме-

нии — тут бы ему, конечно, и остановиться перед тем, что останется загадкой, но он не может. Выпитое подстегивает:

— Поймите: мог бы и я прожить другую жизнь — совсем другую...

Он не жестикулирует: подавшийся телом вперед и зажавший руки меж колен, он коленями-то и удерживает руки от жестов. Смелея, он сообщает молчунам и о том, что прилгнул: я никто и вовсе, мол, не засекреченный ученый — это уж по пьянке, это лишнее, простите... Размазывать собственную ложь неприятно (впрочем, он не помнит, говорил ли он, что он ученый, или только намекал), и Родионцев решается на полную откровенность: да, он из тех, кто шестерит, суетится, и произошло лишь то, что у него просто отняли эту лукавую должностишку, пусть крохотную, но там (о, это особый разговор) было солнечное местечко, к которому он привязался.

И, прервав ход, мысль его вновь проваливается в некое прошлое:

— А они теперь поучают, с молодежью работают — те, что гениальничали... — Он сам не понимает, что это он говорит и перед кем оправдывается. Рябые мужики — как братья; а может быть, они и есть братья. Они в клубах дыма, крупнолицые, старые, и лица у обоих в оспинках и в какой-то замшелости. Они сидят здесь с самого начала, с первых поставленных городских стен, со времен усобиц — много сотен лет, — похожие на старые башни, по которым палили пулями, стрелами и камнями, а потом в места выбоин изо дня в день налетала пыль, вырос мох, и птицы стали там вить гнезда.

— Вы поймите: я не пьяница, не краснобай, я человек, — чуть ли не молит Родионцев у них хоть слова, хоть знака, боясь их молчания, боясь, что сказанное им обречено еще больше убавиться и умалиться, если он не получит от них внятного слова в ответ. Он сидит один на один с собственной недоговоренностью, которую ни

выразить, ни до конца исчерпать, а эти рябые молчат и только допивают водку.

Когда Родионцев, дернувшись к графину, тоже наливает очередную стопку и быстро, оглушающе выпивает, появляется Вика.

Теперь за столом их четверо. Быстро подошедшая и присевшая рядом Вика негромко (в ресторане шум и ор) говорит: нет-нет, ни есть, ни тем более пить не стану, я поговорить хочу, Митя, рассказать хочу...

Родионцеву слова не даются, губы шлепают — тогда он молча придвигает ей рюмку с водкой.

— Да не хочу я! — взвивается Вика. — Господи, как я ненавижу рестораны! Да что ж они так орут?!

Гневная, она оглядывается на близкие банкетные столы.

— Это ж невозможно терпеть, — говорит она, несколько оправдывая свою раздражительность (и свой приход) перед двумя рябыми мужчинами.

Вика к ним вполоборота; и объясняет — шум, мол, мешает жить, существует, мол, даже теория о чудовищном разрушении шумами нервной системы. Никак не желая быть чужой за столиком, обживаясь, она то улыбается им, то серьезничает, а эти двое рябых молчат. Они молчат и курят, и, наконец, с огромным промедлением один из них на всякий случай говорит Вике, борющейся с шумами:

— Ага.

Едва освоившись, Вика объясняет Родионцеву — приблизив лицо, она шепчет ему:

— Нет, ты понимаешь, как это ужасно, Митя. Я сразу позвонила тебе домой, тебя нет, но я-то знаю, что тебе пойти некуда и что у тебя не может быть никаких встреч. Но все-таки я решила сюда заглянуть — да, Митя, дожили! Меня Аглая гонит — слышишь, Митя, меня тоже...

Родионцев и слышит и даже понимает, но в голове

у него некое немое столпотворение — у него вышли слова, язык не подчиняется. Он в пьяном ступоре. («Да ты не слушаешь, Митя!..» — вскрикивает она.) И именно, чтобы Вика не подумала, что Родионцев ее, страдалицу, не слушал, он с величайшим усилием произносит то, что удается:

— Вы... выпей.

Вика отмахивается. Как было дело? Аглая оставила ее, Вику, на минутку и говорит: «Хочу, чтобы вы ввели в курс дела Марину...» — ну, ту, рыженькую и молоденькую, ты понял? И все так просто. Так мило! Я, значит, научу Мариночку делать из стенограмм выписки, я расскажу ей об отношениях с заводами, мало того, возьму ее с собой для урока в следующую поездку! А что потом?

Родионцев только кивает: и действительно, а что потом?.. а потом, вероятно, суп с котом. Но, к счастью (она бы обиделась), он только что-то мычит, а выговорить не может.

— Митя!.. Но надо же что-то делать — думаешь, чего я сюда прибежала? Есть мысль: а что если устроить маленькую домашнюю пьянку? У меня, между прочим, день рождения скоро. Приглашу ее, и мы начистоту поговорим с ней, а?

— М-м, — мычит Родионцев вроде бы даже многозначительно.

— Представляешь, она отделалась милой улыбочкой, сидит холеная, перстни выставила и мурлычет: «Все на свете, милая Вика, однажды требует смены, свита тоже...» Я говорю: «И мебель в приемной тоже?» Она отвечает: «И мебель...» Митя! Так пригласим Аглаю на день рождения? И скромно, интеллигентно, без нажима расспросим...

«Вот и она — тоже. Вот и ее — фьють!..» — хочет Родионцев объяснить ситуацию рябым мужикам, поднимает глаза, но рябых нет. Они ушли. Эти языческие молчуны ушли, нет, это были нечеловеки, это не могли быть

люди. Теперь он и Вика сидят вдвоем за столиком, и рядом никого, а там, подальше, бушует банкет — как говорили у них в свите, догорает... На какой-то миг слова Вики впрямую доходят до его сознания, а сам факт ее изгнания становится логикой: если погнали и Вику, стало быть, все правильно, у него, у Родионцева, не было промаха, не было и быть не могло: всю жизнь был аккуратен и осмотрителен, не пересказывал слов, не был на виду с молоденькими женщинами, пил по пятьдесят граммов... нет, это уже говорилось, уже было. И поиск спасения был. И мысль о дне рождения с приглашенной Аглаей... всё было.

— Бы-бы, — говорит он Вике. (Бы-ло.)

— Что?

— Бы-бы.

— Митя!.. Я ведь пришла посоветоваться. Ведь ты уже давно в этом ощущении (ведь тебя уже давно выгнали) — ты уже что-то обдумал. Ведь, наверное, появились какие-то идеи, давай же обговорим — неужели же пришел сюда только напиться?

И тут Вику осеняет: так и есть: для того и пришел — вот современные мужики, и Вика ли их не знает. Вика ли не знает о них всё. Вика отпивает глоток водки и морщится: гадость... И вновь думает о мужчинах. Скоты, сравнялись с бабами. Баба чуть что — в слезы, а мужик чуть что — в спячку. Расслабился. Такова, мол, жизнь.

— Митя!

Она трясет его за плечо. Но он на все отвечает.

— Бы-бы.

Вика встает. Ярость прихватила ее у самого горла: нет уж, она так просто не расстанется с солнечным местечком. Она не квашня. Она хотя бы потрепыхается. Она еще побегает, она покричит там и здесь. Уж она покричит!.. Проиграть так проиграть. А он пусть сидит тут, никчемный.

Родионцев вдруг понимает, что ему хорошо, и что он слышит ритмичную музыку, а стоит он, оказывается, у входа в тот зал, где бушует оркестрик, и мимо него беспечные люди идут поплясать. А там уже целый рой обнимающихся и движущихся под музыку людей. Родионцеву танцевать не хочется, все же вид танцующих, вероятно, что-то в нем шевельнул: крутясь в свите, пить они не пили, но танцевали на всякого рода торжествах изрядно. И как знак о былом какой-то шальной лысый человек сразу же принимает Родионцева за своего и, подскочив, с заговорщицким видом говорит:

— В банкетах самое интересное — разъезды! Верно? — При этом лысый жует полуочищенный апельсин.

Родионцев догадывается, что тут некий намек на женщин, может быть, хорошеньких и чуточку перепивших, и кивает: он, мол, Родионцев, тоже из бывалых, из тех, кто случая своего не упускал. Он говорит (он вдруг обрел речь и очень рад):

— Да уж, разъезды! — это нечто... Всегда что-нибудь подвернется.

— И до чего ж иногда славно бывает!

— Н-да...

Они оба смеются. Шальной лысый человек вроде как ловкий устроитель при банкете и чем-то, несомненно, сродни Родионцеву по былым обязанностям, потому их и потянуло друг к другу. Родионцев уже хочет расспросить, но тут шальному человеку кричат:

— Рогов! Рогов! — и, уходя, он машет: пойду, мол, даже и плясать без меня не могут.

И Родионцев тускнеет, разом вспомнив свое и как бы вновь теряя; он проходит мимо банкетного стола (он уже в своем зале), он оглядывает чужой праздник. В голове стола гладиолусы, и Родионцев меланхолично переводит глаза с цветка на цветок. Тут к нему подходит официант и говорит, что Родионцев все уж давно съел и выпил и не пора ли ему домой или там на воздух: он очень бледен.

— Бледен? — переспрашивает Родионцев.

— Да... Водки вам больше не будет.

Родионцев и не хотел водки, тем не менее ему становится себя жаль, досадно. Он хмуро расплачивается. И тут он понимает, что ночь и что ресторан закрывают. Вот оно что. Ему уже совсем не так обидно — тем более он видит, что и те, с банкета, тоже уходят, все понемногу уходят... Родионцев на улице, и до чего ж здесь хорошо, а какой воздух!

Те, что с банкета, идут впереди: гомоня, красные и пылающие, они идут в обнимку — на ходу целуются, а один без конца роняет пиджак, подымает и вновь роняет. И ведь поют! Ночь теплая. Машины притормаживают, даже и объезжают эту растянувшуюся, гомонящую группу.

Родионцев идет за ними.

Он молодец: он напился и все-таки не сорвался. Он молодец: гулял как хотел. В том-то и штука, что трудно угадать последствия: есть дела и порывы, знать о которых можно лишь, когда идешь на их зов до конца... Ах, какой воздух. Какая ночь.

Он идет по переулку, а затем по каким-то маленьким улицам и на миг — уже издали — вновь обнаруживает ту компанию, которая оторвалась от него, но в промельки улиц еще видна и слышна. Веселые люди идут там, один из них пританцовывает на асфальте, а другой, видимо, виновник торжества, вдруг кричит, как радующийся ребенок: «Я — кандидат наук! Эй, люди, звезды, крокодилы!.. Вы слышите; я кандидат наук!» — и вокруг него, изливающегося в криках, плещет шум и длится радостная, веселая суета, а потом их скрывает и как бы навсегда отрезает от Родионцева большой темный дом. Их нет.

Родионцев бормочет какие-то слова, мычит; в темноте задрав голову, он тоже видит ночной небосвод во всем его великолепии, хотя бы и окаймленным справа и слева крышами. Что-то непомерное есть в этих звездах, и Ро-

дионцев всхлипывает, сам не зная о чем. Ему становится лучше, легче. Он уже с удовольствием думает — а вот ведь я пьян, я хорошо пьян, я совсем пьян, я напился!.. И, ах, черт, он тут же и мигом трезвеет, увидев настоящего пьяного: молодой парняга, заплетаясь ногами, прошел мимо Родионцева, всего лишь в шаге. Качнуло налево, затем направо — правый кач одолел, и качающийся малый отплыл куда-то в тёмноту.

Впрочем, едва глаза во тьме пригляделись, Родионцев вновь его видит: проделав с десяток шагов, пьяный и добродушный молодой человек в хорошем костюме, выкрикнув: «Зызы-вездочка-а-а!» —упал, то есть, правильнее сказать, рухнул и однако же не лег, а каким-то образом уселся на земле, мотнув растрепанной беловолосой головой.

Улица тиха. Ночь. Деревья стоят редко, одинокие и разлапистые. Родионцев идет своей дорогой и ловит себя на том, что завидует этому юнцу, который сел у стены дома, вытянув длинные ноги прямо на асфальте, — сказать точнее, он завидует его молодости. Заснул малый — и все тут дела. Ничего не боится. Родионцев даже слышал, как он сопел.

Но вот в прогале перекрестка — а его, перекресток, уже и искал глазами уходящий Родионцев — мелькает машина, сначала легковая с зеленым глазком, но таксист тут же и развернулся, как бы испугавшись тьмы, умчал, а взамен, тьмы и ночи не испугавшись, въезжает машина поболее легковой, со специальным кузовом. В таких ли машинах забирают (собирают) в вытрезвитель или не в таких, в темноте угадать трудно, умеренный по части пьянства Родионцев не все знает, однако у него хватает ума, как у всякого пожившего человека, догадаться: да, сейчас заберут. Неужели?.. Отошедшего уже сравнительно далеко, его охватывает вдруг интерес, род любопытства.

Родионцев оглядывается: тот и не шевельнулся — сидит, как и сидел, на асфальте, спиной к стене дома.

Издали этот пьяненький и сидящий юнец похож на полураскрытый перочинный ножик (сравнение из ночных), светлая голова свешена на грудь — в порядке мальчик, ничего не скажешь. Родионцев, и сам пьяненький, хихикает и топчется на перекрестке, как вдруг охватывает страх: а если заберут и его? Руки, ноги немеют, сдвинуться он не может, и только стучит лихорадочная мысль: нет, нет, нет, к сидящему тому он отношения не имеет, мало ли кого и зачем он здесь на перекрестке ждет. Немота прошла, ноги его живительно задрожали. Он отирает пот со лба и, притихший, следит боковым зрением.

Сидящий на земле замечен: машина подъехала. Они заглушили мотор, после чего человек в темном, невысокий, отворяет вместительный кузов — и подходит к спящему: «Подымайся... Доспишь там», — он пытается поднять, но юнец отяжелел, к тому же отмахивается рукой: отстань, мол. Человек в темном склонился, в ход идет растирание ушей и звучное хлопание по щекам. Не справляясь, человек в темном кричит шоферу, зовет в помощь, но шофер человек пожилой и не хочет ввязываться: мое, мол, дело возить, и не грузить. «А как быть, если нынче я один!» — наседает человек в темном, хрипло выкрикивая, что сегодня он без напарника, так уж вышло и, ясное дело, он один такого лося не поднимет. Пререкания продолжаются, пока шофер, пожаловавшись на радикулит, резким, грубым словом не прекращает разговор совсем. Тишина.

И вновь на пустынной ночной улице ругань: озлясь, человек в темном кричит шоферу, чтобы тот хотя бы подъехал удобнее, и взревевшая в тишине машина, выворачивая колеса, начинает зигзагообразный отъезд-подъезд и вот уже не без ловкости подруливает надвигающейся раскрытой дверью кузова. Теперь сидящего на асфальте нести и волочить не надо, только поднять — и в кузов. Человек в темном, докурив и швырнув рассыпающий искры окурок, решительно подходит к сидяще-

му. Далее следует воспринятое Родионцевым как смешение реальности и видения: Родионцев прикрывает глаза, а человек в темном берет сидящего обеими руками за волосы — именно так, двумя руками — тянет к дверце кузова; боль заставляет спящего подняться как бы против воли, а человек в темном, его не выпуская, уже сумел, ловкий, влезть в кузов и вновь тянет — голова юнца лежит на дощатом настиле кузова и, трясясь, щекой медленно вползает внутрь, а за головой медленно же вползает в кузов и тело, и теперь только ноги висят снаружи. Но вот и ноги вползают, подымаясь за телом как бы сами собой, потому что человек (там, внутри кузова) ни на минуту не выпускал его, втягивая обеими руками.

Дверца кузова закрывается. Машина отъезжает. Родионцева наконец осеняет, что виделось ему сейчас не бог весть что: юнец, к тому же в анестезии сна едва ли испытал такую уж боль — скорее неудобство, и в конце концов (если считать плюсы и минусы) теперь он выспится не на асфальте.

Родионцев проходит пустынную улочку почти до конца.

Там он видит человека, а рядом на столбе — рябь шашечек. Стоянка.

— Д-давно ждете, ж-ждете? — спрашивает Родионцев скованными губами.

Женщина молчит.

— М-меня... В-вы. Из-звините... Так в-вышло...

— Не извиняйтесь. Я не боюсь пьяных.

И женщина рассмеялась. Она стоит на стоянке такси, высокая, светлая лицом и в светлой юбке, а темный ее жакетик мерцает какими-то переливами. В руках сумочка. Они стоят вдвоем — машин нет и будут ли, неизвестно.

Родионцев продолжает свое:

— Вы м-меня из-звините... Я н-никогда... Т-только по пятьдесят г-грамм...

Женщина засмеялась, мягким спокойным голосом она говорит: не оправдывайтесь, чудак вы, ей-богу!

— Нет. П-послушайте... М-меня л-любили, а теперь н-не любят.

— Ну и прекрасно, — говорит женщина. — Теперь вы сами по себе.

— Чт-то?

— Теперь сами по себе. Свободны.

— Д-да?

— Да.

Родионцев улыбается: свободен от свиты, это же замечательная мысль! Это же очень умно!.. Он начинает что-то восторженно бубнить, но такси, вдруг возникнув, подъезжает и увозит эту добрую, веселую женщину. Конечно, она как-то слишком быстро уехала, могла бы спросить, не по пути ли, и даже подвезти его, Родионцева, хотя бы до более освещенных улиц, тоже могла. Но нельзя требовать от одного человека слишком много. Доброта не должна быть слишком большой нагрузкой. Нет, какая же это была добрая и замечательная женщина и какие же добрые и замечательные были ее слова.

Родионцев стоять не в силах — он идет и идет заплетающимися шагами по темному переулку, но на душе у него никак не темно: в словах женщины был смысл! Запнувшись, он падает и вставать не спешит. Да, встать ему не удается, но и это не портит ему настроения. Он может себе позволить никого не бояться, и кого же или чего бояться теперь. Он приваливается спиной к какой-то стене. Свободен — пронзает его мысль еще раз, Родионцев улыбается и засыпает. На миг очнувшись, он только делает вытянутые ноги крест-накрест, чтобы было удобнее.

КЛЮЧАРЕВ И АЛИМУШКИН

1

Человек заметил вдруг, что чем более везет в жизни ему, тем менее везет некоему другому человеку, — заметил он это случайно и даже неожиданно. Человеку это не понравилось. Он не был такой уж отчужденный, чтобы праздновать праздник, когда за стеной надсадно плачут; а получалось именно так или почти так. И ничего переиначить и переменить он не мог, потому что не все можно переменить и переиначить. И тогда он стал привыкать.

Однажды он не выдержал и пришел к тому, к другому человеку и сказал:

— Мне везет, а тебе не везет... Это меня угнетает. И мешает мне жить.

Тот, которому не везло, не понял. И не поверил.

— Ерунда, — ответил он. — Это вещи, не связанные между собой. Мне и впрямь не везет, но ты тут ни при чем.

— И все-таки меня это мучит.

— Ерунда... Не думай об этом. Живи спокойно.

Он ушел. И продолжал жить. И отчасти продолжал мучиться, потому что тому, другому человеку делалось все хуже. А ему везло. Ему всегда светило солнце, улыбались женщины, попадались покладистые начальники, и в семье тоже была тишь и гладь. И тогда он затеял мысленный разговор с богом.

— Это несправедливо, — сказал он. — Получается,

что счастье одному человеку выпадает за счет несчастья другого.

А бог спросил:

— Почему же несправедливо?

— Потому что жестоко.

Бог подумал-подумал, потом вздохнул:

— Счастья мало.

— Мало?

— Ну да... Попробуй-ка одним одеялом укрыть восемь человек. Много ли достанется каждому? — И бог улетел. Бог исчез и не дал ответа или же дал такой ответ, который ничего не значит. Он как бы отшутился.

И тогда человек перестал думать об этом — в конце концов, сколько можно думать об одном и том же. В конце концов, это утомляет. Вот, собственно, и вся история. Но тут важны подробности... Ключарев был научный сотрудник, кажется математик — да, именно математик. Семья у него была обычная. И квартира обычная. И жизнь тоже в общем была вполне обычная — чередование светлых и темных полос приводило к некой срединности и сумме, которую и называют словами «обычная жизнь».

Из этой «обычности» Ключарева выделяло, пожалуй, то, что он был несколько манерно шутлив. Однажды по дороге с работы домой он нашел на тропе, в снегу, кошелек с десятью, что ли, рублями. Он тут же сказал самому себе:

— Поздравляю. Ради этого стоило жить.

Улыбаясь, Ключарев здесь же написал обычное объявление — так, мол, и так, кошелек найден, потерявший — приди. И дописал внизу свой адрес. Бумажку эту он нанизал на гвоздик доски объявлений ближайшего дома. Была зима — чтобы написать и нанизать бумажку на гвоздик, ему пришлось поставить портфель в снег. Нанизанный листочек трепался на ветру, но держался крепко. А в том, что ни сегодня, ни завтра по объявлению никто не пришел, удивительного не было — ку-

да удивительнее было то, что на следующий день начальник отдела, брюзга, зажимщик и явный недоброжелатель, предложил вдруг Ключареву поместить статью в крупный научный журнал. При этом в соавторы начальник не напрашивался. Именно поэтому Ключарев, вернувшись домой, уже с порога сказал жене:

— У меня началась полоса везения.

А жена Ключарева была женщина тихая и скромная, и потому везенья, какого бы то ни было, она стеснялась и даже пугалась. Она, например, очень переживала, когда никто не явился за кошельком.

Вечером, чуть позже, жена сказала Ключареву, что у нее есть новость. Она о ней забыла, но теперь вспомнила.

— А-а, — засмеялся Ключарев, — звонила твоя подруга?

— Да.

— Правда, я смышленый? — Это был шутливый выпад. Выпад был нацелен в некую женщину, с которой жена когда-то работала и дружила и которая до сих пор по инерции считалась подругой жены. Уже давным-давно они работали в разных местах, и уже давным-давно жена ее не видела. Однако время от времени женщины перезванивались по телефону. Они говорили о детях. Или о покупках. Они перезванивались все реже и реже. Под влиянием времени этот остаток женской дружбы скоро должен был совсем сойти на нёт и умереть, но до поры он жил, скрученный в телефонном шнуре.

Жена замолчала — ей было досадно, что дружба с подругой сходит на нет и что над их телефонным общением уже подсмеивается муж. Чтобы смягчить, Ключарев переспросил:

— Что же за новость?

И тогда жена сказала, что у Алимушкина на работе неприятности. И вообще Алимушкин погибает, так говорят...

— Алимушкин? — Ключарев никак не мог вспомнить, кто это такой. Он только пожал плечами. Он, в общем, уже привык, что его хлопотливая жена готова заботиться о ком угодно. Но потом вспомнил этого человека. Он видел его дважды. — Алимушкин — это тот, который был такой остроумный и блистательный?

— Тот самый, — сказала жена.

И тут же она добавила: может быть, Ключарев как-нибудь сходит к нему домой, навестит, вот она записала специально его адрес. Голос жены был вполне серьезен. И даже трогателен. Ключарев машинально взял бумажку с адресом и не сдержался, фыркнул. Женщины — прелесть. Только они могли додуматься до такого. Прийти к малознакомому типу и сказать: «Привет, родной, говорят, ты погибаешь?..»

— Но с какой стати я пойду его навещать? Я видел его два раза в жизни.

— А я видела только однажды.

Что и говорить, это был веский довод.

— Согласись, — продолжала атаку жена, — лучше и удобнее, если его навестит мужчина.

— Лучше или хуже, а я не пойду. Некогда.

Ссоры не случилось. Ключаревы были спокойной и дружной парой. Жена даже признала, что хватила, пожалуй, лишнего, посылая Ключарева бог знает куда и зачем. И они заговорили о сыне-девятикласснике: сын делал большие успехи в спорте, а точнее, в спортивной гимнастике.

2

Ключарев забыл бы о странной просьбе жены, но этим же вечером случился еще один телефонный разговор. На этот раз сам Ключарев звонил своему приятелю по имени Павел. Как это часто бывает, фраза из одного разговора переходит и кочует в другой. Жизнь фразы коротка, и похоже, что фраза тоже хочет пожить по-

дольше. И вышло так, что вместо приветствия Ключарев шутливо спросил своего приятеля:

— Ну как жизнь — не погибаешь?

Павел ответил — нет, не погибаю, с чего ты взял.

Ключарев засмеялся, пришлось пояснить, что это шутка, это просто так, модное слово. У них есть, к примеру, некий Алимушкин, который погибает.

— Алимушкин? — переспросил Павел. — А я с ним вместе работаю.

— Да ну? (Тесен мир.)

— В смежных комнатах трудимся. — И Павел добавил, что Алимушкин мужик неплохой, но в каком-то загоне. Что-то с ним стряслось. Совершенно не может работать.

— Почему?

— А шут его знает. Он молчун. Я, честно говоря, молчунов обхожу стороной.

Тут они вполне сошлись, Ключарев тоже не любил молчунов.

— Уж лучше пьяницы, — сказал Ключарев. И тут же вновь вспомнил про Алимушкина: — Но, послушай, какой же он молчун, он же был блистательный малый! Он же был так остроумен!..

Павел ответил на это вздохом. А потом ответил глубокой и вечной истиной:

— Был, да сплыл.

В этот же вечер, уже перед сном, Ключарев вышел побродить возле дома — он называл это «проветриться». Он ходил по утоптанным снежным тропинкам, а в голове вертелось: «Был, да сплыл». Возникла вдруг странная мысль: а что, если ему стало везти за счет этого Алимушкина? Он вспомнил о предложении начальника написать статью. Вспомнил о кошельке. И усмехнулся. Мысль, разумеется, была глуповатая. Мысль была секундная и в общем игрушечная. Стоял мороз. Над головой были звезды. Он шел, глядя вверх, и думал, что звезд полным-полно, и небо огромно, и звезды эти видели

и перевидели столько человечьих удач и неудач, что давным-давно отупели и застыли в своем равнодушии. Им, звездам, наплевать. И не станут они вмешиваться и посылать кому-то удачу, а кому-то неудачу.

Однако и на следующий день выбросить из головы эту мысль Ключареву не удалось, и вот почему. Он был в гостях у Коли Крымова. Уже в прихожей, снимая пальто, он слышал, как там и сям вспархивали такие вот фразы: «Как? Вы не слышали о новой любви Коли Крымова?» — или так: «Сейчас придет новая любовь Коли Крымова», — или даже так, с оттенком балаганного и шутливого окрика: «Поставьте рюмки. Не трожьте бутылку и потерпите. С минуты на минуту должна явиться новая любовь Коли Крымова» — такие вот носились в воздухе шуточки. Мужчины и женщины были лет тридцати пяти, все они считали, что самый лучший способ общаться и веселиться — это подтрунивать над хозяином. Коля Крымов не возражал, ему даже льстило. И вот она пришла. Фамилия ее была Алимушкина. Она была очень красивая женщина.

Ключарев среди общего шума и гама застолья спросил у Коли — не собирается ли тот жениться. Они были друзьями. Коля Крымов (а Алимушкину в это время наперебой угощали, и какой-то поэт надписывал ей свою книгу стихов) ничего таить не хотел и потому ответил: да, собираюсь. Коля слегка покраснел. Коля Крымов любил четкие формулировки. Он сказал, что лишний раз завести романчик — это похоже на разврат. А лишний раз жениться — это похоже на поиск... Как раз выяснилось, что один из гостей перебрал спиртного, и Коля Крымов отправился проводить его и пристроить в такси. Так случился короткий разговор Ключарева с Алимушкиной.

Они сидели близко, и меж ними был пустой стул Коли Крымова. Ключарев заговорил с ней от нечего де-

лать. Никаких таких мыслей или мыслишек у него не было. Он спросил:

— Ну что ваш Алимушкин?

— Да ну его, — ответила красавица, — твердит одно и то же: погибаю, погибаю...

— Ноет?

— Ныть не ноет, но молчит часами.

Алимушкина была как-то дерзко красива. В ней было нечто вызывающее, таких красивых женщин Ключарев не знал никогда — он видел их, правда, иногда на улице, и они всегда были с кем-то, кто их сопровождал. А иногда сопровождающих было двое.

Получилась пауза, и Алимушкина заговорила снова. Ей это ничего не стоило. Язычок у нее был хоть куда, и глядела она смело.

— Сказать вам правду — я разлюбила его. Живу у подруги. Живу сама по себе. Хожу по гостям и развлекаюсь.

Ключарев увидел близко ее глаза. Он спросил:

— А может быть, сначала вы стали жить у подруги и развлекаться, а уже потом он стал погибать?

— Ну что вы! — сказала она. — Как раз наоборот.

И было видно, что она говорит правду. Больше они не разговаривали, и теперь Алимушкина говорила с соседом слева. А Ключарев опять вспомнил ту свою мысль. Он думал так: если бы мне и впрямь везло за счет Алимушкина, его жена сегодня бы положила на меня глаз. Случай удобный. Но она положила глаз на Колю Крымова. К сожалению.

Он ушел с вечеринки несколько подвыпившим и несколько потерянным. Настроение было ни то ни се. Он думал о том, что скажет теперь жене — он ведь не предупредил ее, что задержится. Он вытащил бумажку с адресом Алимушкина — это было близко — и... поехал к нему, чтобы иметь хоть какое-то оправдание. Алимуш-

кин спал. Было начало ночи. Приезд, разумеется, был странен, и Ключарев не знал, о чем говорить.

— Спишь?.. А люди говорят — погибаешь, — сказал он как бы даже с укором.

Алимушкин молчал, он стоял совершенно заспанный. Он зевнул. Ключарев почувствовал некоторую неловкость и перешел на «вы».

— Вы меня, надеюсь, помните... Мы ведь знакомы. В библиотеке виделись. И однажды в компании сидели.

Алимушкин кивнул:

— Я вспомнил.

Он был совсем сонный. Спохватившись, он добавил:

— Может, чайку?

— Нет. Я на миг. — Ключарев ответил улыбаясь. Он улыбался как можно дружелюбнее. — Какой там чай. Я и без чая полон по самые уши.

После этого Ключарев ушел.

Когда дома жена стала упрекать, что от него слишком уж несет спиртным, Ключарев рассердился.

— Ну, знаешь! Разве не ты сама меня посылала — разузнай да разузнай. Дался мне этот Алимушкин!.. Из-за него я два часа торчал у Коли Крымова (Ключарев более или менее гибко расположил факты), а потом еще пришлось ехать к Алимушкину — малый оказался жив и здоров. В пол-лица румянец. И спит как сурок.

Ключарев шел по коридору, он отключился от работы на минуту, или на две, или даже на десять минут; он считал, что от этого свежеют мозги, и потому шел легким и звонким шагом. Он проходил мимо дверей большого и хорошо обставленного кабинета — и как раз у дверей стояли сам и зам. Директор НИИ держал шляпу в руках. Зам был чем-то обозлен и что-то доказывал. А директор посмеивался.

Зам случайно скользнул взглядом по проходящему мимо. И сказал:

— Вот вам Ключарев — и способный, и трудолюбивый, и кандидат наук. А вы все еще держите его в научных сотрудниках.

— Может, это вы его держите, — парировал директор. Он посмеивался.

— Я?

— Конечно, вы, — посмеивался директор.

Ключарев встал в шаге от них. Он не навязывался. Он, в общем, шел своим путем. Однако уйти или пройти мимо, когда о тебе говорят вслух и на тебя смотрят, было как-то неудобно.

— Не надо спорить, — сказал он им сдержанно и негромко. — Это я сам себя держу.

Те заулыбались. Им понравилось, что он не навязывается. Директор сказал:

— Я спешу. Ей-богу, я очень спешу, — и пошел к выходу.

Зам догонял его и говорил:

— Ключарева давно пора сделать начальником отдела.

— Ну и сделайте, — отвечал директор.

Часом позже — и это никак не было связано с разговором директора и его зама, это было совсем с другой стороны — Ключарев узнал, что его статья принята журналом и вскоре будет опубликована. А дома вечером жена вновь сказала: «Звонила подруга. Есть новость», — и новость эта состояла в том, что беднягу Алимушкина бросила жена. Она совсем ушла от него. Разменяла квартиру. Воспользовавшись тем, что Алимушкин погибает («Он совершенно безволен! Он все время как заспанный!»), красавица выменяла себе милую однокомнатную квартирку, а полуспящего Алимушкина загнала в какую-то сырую комнатушку. Там он и живет. Там он и погибает, сказала жена; и Ключарев не мог не отметить, что его удачи и неудачи Алимушкина попрежнему идут бок о бок.

На следующий вечер по телефону пришла еще но-

вость: беда не ходит одна — Алимушкина выгнали с работы. Он что-то там напутал или что-то сделал не так и в придачу выбросил важные бумаги в корзинку для мусора. Они вполне могли отдать его под суд, но пожалели. Они его просто выгнали. Дело было, по-видимому, не в важных бумагах и не в корзинке для мусора — вялость и бездеятельность Алимушкина осточертели уже всем и каждому, а капля переполнила чашу.

— Чем же он живет? — спросил Ключарев. Он не имел в виду духовный мир Алимушкина. Он имел в виду — на какие деньги.

— Не знаю, — ответила жена. И именно потому, что не знала, она попросила Ключарева зайти к Алимушкину и еще раз проведать. Зайди, сказала, ну что тебе стоит. И напомнила — когда-то давно они вместе видели Алимушкина в какой-то компании, и Алимушкин был самый живой среди всех, он был такой остроумный и блестящий.

Ключарев спросил у жены:

— А если бы он не был остроумный и блестящий, ты бы его сейчас — когда он в беде — не жалела?

— Не знаю.

Ключарев тут же отметил это неуверенное «не знаю» и не без удовольствия сказал:

— А ведь это плохо, моя радость. Ты жалеешь избранных.

Однако женским чутьем она и тут нашла выход. Она ответила:

— Не знаю... Если бы он не был остроумным и блестящим, он был бы каким-то еще. Например, тихим и сентиментальным — такого человека тоже жалко.

И уже утром зам предложил ему стать начальником отдела. Зам предложил это просто и без всяких условий, а Ключарев отказался — он ответил, что не хочет спихивать начальника, с которым плохо ли, хорошо ли, од-

нако много лет работал вместе. Это было правдой. Однако еще большей правдой было то, что Ключарев не хотел сейчас суетиться — он и без того чувствовал, что он в полосе везения и что блага от него не уйдут. У него было ясное, хотя и необъяснимое ощущение, что кто-то свыше крепко и уверенно натянул вожжи и правит вместо него, Ключарева, и, уж разумеется, этот, который свыше, промаху не даст, он свое дело знает.

— Странно, — переспросил зам, — значит, не хотите быть начальником отдела? Боитесь ответственности?

— Да, без хлопот легче. Я и так много работаю.

— Мы это знаем.

— Я много работаю, а большего пока не хочу. — Ключарев позволил себе отвечать резко. Он словно пробовал и проверял на прочность свою удачу. В конце концов, он завтра может сказать: а вот теперь хочу. Дозрел. Согласен.

Он пришел к Алимушкину. Первое, что он спросил, — как это, друг милый, ты попал в такую конуру? Зачем соглашался разменивать квартиру?.. Алимушкин не ответил. Выглядел Алимушкин плохо. Он был вял и бездеятелен и явно нездоров. Он промямлил, вглядываясь в лицо Ключарева:

— Я... вас не помню.

Потом отвернулся и стал смотреть куда-то в сторону. В точку.

— Помнишь не помнишь, какая разница. Как ты согласился жить в такой конуре?

Алимушкин не ответил. Мозг его работал с некоторым запозданием. Он только-только сообразил и припомнил лицо гостя.

— Вы... Ключарев?

— Да.

Ключарев тем временем огляделся. Он, в общем, знал,

что вялый Алимушкин разменялся не лучшим образом, но он и думать не думал, что живого человека могут запихнуть в такую дыру. Комнатушка была мала, ободрана, вся в потеках и без мебели. Поржавевшая кровать да стол. Да один стул. В соседней комнате, как выяснилось, жил одинокий старик, у старика была такая же жуткая комната. Старик был болен, необщителен и глух как пень.

— Он и на кухне со мной не здоровается, — вялым голосом сообщил Алимушкин. — Молчит.

— Ты тоже не слишком говорлив.

— Да...

Пауза получилась долгая и тягостная.

— Так и живешь?

Он кивнул — да...

— Куда-нибудь ходишь?

— Никуда.

— Но, прости, на какие деньги ты ешь и пьешь?

— Остались какие-то рубли. Я их доедаю.

— А дальше?

Пауза получилась еще более долгая. Наконец Алимушкин вместо ответа тихо сказал:

— Я, — и он посмотрел на Ключарева (не станет ли тот смеяться), — я шахматами занимаюсь...

Ключарев не засмеялся, он сказал:

— Это хорошо.

— Вот. — Алимушкин показал глазами на маленькие шахматы. Доска была потертая. Фигурки были расставлены. — Я когда-то играл. В детстве...

— А с кем играешь?

— Ни с кем. Я так. Сам с собой. Анализирую.

Ключарев предложил сыграть, говорить было не о чем. Алимушкин играл очень слабо. Ключарев сыграл с ним несколько партий и ушел. Настроение было паршивое: Ключареву было бы легче, если б Алимушкин играл хотя бы средне.

3

Случилась там и такая минута — это была минута особенная. В одну из тягостных пауз Ключарев подумал: как же это так вышло, что жизнь человеческая пошла под откос ни с того ни с сего?.. Ключарев был неглуп и понимал, что случившееся с одним может случиться и с другим. Люди именно так и рождаются. Люди именно так и умирают... Он спросил Алимушкина:

— Скажи, как с тобой все это стряслось?

Алимушкин молчал, он не совсем понимал, о чем речь. Но потом постарался понять (на лице его было заметно усилие) и ответил Ключареву — нет; ничего особенного не случилось и не произошло, почувствовал, что погибаю, вот и все.

— Это началось, когда ушла жена?

— Нет... Раньше.

— А-а, — как бы оживился Ключарев, — это началось у тебя с неприятностей на работе?

— Нет...

— С чего же началось?

— Не помню.

Ключарев проявил нетерпение. Несколько раздраженно он заговорил:

— Но не может же все рушиться ни с того ни с сего. Вспомни. Напряги память. Это и мне важно. Это и всякому важно — с чего началось?

Алимушкин потер лоб. Поморщился:

— Нет... не помню.

Пора было уходить, потому что пауза теперь шла за паузой. Ключарев поискал там и сям взглядом — чайник был. Но в баночке рядом было так мало заварки, что о чае он не заикнулся. Вот тут он и предложил Алимушкину сыграть в шахматы. Ключарев легко выиграл раз, другой и третий. И поднялся, чтоб уйти.

— Пока...

Алимушкин тупо смотрел перед собой. Потом вяло

потянулся за ручкой — он хотел записать последнюю партию и поискать свои ошибки.

— Говорят, это полезно, — промямлил он.

Он именно так и промямлил: «Говорят, это полезно», — и эти слова, подчеркивая его общую, куда бо́льшую бесполезность и пустоту, повисли в ушах у Ключарева. Слова были неотвязны. И потому, когда Ключарев пришел домой, он решил не говорить жене правды. Это удалось без труда, потому что жена была занята сыном и дочкой — она вправляла детям мозги за какие-то прегрешения. Ключарев сказал как бы между прочим:

— Был у Алимушкина. Ты знаешь — он совсем не так плох. Разговорчив. И совершенно спокоен.

— Да?

— Он решил всерьез заняться шахматами. Чуть ли не посвятить себя им.

— Слава богу, я за него рада.

— Скоро мы услышим о гроссмейстере Алимушкине.

Когда тебя слушают непридирчиво, говорить легко. И Ключарев сказал еще, на всякий случай не без торжественности в голосе:

— Уважаю людей, которые начинают жить сначала.

Везенье продолжалось, и теперь оно напоминало вора наоборот. Антивора. Ты прикрываешь левый карман, а оно сует тебе в правый: «Бери, дорогой, не жалко; бери, этот час твой». На работе все охотно заговаривали и охотно улыбались Ключареву. О нем говорили — перспективный человек. И зам улыбался. Зам сказал: так, мол, и так, повысим мы вам, Ключарев, оклад на восемьдесят рублей.

— Спасибо.

— Я сам за вас ходатайствовал. Директор поддержал. Для начала повышаем оклад на восемьдесят рублей.

— Спасибо.

— Мы ценим хороших сотрудников. Тем более скромных.

И зам добавил (доверительно — не всякому так скажет):

— Некоторые люди расталкивают других локтями. Интригуют. Лезут по головам, чтобы сесть в мягкое кресло. Я не люблю таких.

Получасом позже позвонила Алимушкина, она каким-то образом узнала служебный телефон и сразу попала на Ключарева. Позже она сказала, что списала телефон потихоньку у Коли Крымова. Ей почему-то казалось, что это нужно сделать потихоньку.

Она поздоровалась и пригласила Ключарева в гости. Она не очень церемонилась, потому что она была красивая женщина и знала это. Она не слишком подбирала фразы, не смущалась:

— В тот вечер, — и она сделала паузу, это была характерная пауза современной женщины, — вы мне приглянулись.

— Да ну?

— Честное слово. Приходите, пожалуйста, ко мне в гости. Сегодня.

Он пришел и вовсе не обалдел от ее голоса и от ее глаз: он не любил красивых женщин, он их никогда не знал. Так ему было легче и удобнее жить. Он сидел в кресле и рассматривал ее квартиру — квартирка была миленькая. Мебель тоже была чудо. Ключарев спросил:

— Разве вы не выходите замуж за Колю Крымова?

Этот вопрос значил: «Вы меня позвали, это ваша прихоть или же маленькая тайна за спиной Коли Крымова, и вообще, что это за такая игра, которую мы начали?» Но Алимушкина ответила просто:

— Нет. Замуж я не выхожу.

— Почему?

— Он мне не нравится. Он никакой. Он никчемный.

— Сделайте его таким, каким надо.

— Не хочу тратить силы. Зачем?

Ключарев не начал милый и шутливый разговор, который привел бы куда надо и куда прийти ему, в общем, хотелось. Вместо всей этой ясности Ключарев повел себя неясно. Он повел себя незапрограммированно. Он вдруг рассердился на Алимушкину — сказал ей довольно грубо, что Коля Крымов очень даже «кчемный» человек. И что брошенный Алимушкин тоже «кчемный» человек. И что ей надо выходить замуж, а не дурить самой же себе голову. Он говорил и сам понимал, что говорит глупости и чепуху. Как-никак она была женщина, и у нее было право выбора.

В портфеле, который он не открыл, лежали две бутылки вина. Он принес их специально. И знал, зачем принес. Но на него нашло и накатило, и вот он говорит теперь глупости. Он талдычил ей одно и то же — выходите замуж. И она была абсолютно права, когда сказала (он уже уходил и стоял в дверях):

— Какой вы скучный — помереть с вами можно.

От слишком большого везенья жена Ключарева тоже была несколько не в себе. Она испугалась. В ней это выражалось в затаенном ожидании каких-то бед или неприятностей, которые вот-вот могут нагрянуть. Она (не называя словом истинной причины) решила вызвать свою мать — стало быть, тещу Ключарева — пусть, дескать, погостит. Пусть поживет у нас. Вдруг кто-то заболеет. Или еще что-то случится, проговорилась она.

— Но почему должно что-то случиться? — засмеялся Ключарев.

Ключарев смеялся, он опять был прежним, веселым и шутливым. Ему было смешно и забавно, когда он вспоминал, как он вел себя и что говорил у красивой женщины, пригласившей его домой. «Эх ты!» — подсмеивался он. Он вспоминал ее щеки и губы, и по позвоночнику полз сладкий холод.

Жена позвонила ему на работу (со своей работы):

— Ты слушаешь — только что звонила моя подруга. Опять об Алимушкине.

— Погибает?

— Перестань дурачиться.

— Что-то очень долго погибает — мне уже иногда кажется, что он бессмертный.

— Перестань... — И жена заговорила в трубку шепотом. Она смутно чего-то побаивалась и потому шептала мужу: — Милый, будь осторожнее. — И еще шептала: — Милый, не говори о людях небрежно, милый, если бы ты хоть чуточку больше думал о людях, — я знаю, ты добр и искренен, но если бы ты еще думал о людях. — Так она шептала. Кончилось это просьбой — еще раз навестить беднягу Алимушкина, такая вот вновь возникла у нее мысль.

А у Ключарева возникла совсем другая мысль — как бы это заткнуть рот подруге жены: чего она без конца треплется, чего она лезет?..

— Привет, — поздоровался Ключарев. После работы он (так уж и быть) пришел к Алимушкину, но на приветствие никто не ответил. Ключарев вошел в комнату — и лицо у него вытянулось. Лицо у него приняло выражение, соответствующее беде, потому что Алимушкин лежал в постели. И потому что рядом с ним белым пятном стоял человек. Врач.

— Не разговаривайте с ним, — сказал врач. — Он не может разговаривать. У него инсульт.

Врач пояснил — инсульт, или «удар», не из самых сильных, но все же это инсульт. Он сказал, что нужен покой. Нужна тишина. Нужен уход.

— Нет-нет, — прикрикнул врач, — вы, Алимушкин, молчите! Вы уж не разговаривайте. Все равно не получится.

Ключарев спросил:

— Отнялась речь?

— Временно.

— И передвигаться не может?

— По стеночке до уборной он доберется, но никак не дальше.

Ключарев подошел к Алимушкину ближе, он шел и осторожно ставил ноги, потому что по полу сновали тараканы. В комнате было мрачно. Алимушкин улыбнулся — улыбка у него была половинчатая, на одну сторону, мышцы лица на другой стороне бездействовали... Ключарев подморгнул: привет, эк тебя угораздило. Алимушкин протянул ему руку. Ключарев пожал.

Врач был, вероятно, из «Скорой помощи». Он рылся в бумагах на столе. Потом сказал:

— Помогите-ка мне. Вы ведь его приятель?

— Да.

— Здесь, в этих бумагах, должен быть адрес его матери.

— Матери? — удивился Ключарев.

— Должен же за ним кто-то ухаживать.

— А больница — почему не в больницу?

— Больница ничем особым ему не поможет. Да и транспортировать его в таком состоянии неполезно.

Ключарев кивнул: понятно. Как и все люди, Ключарев полагал, что с врачами не спорят. Он переспросил:

— Значит, вы вызовете сюда его мать?

— Не я. Вы. — И врач, словно он тоже считал, что Ключарев виновен перед беднягой своими удачами, сурово посмотрел на него. Так Ключареву казалось. Хотя это был обычный взгляд загнанного и задерганного за сутки врача. — Вы вызовете. А мне надо идти. Я дважды уже присылал сюда сиделку. Сейчас она дежурит у более тяжелого.

Ключарев кивнул. Он нашел адрес и отослал многословную телеграмму в Рязанскую область. Почта, на счастье, оказалась в двух шагах, и никакой такой очереди у окошка не было. Ключарев отметил с горькой усмешкой — везет, мол, этому Алимушкину.

Когда Ключарев вернулся с почты, врача не было. Алимушкин извинился за возникшие хлопоты, извинился

жестом руки: прости, дескать, пришлось тебе похлопотать. Жестом же он предложил: давай, мол, в шахматы, если не торопишься. Алимушкин сам дотянулся до них рукой, шахматы стояли у изголовья. Ключарев почти не глядел на доску. Он передвигал фигуры и глядел на пол, где бегали лакированные тараканы.

Сразу же после Алимушкина Ключарев зашел к подруге жены — он ее отыскал. Адрес был записан на листочке: Малая Пироговская, 9, кв. 27. Этот адрес Ключарев нашел в записной книжке жены. А записную книжку он потихоньку выудил у жены в сумочке... Теперь он пришел и назвал себя: здравствуйте, я Ключарев. Вы ведь дружны с моей женой много лет — верно? — а с вами мы, как ни странно, незнакомы.

Такой у Ключарева был тон, почти дружеский. На самом же деле он был сильно раздражен, и это вот-вот должно было всплыть на поверхность. Пока еще было начало разговора.

— Очень приятно, — сказала подруга жены. Она была полная, даже пышная и медлительная женщина. Ключарев подумал, что ей только и сидеть у телефона сутками напролет. С такими формами и с таким задом. Это он уже начал раздражаться.

— Извините меня, но я буду с вами резок. Мне надоела ваша телефонная суета...

— Что? — Она не понимала. Она была медлительна.

Ключарев, стараясь сдерживать себя, пояснил:

— Прекратите звонить моей жене насчет этого несчастного Алимушкина. Перестаньте ее нервировать и дергать. Имейте совесть. Имейте снисхождение к обычной и в меру счастливой семье, которую незачем перегружать всеми бедами и всеми горестями, какие только есть вокруг.

— Но я не думала, что эти звонки...

— А думать нелишне. Это так просто понять — вы же не даете ей жить спокойно.

Подруга жены молчала, она растерялась. Ключарев еще раз извинился за резкость. Потом спросил:

— Вы к нему заходите, к Алимушкину?

— Очень редко.

— Вот и продолжайте его иногда навещать. А нас оставьте в покое — ясно?

Подруга жены была заметно обижена. Медлительная и толстая женщина, она обожала говорить по телефону, а теперь у нее отнимали такой повод для звонков. К Алимушкину она была вполне равнодушна, но ведь должны же люди, и тем более подруги, о чем-то говорить, и должны же они общаться.

Ключарев объяснил ей еще раз:

— Поймите, из-за ваших звонков жизнь моей жене не в жизнь и радость не в радость. Человек хочет жить и радоваться жизни, а вы мешаете. У нас и без Алимушкина полным-полно друзей и родственников, которые тоже болеют...

Он все сказал. И теперь ждал ответа. Наконец та, поджав губы, выговорила:

— Больше я не буду звонить.

— Э, нет. Так дело не делается.

— А как же?

— Вы позвоните ей еще раз и успокойте. Сочините ей что-нибудь приятное. Скажите, что Алимушкин выздоровел, что он бодр и весел. Что все хорошо. И что Алимушкин уезжает... ну хоть на Мадагаскар в длительную командировку.

— На Мадагаскар?

— Ну например. Чтобы закрыть, так сказать, тему. Чтобы моя жена больше о нем у вас не спрашивала — вы меня поняли?

— Да.

— Я уйду, а вы ей позвоните — вы меня действительно поняли?

— Да.

— Всего вам хорошего.

Он ушел. На улице сыпал снег. Снег сыпал теперь и утром и вечером.

Когда Ключарев пришел к нему на другой день после работы, Алимушкин уже лежал пластом — без движения и без языка. Увидев Ключарева, Алимушкин начал хватать ртом воздух — он хотел сказать что-то приветственное, а улыбнуться не мог. Теперь и полуулыбка у него не получалась. «Удар у него опять был. Врач сказал, сильный», — лепетала суетившаяся возле Алимушкина тихая рязанская старушка. Это была его мать, прибывшая по телеграмме. Ключарев утешал ее. И еще он дал ей некоторую сумму денег на всякие там расходы. Старушка закивала головой, как болванчик, и заплакала: «Спаси тебя бог, милый». Ключарев ушел, а она осталась сидеть возле сына. На голове у нее был белый платок в горошек. Старушка сидела как застывшая. Она не понимала, что же это за беда и что же это за горе такое, если ее сын, такой сильный и такой веселый и «уже выучившийся на инженера», лежит теперь пластом и не может сказать ни слова.

Ключарев вовсе не хотел избавить себя от того, чтобы думать и помнить об Алимушкине. Он хотел избавить от этого жену. Она была слишком уж нервной и слишком чуткой. Ключарев решил, что болезнь затяжная, и решил, что будет время от времени Алимушкина навещать, а жене не скажет.

Он не сказал, и его не спросили, потому что в доме были шум, и гам, и суета, и сторонние разговоры: приехала теща. Она прибыла довольно торжественно. Был подарок жене Ключарева. Был подарок сыну Ключарева. Был, разумеется, подарок и дочери Ключарева. По-

дарки были не очень дорогие, но выбранные с любовью.

А на другой день лукавить с женой нужды уже не было. Потому что она сама сказала:

— Прости, что я тебе надоедала и посылала к нему...
— К кому? — поинтересовался Ключарев.
— К Алимушкину...

И жена радостно сообщила, что звонила подруга и что наконец-то новости хорошие — у Алимушкина все наладилось. Алимушкин опять бодр. Алимушкин опять остроумен... Жена стала рассказывать подробности. Эти подробности были любопытны и даже в некотором роде изысканны, потому что подруга — любительница телефона — постаралась на совесть. Она вложила душу, и старание, и даже талант в последний всплеск темы, которую приходилось закрыть. И теперь жена Ключарева эти подробности пересказывала. Она была радостна. Она улыбалась. Она говорила и говорила. А Ключарев слушал. Он слушал вполне заинтересованно. И даже переспросил:

— Куда, ты сказала, он отбывает в командировку?
— На Мадагаскар...

И теперь Ключаревы заговорили о другом, тем более что тема была и волнующая, и куда более близкая. Сын-девятиклассник на соревнованиях взял первое место почти на всех снарядах. На перекладине он получил девять и семь — удивительный результат для юноши. Им заинтересовались известные тренеры. Молодого Дениса Ключарева собирались послать на общесоюзные соревнования.

— Молодец, сын! — так сказал Ключарев.

Жена, конечно же, восторгов не проявила, более того, в глазах ее мелькнул знакомый Ключареву испуг — как бы чего не случилось. Перекладина — снаряд опасный. Но сын тут же вмешался в разговор и успокоил ее: не робей, мама, зачем мне, мамочка, срываться с перекла-

дины, у меня же за это два балла снимут. И засмеялся. Он держался гордо. И в то же время весело. О нем так и хотелось сказать — Ключарев, сын Ключарева.

4

В пятницу Ключарев дал согласие заму. Он дал согласие в общих словах, но, по существу, это уже значило «да». И вот зам водил Ключарева из комнаты в комнату: ну, как вам будущие сотрудники? Нравятся?

— Нравятся, — отвечал Ключарев. В институте формировался новый отдел: он получался из слияния двух лабораторий и еще каких-то разрозненных научных сотрудников. Отдел формировался заново, и Ключареву, чтобы сесть в начальники, не надо будет кого-то спихивать или через кого-то перешагивать.

Сейчас он думал именно об этом. А зам говорил о том, какой это будет замечательный отдел. Мощный. Современный. И, надо полагать, дружный — вы слышите, Ключарев?

Ключарев сказал:

— Как же не слышать, вы это в третий раз говорите.

— Я и в сотый скажу, — зам засмеялся. — Я вас соблазняю.

— Я уже соблазнен.

— А я вас соблазняю и дальше, чтобы не передумали.

— Справлюсь ли?

— Ну-ну. Перестаньте!

Продолжая фразу, зам на ходу пожал руку одному из сотрудников и добродушно подмигнул: работайте, дескать, работайте, я вас отвлекать не буду. Он кивнул еще двум сотрудникам. И еще одному пожал руку. Они с Ключаревым шли вдоль рабочих столов и негромко разговаривали:

— Подберите себе хорошего секретаря. Видите вон тех трех девушек?

— Да.

— Обратите внимание на ту, рыженькую.

— Та, что с постным лицом?

— Да. Умненькая. И старательная. Все дела и все бумаги у вас будут в полном порядке.

— Спасибо.

Они разговаривали негромко. Потом они вышли в коридор.

— А теперь в шестую лабораторию, — сказал зам.

По пути в шестую лабораторию Ключарев на минуту остановился и закурил. Он хотел «что-то» сказать и считал, что лучше это сказать сразу. Лучше раньше, чем позже.

— Маленькая справка, — так он начал. — Когда человека кто-то двигает вверх, то потом этот кто-то садится своему выдвиженцу на шею. Со мной это не пройдет.

Зам засмеялся:

— Вот и прекрасно. Будь самостоятелен.

— Я не шучу.

— И я не шучу.

Зам потрепал Ключарева по плечу:

— Не робей заранее. К тебе на шею никто не метит. Во всяком случае, не я.

Зам был веселый и шутливый человек. Ключарев тоже был веселый и шутливый человек. Такие люди всегда договорятся. Просто Ключарев считал, что в эту минуту ему надо быть начеку.

Когда Ключарев вернулся домой, здесь уже все всё знали — и в прихожей и в комнатах почти физически ощущалось настроение небольшого семейного праздника. Звонил уже Коля Крымов и поздравлял. Звонил Павел, тоже поздравлял. Выяснилось, что и Коля, и Павел, и другие знакомые сегодня нагрянут в гости. Теща сияла. Ей нравилось, что Ключаревы пошли в гору.

— Накормлю вас сегодня пищей богов! — объявила теща. И действительно, она смоталась в «Дары природы» и привезла оленью ногу: это выглядело очень внушительно. Зажаренная, истекающая соком, багрянокрасная нога на белом огромном блюде должна была произвести неотразимое впечатление. В духовке ногу жарили минут сорок. Перед этим ее целиком обмазали сливочным маслом, чтобы выступающая от жара оленья кровь образовала румяную и бередящую душу корочку. Нога была готова. Ключарев сходил за вином. Он вернулся, и как раз позвонила Алимушкина.

Теща была недовольна. Ключарев пошел к телефону, а она считала, что он должен натереть пол и, уж во всяком случае, должен открывать бутылки — это же первейшее мужское дело.

Алимушкина сказала:

— Хочу вас поблагодарить. — И она объяснила, за что именно она благодарит Ключарева: за то, что он дал ей совет не разбрасываться и выходить замуж. Она действительно как бы прозрела и уже нашла симпатичного мужчину, он доктор наук и не очень стар. Он очень добр. И очень ее любит... Она говорила с еле уловимой иронией, и Ключарев понимал, куда дует ветер. Это было нетрудно понять.

Он сказал:

— Рад за вас.

В это время теща сказала:

— Что это он без конца треплется по телефону!

А жена объяснила:

— У него дела, мама.

— Знаю я эти дела.

— Мама!

Ключарев продолжал:

— Рад за вас. — И он засмеялся. — Стало быть, я больше не нужен?

— Ну почему же. — В голосе красавицы появились дергающиеся нотки. — Вы меня щелкнули по носу и

правильно сделали. Я это оценила. Я даже поумнела. Но ведь в будущем... мне могут понадобиться и другие советы.

— Мои?

Теща сказала:

— Он думает, я не догадываюсь, о чем у них идет речь.

— Мама, не будь мнительной.

— А ты не защищай его. Чего он треплется — лучше бы полы натер.

— Мама!

Алимушкина сказала:

— Я бы очень хотела иметь умного друга. И тут нет ничего особенного — просто умный и верный друг, да?

— Да. — Ключарев улыбнулся. — Да-да, умный и верный друг. Как в кино.

— Это он себя называет умным?

— Мама!

— Я не собираюсь в ближайшие дни зазывать вас в гости, но все-таки вы будете иногда ко мне приходить, необязательно вечером, хотя бы в будние дни, хотя бы раз в месяц, а?.. А иногда (нечасто) я буду вам звонить. И спрашивать умного совета — можно?

— Звоните, — сказал Ключарев.

— Пусть звонит. Пусть. Однажды ее милый голосок напорется на меня — и тогда она свое получит.

— Мама! Как тебе не совестно?! Почему ты обязательно думаешь, что ему звонит женщина?

— А почему я должна думать, что звонит мужчина?

Гости съехались. Они пришли — кто поодиночке, кто парами — с вином в портфелях и со всякими добрыми словами в душе. Жена Ключарева вела их к столу и усаживала, она всем улыбалась. Она уже не боялась

нахлынувшего счастья, и ей уже не казалось, что боги разгневаются и что-то случится. Она уже привыкла.

Именно эту перемену Ключарев уловил на ее лице. И потому (а все вокруг шумно поздравляли его с удачей), когда дали сказать ему, он стал над женой подтрунивать.

— Удача — вещь хорошая, — сказал он, подняв высоко рюмку, — но, как ни странно, быстрее всех привыкает к удаче тот, кто ее боится.

Он повел глазами в сторону жены. Все засмеялись.

— И молодец, что привыкает! — выкрикнул кто-то.

— Не спорю. Молодец... Но она уже привыкла, и теперь ей опять будет маловато. И теперь она опять будет хотеть новых удач — так устроен человек...

— Не буду, — сказала жена со смехом. — Не буду хотеть. Я их боюсь.

Все засмеялись. И закричали:

— Будешь! Будешь! Будешь хотеть новых удач!

И стали чокаться, когда Ключарев предложил тост, а тост звучал так: «За то, чтобы удачи были у всех!» Потом пили и ели, а в конце вечера жена Ключарева стала показывать фотографии, на которых был изображен Денис, делающий сложные упражнения. Фотографии пошли по рукам, это были действительно впечатляющие фотографии. Одна из них на века запечатлела Дениса на перекладине в момент наивысшего взлета. Сын застыл на вытянутых руках, нацелив вертикально в небо тонкие ноги гимнаста. Упражнение называлось «солнце». Жена Ключарева показывала фотографии впервые. Раньше ей казалось, что, показывая такие фотографии, искушаешь судьбу.

Гости разъехались — гости были довольны хозяевами, а хозяева гостями. Теща и жена убирали посуду. Теща малость перепила и что-то напевала.

Ключарев с женой лежали в постели и потихоньку на сон грядущий говорили о всяких неважных вещах. Сначала зевнул он, потом зевнула она. Дети спали. Была ночь.

— Значит, уезжает? — спросил Ключарев про тещу. И опять зевнул.

— Уже купила билет.

— Самолетом?

— Почему тебе всегда хочется, чтобы мама летела самолетом?

— М-м... Комфорт. Скорость.

Они помолчали. Потом Ключарев сказал — завтра он пойдет в библиотеку, возьмет заказанные книги и завтра же, пожалуй, заглянет к Алимушкину. Интересно, как он там поживает.

— Зайду к нему завтра. Проведаю.

Жена сказала:

— К Алимушкину можешь больше не ходить. Звонила подруга — он улетел на Мадагаскар.

— Уже улетел?

— Да.

— Когда?

— Она сказала, в десять часов утра. Она сказала, передай мужу, что Алимушкин уже улетел. И что его провожала мать.

Ключарев промолчал. Потом он вдруг захотел покурить и пошел на кухню, а жена уже спала.

ГОЛУБОЕ И КРАСНОЕ

1

Мать и отец, именно что слившиеся, ничем особенным и рознящим в детстве ему не запомнились; очерчиваясь, они лишь много позже разделились как люди, приобретя в его глазах и судьбу, и свои лица. Но позже было всякое, в детстве же он чуть ли не путал их, хотя, конечно, не путал. Атмосфера безындивидуальности родителей, обыденной неразличимости их была характерна, привычна, и, кажется, родители только и делали, что работали: возможно, т а м у них и была своя жизнь. Он же был с младшими братьями, потом он был на улице, потом он был в школе — где и с кем угодно, но только он не был с ними, приходящими с работы поздно, наскоро ужинающими и уходящими утром так рано, что он их не видел. К тому же отец и мать не только не спорили на рознящие их темы, на кровные, скажем, они вообще мало спорили, оттого-то бабки, бабушки и были ему удивительны, а в память запали — разностью.

Как тихий стук швейной машинки в угловой дальней комнате и как крыльцо барака с железными скобами, о которые при входе очищают ботинки, мать и отец не замечались, как не замечались и прочие. Из всех взрослых в бараке выделялась разве что Нина Федоровна, которая, когда удавалось, хватала за ухо и, выкручивая, вела к окну, чтобы в полутемном бараке лучше видеть и лучше оценить мальчишечий испуг. Там

только, у окна, она давала волю рукам. Оправдываться было бесполезно, да и попросту не нужно: царило еще и *неразличение* среди всеобщей бытовой безындивидуальности, и временами (задним числом) казалось, что одинаковость лиц и речей входила в маленького Ключарева с неким умыслом. Жесткость поступков, стычки в бараке и сшибки, а затем бурные же примирения — вся эта честная однообразность лиц и дел заполняла пространство именно как воздух, не было и намека на затаенные или на скрытные отношения, которые чуть позже так особенно пленяли его в бабушках. (В бараке, казалось, было важным одно-единое отношение: мужчина — женщина.) «Кто-оо-оо?!» — леденящий крик застиг его в комнате, и он, склонившийся над украденным коробком спичек, застыл, — значения не имело, что не он влез рукой в банку (!) с сахаром, так как сейчас послышатся бухающие шаги Нины Федоровны, костлявой и худой работницы, высосанной заводом и четырьмя собственными детьми, и от шагов ее не уйти, а ожидание шагов было хуже самой расправы. «Кто-ооо?!» — висел, натягиваясь на гневе, крик в бараке, и в отсутствие родителей застигнутые мальчишки за перегородками одинаково замирали. После расправы ему становилось куда легче, и чувство облегчения, кстати, тоже было у всех одинаковым. Но отчего же не так в деревне?

Если в деревне был простор, то возле бараков тоже ведь были пустыри, и притом пустыри с огромным размахом и без единого дерева, а на пустырях взлетали птицы, крупные, подчеркивающие в перспективе даль, а за пустырями были в заметном уже отдалении горы, наползающие одна на одну, но не давящие. Да и в самой избе ненамного просторней, чем в бараке: сени загромождены кадками и примитивным верстаком, оставшимся еще от прадеда, не говоря уж о догнивающих хомутах и старом тряпье, с которым в избах не расстаются. Люди! — вот оно. Его осенило не взрослого, а в детстве и сразу, и если растолковать он пока не мог,

то слово найденное уже знал, люди, их-то именно и было много, на квадратный метр много, — тут-то и таился почувствованный им феномен одинаковости, который понял он уже, конечно, не в детстве: люди, живущие в бараке, и не могли быть разными или слишком отличающимися при такой густоте на квадратный метр, они бы не выжили, как не выживают деревья и целые подлески. Чтобы выстояли и выжили, деревья надо, даже и необходимо, прореживать, а людей необязательно — почему? — а потому, что с людьми само собой происходит нечто, в силу чего они уплотняются незаметным, невидным образом, и прореживать их не надо: живут. «Кто-ооо?» — кричала Нина Федоровна, и в самом вопросе был, как водится, ответ — кто-то; неважно кто; уже в детстве каждый мог сделать и каждый мог не сделать. Одинаковость — это и было прореживание в людях, это и было платой за тесноту, и, поскольку люди жили и жить могли, можно было наперед быть уверенным, что каждым из живущих плата наверняка внесена, где больше и где меньше — уже личное, уже не суть.

Он не раз слышал, а помнил и посейчас, как человека, откуда-то приехавшего (из деревни ли, из другого ли города: из другого сорта тесноты), спрашивали: «Ну как там?» — и улыбались.

Он может поклясться, что люди, жившие в бараке, улыбались, то есть они настолько уж тут жили, что не с тоской по разреженности спрашивали, не с завистью или там с колебаниями, нет, — спрашивали они с уверенностью, что там, где бараков нет и где не живут в такой тесноте, — там не жизнь. Там, вне бараков, непременно должны были водиться одинокие выродженцы, которые отстали, не знают половины общепринятых слов и ради общения, возможно, мычат. Он мог бы поклясться, что их всех, живших в бараке (и его тоже — маленького), уже тогда тянуло к еще большему сгущению, к сгустку города, к часу «пик» в метро, к толчее у гастронома, а также к толпе перед футбольным матчем на кубок, —

они уж тогда провидели логическое будущее и без именно такого будущего сами себя не видели, не узнавали, и нужно же было прожить Ключареву целую жизнь, чтобы наконец узнать слово: большой город. Уже с детства незнаемое это слово было чувственно ясно. В том и штука, что весь барак и сам он, малец, вместе с родителями и соседями мог быть втиснут в избу, и там тоже со временем они уместились бы и жили, и там тоже (после того как произошла бы плата за тесноту, цыганская утряска) снисходительно спрашивали бы: «И как это в другом-то месте люди живут?» — с улыбкой спрашивали бы, это точно, а вот двух бабок Ключарева невозможно было бы поместить даже и в пустой огромный их барак — им, двоим, было бы тесно. (Парадокс индивидуальной тесноты или безындивидуальной уплотненности еще долго его занимал, пока он не понял, что суть не дается сравнением.)

Когда в то лето, в одно из послевоенных, маленького Витю-Андрея отвезли к бабушке Матрене в обычную уральскую деревню, чтобы подкормиться, стоял июнь. Время тут можно назвать точно, время школьных каникул: был синий и ласковый, еще не выцветший уральский июнь, отвезли же Витю туда почему-то одного, без братьев, что дало ему странную незанятость и неожиданную возможность одиночества.

Позднее, а впрочем, и тогда тоже, он называл это время — *летом, когда он жил у матери матери,* потому что бабка Матрена была именно мать матери, а только потом к ним приехала бабка Наталья.

Он приехал один, приглядываемый каким-то бородатым дядькой, а бабка Матрена встретила его на станции, усадила в телегу, и они ехали и ехали, — в телеге же он заснул, ничего не помнил, а сонного его пере-

местили на лавку, и вот он проснулся в избе, на лавке, укрытый, теплый, и бабка Матрена ахала над ним: «Ах ты мой родной, ах ты мой ненаглядный Витенька!..» Но и под ахи, за столом ее сдобнушка сначала ему не показалась: ржаная, жесткая, печенная в печи лепешка. Молока тоже он не пил давно, — часом позже он рванулся к пище и ел без разбора, яростно и алчно, вплоть до поноса, но в тот первый час по прибытии попросить молока он постеснялся: был вымуштрован недоеданием.

Узнать, большая ли эта деревня (в двадцать дворов) или же, маленькая, он не умел, однако, и не узнавая, чувствовал, что деревня мала: было мало детей, не было той скученности пацанов и девчонок, какая обычна для среды городской и даже поселковской. Дворы были отнесены далеко, и соответственно были далеко дети — лишь вдали мелькали их ситцевые рубашонки. И вот в долгом и, казалось, никак не кончающемся одиночестве он мог ходить теперь все расширяющимися кругами, рассматривая и узнавая выпавшую ему географию: тесноты не было — была свобода. Был спуск к речке по огородной тропе. Была полынь в рост человека — стояла серо-белыми островами. Была картошка, и были грядки.

В какое-то, еще более давнее лето он уже был здесь с младшим братом, и они меж собой говорили, а если не говорили, то подразумевали, что все это — и бурьян, и острова полыни, и муравьиная куча, — все это «наше», предполагалось: «твое и мое», но теперь по логике это было только «мое», и мальчик, понимая, все же боялся помыслить ясным этим словом — так много было всего, так широк горизонт, так высоки столбы пыли, и так крут и прекрасен спуск к речушке.

Пораженному огромностью, обширностью владений, ему приснился в первую же ночь сон — типичный сон первоклассника, в недрах которого он потерял свою пишущую ручку; он ходил по поселку и на всякий случай спрашивал у мальчишек, кто ручку украл, но тут на улице, вынырнувший, появился его детский враг, он же враг

и его брата — Дуло, с куском хлеба. Кому-то Дуло давал откусить, кому-то отказывал — наконец протянул ему, маленький Ключарев откусил, но тут же и отпрянул, пораженный запахом: там, в хлебе, был замешен кусок человечьего пальца с ногтем. Мальчик рыдал и бился: «Это... *мой* ноготь! Это *мой* палец!..» — а бабка Матрена его успокаивала; расспросив, бабка сказала, что сон пустой, и только тут он увидел, что он в избе, спит на высокой печке и что бабка, влезшая на стремянку, возле него и склонилась. Стоя на стремянке, она и объяснила, что сон его пустой, — она повторяла: пустой, пустой, схватила за руки и считала ему пальцы, видишь, мол, все на месте, ну ладно, сосчитай сам, ты же умеешь, а он вырывал руки и кричал, что все равно там был его палец.

Утром, едва проснувшись, он без промедления хотел есть, хотел яростно и жгуче, давился, глотал и вновь давился, а бабка Матрена причитала: «Ах ты мой родной, ах ты мой ненаглядный!..» — она прятала чугунок с дымящейся картошкой, перехватив же алчный его взгляд, вновь вынимала и, зная, что любит молоко, давала ему горячую картошку теперь уже с холодным молоком, тогда он впервые ел это блюдо, поразившее вкусом.

Но никого не было. Однажды лишь прогрохотала телега, встала, и хромой мужик напоил лошадь: не выпрягая, он поил из ведра. После бега лошадь подрагивала, опрокинула ведро, и мужик снова набрал ей, — он загляделся на плавающего мальца, и лошадь, как бы в обиде, вновь опрокинула мордой ведро, не выпив и трети. И еще раз набрал он ведро, звякнув дужкой; он не спешил, он помочился в кустах, потом покурил и, проходя мимо, кинул окурок не в речушку, а на землю, где и затоптал, а малец все плавал, стараясь не задевать ногами дно и плыть честно, поскольку был на виду.

Мужик сказал, почувствовав, что ждут его одобрения: «Ишь лягушонок!..» — и ушел, телега загрохотала и скрылась.

Деревенские мальчишки, скучившись, тихие и малым числом, все-таки окружили его: дело не шло к драке, хотя драка и могла случиться, — с их стороны был простенький род любопытства и отчасти выяснение, кто есть кто. Они были полуголые, в старых латаных штанишках, подвязанных веревками, а то и просто сильно спадающих и державшихся непонятно на чем, — он же был в чистенькой рубашке и в ладных новых брючках; он уже сбычился, готовый к драке или к иному выяснению личности, однако бабка Матрена была тут как тут. Она увела его, одной рукой дернув на себя и не отпуская, а другой походя, но точно раздавая подзатыльники мальчишкам из окружившей его медлительной деревенской стайки. Они не убегали: это поразило его. Они стояли, лишь чуть отворачиваясь от удара, и рука старухи доставала их без труда. Они как бы ждали: медлительно и с готовностью они ждали результата своего знакомства — некоего нового знания, и вот в виде подзатыльников, которые как-то переводились на их пацаний язык, они это знание получили.

Бабка Матрена, его руки из своей шершавой не выпустившая, повела домой, — по пути, увидев кого-то из матерей этих пацанов, бабка Матрена разинула беззубую пасть и стала вдруг громко, крикливо браниться, чего он никак за бабкой Матреной не подозревал: подзатыльники мальчишкам она раздавала почти молча. Кричала бабка Матрена про какую-то корову, потом про забор, потом про церковь в Ново-Покровке, она кричала долго, набирая тон и нерв, — и уже тех, на кого она кричала, стало трое, а подошла и четвертая женщина с полумешком картошки за плечами, — бабка же все кричала, лишь постепенно переходя на больную тему: на них, посмевших окружить маленького Ключарева:

— ...И пусть не трогают и обходят его стороной —

иначе я им не такую беду сотворю! Пусть кошкам хвосты крутят, уберите от Витеньки своих сопливых! Он им не чета!..

И — вновь про корову и про упавший забор; а когда вернулись в избу, когда маленький Ключарев уже напрочь остыл и с ленцой даже спросил: «Чего, бабка, так ругалась?» — она ответила: не твоего ума дело. Снисходя, все же пояснила: не обращай, мол, внимания, ненаглядный, деревенские бабы, мол, любому случаю рады, чтобы поговорить, — скучна у нас жизнь, работа да снова работа, а работа от слова «раб», — знал ты, ненаглядный, про это?

Но ему не понравилось, даже и царапнуло, что он «не чета» кому-то: не боялся он окруживших его мальчишек, более того, он уже по лицам их вялым видел и знал, что мальчишки городские, каким был он сам, куда злее и жестче, он был именно зол и жёсток в мальчишьих драках с остервенелым визгом и с хватаньем железки ли, кирпича ли, всего, что на земле и что подвернется под руку, а если не подвернется, то и кусался отменно; умело владел он также и *срывом*, то есть побегом, мгновенным, с истошным криком, исчезновением с глаз долой, если окружили и если драка не на равных; он уже умел и успевал почувствовать, умел и успевал не цепенеть, ожидая развязки, а сделать первый удар самому, пусть не точный, но первый, после чего не раздумывая полагаться на быстрые ноги и свое счастье. Не все про них зная, однако же чуя, что он опытнее этих деревенских, его окруживших, он не успел ощутить опасности, ни даже боевого задора, лишь сбычился на случай и по привычке — а его уже увели. И теперь с отвращением он видел себя чистеньким мальчиком в брючках: защищенному взрослой рукой, ему было стыдно.

— Бабка Матрена, — спросил он, шмыгая и вытирая сопли, — это почему же я им не чета?

— А потому, — сказала она.

Он подумал и спросил вновь:

— Почему?
— Потому что ты — *мой*.

Одиночество замкнулось, и мальчишки деревенские к нему больше не подходили — один раз, правда, кинули издали земляным, рассыпавшимся на лету камнем, но и все. Некоторое еще время его потерзал стыд — стыд чистенького мальчика, которым он не был, а эту рубашечку и брючки мать специально купила для поездки в деревню — для вида. В одиночестве обнаружилась, или, лучше сказать, нашлась своя красота, но не сразу.

Куча муравьев, высокая муравьиная куча шла взамен груды консервных банок, что у них за бараком, — там была целая пирамида таких банок, ржавых или свежих, всегда выеденных дотла. Для него гора банок была прежде и раньше, чем гора муравьев, но детское сознание, различая, уже понимало, что гора муравьев в некоем первородном смысле была и есть раньше и первей горы консервных банок, и вот эту-то обратность ему предстояло теперь неторопливо восстановить.

2

Он слышал — остановилась телега и, к окну выскочив, увидел бабку Наталью и рядом с ней еще бабулю с какой-то нелепой прической на голове: обе они снимали с телеги чемоданчики, коробочки, совали рубли подвезшему их и, суетясь, отряхиваясь от соломы, что-то спешно и взволнованно говорили. Он уже вылез на крыльцо, щурясь от яркого солнца, и вот бабка Наталья (она сказала той, другой бабуле: «Подожди, Мари»), как крылья раскрывшая руки, с цветасто-голубыми рукавами платья, кинулась на него: «Ты мой золотой, ты мой серебряный!» — она быстро вдруг присела, опустилась разом на корточки и, сделавшись одного с ним роста, чмокнула в левую щеку, потом в правую, а по-

том — в губы. Он любил, когда бабка Наталья его целовала, от нее пахло сладко и сухо. Она поднялась и теперь стояла, прямая, худая, тогда он не знал слова «стройная», а в руке держала его руку. «Ну вот — ты его видишь, Мари!» — торжественно объявила она той нелепой бабуле, он же, маленький, стоял, чувствуя себя смущенным, оттого что бабуля Мари так пристально его разглядывала.

В той суете он, конечно, ничего не увидел.

Именно с косынок и началось различение, если не различие. В деревне не было не только церкви, но и сельпо, уж очень была мала, — и то и другое находилось в Ново-Покровке, в пяти-шести километрах. Оттуда и возвращалась утром следующего дня бабка Матрена, накупившая ему и гостьям-бабулям конфет: леденцов и карамели. Он увидел бабку Матрену посреди дороги, когда она, придерживая кульки у груди, разговаривала с деревенскими, а деревенские подсмеивались над ней — чего это, мол, ты вырядилась?.. Приглядевшись, он увидел: и точно, бабка Матрена была в яркой алой косынке, купленной, видно, заодно с конфетами.

В ту минуту он шел без причины.

— ...Купила себе косыночку — а что ж? а чем не косынка?

— Да что это ты, Матрена, на старости лет — красную? Смех только!

Бабы смеялись. И бабка Матрена с ними смеялась.

— А у меня ж гостья, — говорила она, — ва-а-ажная такая, пава из себя. А цвет этот она, думается мне, не шибко уважает!

Все вновь рассмеялись.

— А ничего, Матрена, что ты как молоденькая будешь?

— Ничо — цвет как цвет, косынка как косынка. Ее раздражать станет, а мне и смешно посмотреть!

— Она ить тоже старуха?
— Ясно.
И еще спросили Матрену:
— А вторая-то кто?
— А та при ней. Тоже вроде родственница. Я с той и вовсе разговаривать не стану. Куклёха!..
Тут он подошел ближе, и бабка Матрена, смутившаяся, запричитала: «Ах, внучек мой, ах, родной, ах, ненаглядный!» — и ворчливо затараторила, повернувшись в сторону собеседниц: «По домам, по домам пора — болтаете невесть что! Косынку нельзя купить, чтобы срамно не болтали». И опять ему: «Не слушай их, внучек, — дуры они, я их сто лет знаю, как были дуры, так и сейчас остались!..» — и за руку скоренько повела его по дороге к избе, к дому, где сидели две другие старухи и одна из них в голубой косынке.

Тогда он впервые заметил меж родными его бабками — меж матерью матери и матерью отца — что-то вроде неприязни; это была не неприязнь, это была своеобразная, уже давняя ненависть, но, даже и услышав про это, он, конечно, не понял бы и не принял тогда столь жесткого слова. В жаре, в зное он бы и вовсе пропустил слова о косынке или о косынках, но тут было еще и совпадение: одежда впервые и именно тогда в детском его мозгу становилась понятием. После стычки с деревенскими мальчишками, когда он увидел себя со стороны мальчиком в чистой рубашке и в ладных брючках и мучился этим, возникло еще нечто мученью его в плюс и в дополнение: бабка Наталья привезла ему в подарок костюмчик, вовсе уж ладный и замечательный. Таких он и на взрослых никогда не видел, и с самой первой минуты костюмчик этот, ладный, и замечательный, и неоспоримо красивый, стал ему отвратителен.

Бабка Наталья и ее чудаковатая Мари, обе расположившиеся в дальней комнате избы, вынесли ему этот костюмчик, а они именно как подарок вынесли, вывели, как нечто живое, под руки, после чего, разумеется, веле-

ли ему примерить: «Ах, как хорош! Ах, хорош!» — заахали они, и даже бабка Матрена, пришедшая и помывшая руки после огорода, сказала: «Н-да...» — и аж потемнела, так костюмчик был хорош; тогда-то она, ревнивая, и побежала за конфетами, — нет, они вынесли ему в подарок еще и сандалеты, и вот тут бабка Матрена побежала за кульками в Ново-Покровку.

Но он наотрез, одеждой уже травмированный, сказал, что костюмчик ему не нравится, сказал он спокойно, с холодком разбивая сердце старухам, — дура Мари даже всплакнула, бабка же Наталья, более мудрая, огорчилась, но не сдалась: это пройдет, это, мол, известная детская причуда, а неприятие, мол, лишь поначалу, пока костюмчик новенький. Он стал снимать. Бабка Наталья сказала, как повелела: «Андрей, костюм носи!.. И ладно, если испачкается! Для того и куплен — пачкай, милый, однако носи!» — но тут вмешалась и возразила из своего угла бабка Матрена, задетая, в сущности, лишь тем, что ее внука назвали Андреем: «Костюмчик хороший — однако пачкать-то не обязательно, пусть носит по праздникам: *чай, не богач...»*

— Пусть носит и по праздникам, и помимо, — сказала бабка Наталья своим непререкаемым голосом. — А богачей, не знаю, слышали ли вы об этом, давно нет.

Неприязнь бабок, взаимная, была для него явлением новым и необычным. Он не знал примера, а возникавшие в бараке ссоры, частые, шумные, в счет не шли: он понимал ссоры как необходимое дополнение к мирной жизни или даже как некое уравновешиванье мира, но не как неприязнь. Мать и отец, не гордецы и вполне люди своего времени, никогда не говорили о разности своей, да они и не были разными — разговоры их были общи, а ссоры понятны. И лишь однажды, и притом направленно роясь в памяти, Витя-Андрей отыскал один-единственный разговор, как бы разделяющий отца и мать, но и тот

разговор лишь подчеркивал, что былой раздел не болит. Было так. Их желчная соседка в бараке ябедничала матери или же просто жаловалась на кого-то, на чью-то семью: вот, мол, он и она никак не живут в мире из-за разности привычек, а также — подчеркнуто было — из-за разности былого благосостояния их бабушек и дедов. В таком стиле, многословном и, может быть, провоцирующем, шел разговор, однако мать откликнулась просто, равнодушно и с той степенью небрежности, что заподозрить ее в осторожности или в лукавстве было невозможно. Мать сказала: «А у нас на этот счет просто. Мои вовсе из бедных, из крестьян, да и его родители в общем нищие...»

И теперь неприязнь удивляла, неприязнь не имела понятной ему основы.

— Бабка, — спросил он, — почему ты их не любишь?

— Не знаю. Так уж случилось, милый.

Бабка Матрена доила корову, а он стоял подле. И пока молоко дзинькало, тоненько билось в ведро, бабка Матрена, привычно оттягивая корове соски, завела вдруг рассказ — ты, мол, не думай, милый, что она и вообще они такие уж добренькие, за костюмчик ей, конечно, спасибо, у нас таких нет, но ты не думай, что они такие всегда — такие они стали теперь, да и то здесь, в деревне. Они — *наездом добренькие*. Единственный раз, а все же была она, бабка Матрена, в Москве — и когда с покупками и намаявшаяся, перекрестившись, решила она «заглянуть к родне», встретила ее в барской квартире вальяжная бабка Наталья, была там и эта полукукла Мари — и ведь тогда они ее, бабку Матрену, не приняли...

Корова стала переступать с ноги на ногу (запахло прелью и навозом), и бабка Матрена прикрикнула как на лошадь:

— Н-нну!..

После чего продолжила рассказ о том, как ей, бабке

Матрене, сидя в креслах посреди огромной квартиры, бабка Наталья сказала — ты, мол, милая, пойди да продай, что привезла, нам всего этого добра не надо. Нет-нет, никаких гостинцев. Привезла же им бабка Матрена сала да еще косынку, красивую, уж она не помнит цвета, да мешочек овсянки, да еще чего-то. Так и сказала ей бабка Наталья: «Продай поди...» Она побыла в их квартире около получаса, а потом ей пояснили: ночевать, мол, у нас тесновато — ступай в гостиницу, и не дать ли денег тебе, если у тебя денег на гостиницу нет?.. Ну, ясное ж дело, отправилась бабка Матрена, но только не в гостиницу, а на вокзал, она и не знала, что это за такая гостиница, города она боялась, пошла на вокзал, — там-то на нее, спящую, уронили ночью большой чемодан, расшибли руку, рука зажила, а вот ноготь изувечился: памятка... Она сказала, *коготь изувечили, смотри:* и (оторвавшись от вымени) протянула маленькому Ключареву свою руку (в каплях молока) — показала на большом пальце правой руки ноготь, раздвоенный как копыто, видный и в сумерках.

Тут же и как бы опомнившись, бабка Матрена вздохнула:

— Не жалуюсь я... Они меня так или не так, а все же пустили в дом, напоили чаем — а я, нагрянь они ко мне в те дни, может, и вовсе бы их шуганула: грех вспомнить! ох, мог быть грех! — И бабка трижды перекрестилась, шевеля губами и выпрашивая неслышное прощение за что-то, что могло быть.

Бабка продолжала доить, а он пошел к плетню, уяснивший, что неприязнь не только существует, но и — давняя. По-детски ему захотелось мира, мира вообще и мира меж бабками, а кино в то время уже стало одним из самых распространенных способов мечтания (мечтали движущейся перед глазами кинолентой — мечтали и как бы еще и еще прокручивали желанный фильм, то останавливали, то гнали вперед-назад, как пьяный киномеханик; это было настолько удобно, что не просто, а даже

и трудно было предположить, как же мечтали девочки и мальчики докиношной эры), и вот он вышагивал вдоль плетня, потом вниз по тропинке, а в голове крутился фильм примирения, где бабка Матрена вовсе не собиралась шугануть бабку Наталью, она, правда, стояла у ворот с огромной метлой — ворота тоже были огромные, с кольцами, и бабка Матрена ходила там дозором час и два. Иногда в жару она пила квас, бидон с квасом стоял тут же, иногда подремывала, но, едва показывались на дороге люди или телега с людьми, бабка Матрена вставала и, держа метлу на отлете, суровая, вглядывалась. Она отирала пот красной косынкой, а вот и появлялись, приближаясь к воротам, бабка Наталья и ее Мари. Они начинали рыться в своих чемоданчиках, ища некие пропуска, — пропусков не было (они их забыли), но бабка Матрена из доброты пропускала их внутрь, и вела в избу, и сажала за стол.

Менее удавалась ему часть вторая, где бабка Матрена приезжала в град Москву, который ему представлялся городом, состоявшим сплошь из домов с зубчиками на манер кремлевской стены; с узелком, усталая, бабка Матрена приходила к н и м в дом — дом ему виделся прекрасный — после чего в залу с зеркалами выплывали сама бабка Наталья и Мари, шурша платьями: они вовсе не отсылали бабку Матрену в гостиницу, а, напротив, располагали ее на какой-то необыкновенно красивой кровати со спинками. Удивительным в этой части второй (с точки зрения предвидения будущего) было лишь появление возницы Петра, здешнего деревенского возницы (эпизодическая актерская роль), — он отвозил после длительного гостеванья бабку Матрену в ее деревню прямо из Москвы. Растянутая, как балет, шла картина счастливых ее проводов — сначала тоже в зале, затем на лестнице мраморной, с поцелуями крест-накрест и поклонами, и наконец бабка Матрена, сойдя вниз, садилась на телегу, — а он, маленький Ключарев, оставшийся с бабкой Натальей и Мари, смотрел ей вслед и плакал, про-

щаясь, — прощание затягивая, он подсаживался на телегу и долго ехал с бабкой бок о бок. Довольная собой и счастливым гостеваньем у родственников, бабка Матрена обнимала его и, поцеловав напоследок, говорила: «Стой, Петр, хватит!» — и возница останавливал лошадей, чтобы мальчик спрыгнул с телеги. Вдаль вела пыльная дорога, по которой бабка Матрена теперь уезжала, делаясь все мельче и мельче, вместе с лошадьми и с телегой, и облако пыли уже совсем скрывало ее алую косыночку. (Предвосхищение тающей в клубах пыли косынки удивляло его даже и во взрослом состоянии, когда он вспоминал реальную тающую вдали косынку, но не бабки Матрены, а бабки Натальи. Это уж было наяву, но было позже.)

Не постигая вполне, он, однако, чувствовал неодолимую тягу к этому их примирению и все играл и играл, подчас до подступающих к глазам слез, фильм о матери отца и о матери матери. Они без конца гостили. И среди прибытий их и отъездов, встреч у ворот и провожаний, в которых маленький мальчик тоже непременно участвовал как свидетель, если не как соучастник, — среди сладостно знакомого действа, он вдруг оглядывался, и выяснялось, что никакого кино нет и что он шляется в полном одиночестве по тропе, а то и стоит посреди огорода бабки Матрены и рвет сладкие незрелые стручки гороха.

3

Маленький Ключарев скучал по машинам — в деревне их не было, а все же одна грузовая, каким-то чудом возникшая, пролетев и проскочив махонькую деревню, оставила свой невеселый след: задавила кошку, которых было здесь неисчислимое множество. Кошка валялась на обочине, и деревенские ее попросту не замечали, не заметил и он, но заметили гостьи — Мари и бабка Наталья: обе вдруг шумно о ней, раздавленной, заговори-

ли, и тогда мальчик тоже вспомнил, что действительно валяется возле дороги кошка, — сам видел.

— ...Не понимаю, — клекотала Мари, — русская деревня, насколько уверял Толстой, очень чистоплотна по природе своей, и тогда откуда же это безразличие? Это же недопустимо гигиенически. Это же черт знает что!

— Моя дорогая Мари, граф Толстой не очень-то... — И дальше бабка Наталья заговорила на французском.

— ... — ответила Мари.

— ...

Мари вынырнула вновь на взволнованном русском:

— И все же клянусь, Натали, я сама готова пойти и ее закопать. Это же зараза!

— Так и сделаем, Мари, кстати, и пример будет...

Они вели разговор в следующей позиции: старушка Мари читала книгу, вглядываясь близорукими глазами, а бабка Наталья вязала, бабка Матрена, в разговор их не вступая и сидя поодаль, штопала какую-то свою штопку. На время прервавшись, она притащила дров, подтопила печку — и вновь штопала.

И сказала, вставляя свое словцо в общие:

— Конечно ж, надо зарыть. Дождутся, что мальчишки в чей-то колодец ее бросят! Вот и болезни пойдут — в Ново-Покровке уж было такое!

Мари всплеснула руками:

— Чудовищно! И ведь действительно будем воду пить — не зная! — Она обратилась к бабке Матрене уже впрямую: — Уважаемая Матрена Дормидонтовна, скажите, на который день колодец прованивается, если бросят кошку, я думаю, лишь на третий, да?

— Шут его знает, — ответила та.

— О господи! — заохала Мари. — Натали, я, ей-богу, пошла бы сейчас, взяла эту кошку и снесла бы в лесок или в поле, но даже и сто метров расстояния мне кажутся невыносимыми при одной мысли, что, пока ее несешь в руках, вокруг тебя облако микробов...

Бабка Наталья поправила ее:

— Чтобы как следует отнести от деревни, нужно не сто — тут нужен километр целый.

— Ну что ты, Натали, необходимо метров триста, не больше.

— А я говорю: километр!.. Заразу и ветер разносит!

— Триста метров!

— Триста метров — это ничтожно мало, Мари.

— Натали, ты такая спорщица!

Спор о расстоянии, на которое необходимо оттащить кошку, казалось, был бесконечен:

— Триста ли метров, пятьсот ли, но ты, Натали, только представь: в одной руке ты несешь кошку, в другой лопата, — идешь, а вокруг тебя, наукой это уже доказано, облако микробов, ты идешь именно как в облаке — и все время дышишь! Для нашего возраста, Натали, подвергать себя такой опасности — преступно!

— И не подумаю, — неожиданно сказала бабка Наталья. — Тьфу! Я, моя дорогая, на нее даже и не взгляну!

— Но ты же ее видела!

— Не видела я ее — это ты замечаешь всякую гадость! Еще в молодости, вспомни-ка, что говорили про тебя наши...

— Натали! Я тебя прошу. — Мари, а вслед за ней и бабка Наталья перешли на лихорадочный французский, споря и обвиняя друг друга.

Маленький Ключарев, подремать не сумевший, тем временем спустился с печки — он вяло зевал, потягивался.

И вот бабка Матрена, подымаясь, сказала ему:

— Идем-ка к крестной сходим: у нее коза есть. Вот и образованные говорили: козье-то молоко как лекарство!

Бабка Матрена уже вовсю работала на неприязнь. Они вдвоем шли по улице, белой и пыльной, к избе, где жила крестная, когда маленький Ключарев вдруг обнару-

жил, что бабка Матрена пристукивает лопатой, — он глянул, она шла и, как палкой, пристукивала лопатой, чтобы не нести ее в руках. Охотно, хотя и не спеша, она пояснила мальчику, что «эти вот образованные и чистенькие» только говорят, а дело не делают, к тому же дела и не знают, занятые глупыми и ненужными вычислениями метров.

Кошка валялась раздавленная, та самая, и тут же, на обочине, бабка Матрена выкопала яму — немалую яму, в метр глубиной. Выкопав, поддела кошку лопатой и швырнула ее в яму, просто и умело. И закопала.

— А ты отойди, милок, — сказала она в самом начале дела, вероятно, все же считаясь с образованными и с их «облаком микробов».

Когда с кошкой было покончено, он удивился, что они повернули и пошли назад, к избе, — он спросил, а как же, мол, коза крестной и козье молоко?

— Какая коза?.. Да Кузьма ее неделю как свел в Ново-Покровку и пропил: такой дурной!

Вдвоем они вешали липучку для мух: из привезенного с собой тюбика выдавливали клейкую янтарную массу на тоненькие полоски из газеты, а едва пропитавшиеся, цепляли их к специальной газетной ленте (типа дорожки) на потолке, — это делала бабка Наталья, влезшая на высокий табурет, а Мари придерживала ее за ноги, чтобы та не упала. Липучка была старомодная, требовавшая искусства. Трудясь, обе напевали, пока с руки бабки Натальи не сползла, нависая все больше, медлительная струйка химической желтой слюны. «Ай-яй-яй!» — Мари, обхватившая ноги бабки Натальи, закричала: стоя внизу, она уже видела надвигающуюся на нее беду, а бабка Наталья не видела и говорила: «Я не падаю — почему же ты в панике, ма шер?!» — тут и она увидела и, тоже вскрикнув, стала ловить свисающие струйки ватой, а затем голыми ладонями. Пока Мари пискляво

подсказывала ей — *где* и *как* ловить, новый ручеек липкой массы, откуда-то взявшись, скользнул на лоб, она завизжала, а бабка Наталья, клонясь, начала падать, но и тут Мари мужественно ее удержала, — зато вся прикнопленная газетная дорожка вдруг пала вниз, как птица махая липкими крыльями, после чего и Мари и бабка Наталья заверещали, зашумели, обвиняя друг друга в неудаче, и наконец, прервав труд, подскочили к мальчику, держа в пальцах ватку, смоченную духами, и попросили: «Милый, оботри нас...»

4

Так что теперь он уже знал, что они — в неприязни; это не было ни распрей, ни ссорой, он уже чувствовал отличие, и хотя он ни разу не посмел им ни сказать, ни намекнуть, однако в неприязни этой он участвовал — и чутьем, и особенно наблюдательностью, уже заострившейся. Неприязнь — это, по его пониманию, было как чужой запах. Их мелкие словесные стычки сменялись взаимным молчанием с длительным косвенным давлением и с оглядкой на внука: чью сторону примет, если поймет? — а ему не нужна была сторона, и сердце его вовсе не разрывалось даже и в напряженном их затишье, а когда возникала словесная стычка, он, как ни странно, с удовольствием чувствовал, что он не одинок и что он с ними — с обеими, а этого и хотелось. (Конечно, когда он общался с одной из них, ее любовь чувствовалась сильнее, но и чего-то недоставало.)

Бабка Наталья была высокомерна, но была она нежнее и женственнее, в то время как бабка Матрена слишком походила на работницу из котельной, каких он видел не раз в городе и в поселке. Бабка Матрена снимала чугунки с кольев плетня или же, в деревенских своих трудах, без конца закрывала-открывала двери сарая, — и он сравнивал сначала, конечно, лица: на лице бабки Натальи была и удерживалась этакая белая, хотелось

бы — голубая — пыль, которая была вовсе не пыль, а возрастной пух на щеках, легкий и белесый, — и напротив: бабка Матрена была, казалось, вся в черной закалине — и морщины и щеки были подернуты если не загаром степным, то некой чернотой, впрочем, тоже не отталкивающей.

— ...Коз хотя бы держали. Пуховые платки хотя бы делали — ведь Оренбуржье! — говорила бабка Наталья с укором.

И бабка Матрена вполне спокойно (не сразу и не сейчас, а солидно выждав и поговорив для начала о чем-то ином) ей возражала:

— ...Хозяйство как хозяйство. А что ж, скажем, от козы проку? — да никакого: ни мяса, ни пуха толком. Травы они не жрут, дай им молодые побеги, а где напасешься — они ж всю рощу обглодают, все мало. А доить? — за пять раз не выдоишь, а всего-то молока два литра...

Это говорилось в ответ, но именно не сразу, а отступив по времени, и подумав, и уже вполне заготовленно развернув слова в атаку «на непонимающих — на тех людей, что дела никакого не знали», на что в свою очередь и в свою минуту (тоже выждав) ей отвечала бабка Наталья — отвечала высокомерно и колко. Эти старухи — Наталья и Матрена — в разговоре своем то сближались, то хитро отдалялись: двое, и что ж это за изысканный танец словесный был, если даже девятилетний ребенок внимал с интересом; старуху Мари ни та ни другая не принимали всерьез и держали как бы для заполнения пустоты длинных этих вечеров при керосиновой лампе с иззубренным жерлом, с которого, казалось, осыпается крошками мелкое стекло. Иногда бабка Наталья вдруг вставала, сухонькая, прямя прямую спину, — ноги ее были на разных половицах, чуть расставлены, и ступали по половицам длинные эти ноги в чулках строго и отмеренно, однако бабка Матрена, тоже чуткая, не давала ей преимущества говорить расхаживая,

когда можно соразмерять шаги и слова, и в свой черед вставала с лавки. Она сажала чугунок в печь, чтобы подогреть, и не просто сажала, а прямо-таки медлила с ухватом и с чугунком, а потом с другим чугунком, а потом опять с первым, пересаживая его на новое, как бы лучшее место, — и слова ее шли движениям в такт. Отвечала она будто бы нехотя, будто бы меж делом и делом, морщась от печи и едва на собеседницу оглядываясь: такой вот был танец их обеих, а Мари как Мари. Мари была при бабке Наталье, как при бабке Матрене был дом и чугунки.

Зато по наивности своей Мари могла вдруг прервать их словесный танец, чем обе бывали недовольны. Мари могла ни с того ни с сего ворчливо сказать:

— Мы же гости — сами мы еды не возьмем, милая: покормите нас.

— Сейчас, — говорила бабка Матрена.

— Да потерпи же, ма шер, — возмущалась бабка Наталья.

Бабку Наталью он видел до этого дважды, в ее наезды, а теперь видел ее в третий раз и — забегая вперед, — можно сказать, в последний. Он мог бы и тут ее не увидеть: бабка Наталья нагрянула в поселок, к его отцу и к матери, и, о ужас, не застала внука, которого, оказывается, только что отвезли в деревню подкормиться в тот голодный 47-й год. Она, может быть, передала бы подарок — костюмчик и сандалеты — и уехала бы в свою Москву, однако возраст и общее ощущение судьбы очень верно подсказали ей, что внука Андрюшеньку она больше не увидит. Конкретно же ее испепеляла мысль, что его «вот-вот увезли, два дня назад!» — что и толкнуло ее вновь собираться и ехать в деревню, куда она добиралась еще два дня: зато уж увидит, зато уж сама передаст подарок. Из Москвы она захватила (прихватила) с собой Мари, и теперь она вновь ее за-

хватила — в деревню, и старенькая Мари бурно радовалась, что едет, едет и что на некоторое время окажется «в среде пейзан».

Маленький Ключарев не мог понимать и не понимал, почему у бабки Натальи тряслись руки и губы, когда она вручала ему костюмчик, не понимал, почему она была так разодета, в лучшее свое платье и в жакетик, а шляпку не надела: она в косынке приехала да и ту сняла, простоволосая, чтобы (отец после пояснил Ключареву) Андрейка лучше запомнил ее напоследок, ибо головной убор лицо *тяжелит,* и в памяти остается именно что не лицо, а шляпка или косынка.

Бабку Матрену он тоже видел в третий — и тоже в последний раз. Деды уже умерли к этому времени, два чужих человека, никогда не видевших друг друга, а вот старухи остались, так что теперь как оставшиеся, как последние старухи выражали каждая свой смысл и свою суть, выражали, а даже и вдалбливали в маленькую его голову.

И ведь были же настырны в своем. Уже могли бы и не спорить, жизнь прошла. Бабка Наталья очень скоро поедет по своим делам и по своим давним приятелям в Сибирь, где и умрет. «И зачем ей это было нужно?» — скажет с некоторым укором мать, а отец Ключарева, сын бабки Натальи, смолчит. О Мари — особый рассказ; вздорная старушонка, она потащилась за бабкой Натальей и тоже скоро там умерла, бедная, взбалмошная, жалкий обломочек прошлого, никем не понятый и никому не нужный.

И тоже год жизни (чуть более) оставался бабке Матрене: в следующую зиму она умрет. А еще через десять лет, укрупнения ради, снесут эту выморочную махонькую деревеньку, в числе других изб не станет и этой избы — исчезнут в известном смысле не только актеры, но и их, так сказать, сцена, их подмостки. Все в прошлом. И ведь старухи если не знали, то, наверное, предугадывали и прозревали скорый конец огромным своим

вещим знанием, — чего же они так воевали меж собой напоследок, что же и кому доказывали, неужели мальцу?

Хотя оттого, может быть, и доказывали, что — напоследок. Оттого и на виду были эти выхлопы неприязни, как и выхлопы страсти к внуку: бабка Наталья в первый же день отозвала его будто бы по делу и вопреки своей сдержанности и своему тону порывисто прижала к себе, даже и напугав, — она вновь, как при встрече, присела на корточки, сделавшись одного с ним роста. Память сохранила, что, приседая, бабка Наталья не сползала и не обрушивалась на землю, как старые женщины, была в ней еще и легкая сила, и стать породы, и вот, присевшая, она шептала ему, что ты, мол, золотой мой, мой серебряный, не думай, что Урал этот дымный и эта деревня — твоя родина, она твоя, но отчасти, отчасти! — родина же твоя исконная — Орловщина. «...Запомни, мой золотой. Вырастешь и вспомнишь слово бабки Натальи — Ор-лов-щи-на!» — вбивала она ему в сознание слово по слогам, еще и требовала: повтори. Он повторил. Она не отпускала: «Нет, ты повтори, запомни, заруби в памяти навсегда», — шептала страстно она, тиская и целуя, а ему уж и неловко и жарко было от ее объятий и от ее духов, которые так нравились запахом издали.

«Бог знает, что ты городишь, Натали, — подала голос подслушавшая Мари. — На Орловщине нашей все давно выродились, там нет народа. Спасибо скажи, что эти вплеснули в твоих здоровой крови!» — «Выродились — не значит умерли!» — возразила бабка Наталья. А Мари продолжала: «...Низкорослые, ма шер, лица скопцов, неумные, вялые, уже не народ...» — и тут она перешла на французский.

Бабка Наталья и ее Мари со своим необыкновенным слухом (острый слух отчасти и погубил ее позднее), обе они на другой же день уехали бы из деревни, вручив

подарки маленькому Ключареву, ну, уж на третий уехали бы точно, так как делать им здесь, в деревне, было нечего, а «ле гран-мама Матрену» терпели они с трудом и только из вежливости. Они уехали бы, но грянул уральский ливень. Для Южного Урала в полосе, граничащей со степями, не характерны две-три небольшие грозы в один день, напротив: три-четыре-пять дней подряд льет ливень, после чего стоит долгий жар и зной, вплоть до ливня следующего: природа отстрелялась — и отдых. Вот эти-то три-четыре-пять дней плюс время на поиск подводы, которая довезла бы старух с их чемоданчиками до станции по раскисшим дорогам, обернулись неделей (даже больше), что так запомнилась Ключареву.

В слабом свете керосиновой лампы бабка Наталья вязала и выговаривала Мари, чтобы та сошла с низенького сундука и пересела на лавку, — на сундуке, мол, сидеть не слишком красиво и, возможно, для кого-то обидно.

— ...Там у нашей милой Матрены, вероятно, похоронное одеяние. Это, кажется, называется теперь спецодежда, я так и не разобралась, Мари, в новейшем толковании слов, — там лежит чистое для похорон, а ты расселась!

Бабка Наталья бранила будто бы Мари, на самом же деле выпад заострялся в сторону бабки Матрены, сидевшей поодаль и тоже вязавшей; не бабка Матрена придумывала сложные современные слова, и не была она никак олицетворением новой жизни, однако и нелогичный выпад попадал в цель, притом точно, благодаря одной лишь интонации. И бабка Матрена, промолчавшая, ждала теперь свою минуту. За вязаньем старухи коротали долгий вечер, и стычки их были приятны маленькому Ключареву тем именно, что он чувствовал за этим, — не знал что, но чувствовал. Стычка развивалась, неторопливая во времени и в словах, а он как бы черпал, узнавал из нее новое для себя, дополнительное, притом что из слов и фактов конкретное чувственное зна-

ние тотчас становилось для детского ума вновь забором и заслоном: не истолковывалось. И если разговор их уходил в сторону, маленький Ключарев томился от ожидания, а даже и от желания их стычки и — как следствия — желания новых слов, новых жестов, всегда, впрочем, сдержанных, и новых тонко-обидных намеков. В томлении мальчик ждал того поворота в прихотливом течении их словоизлияний, когда вновь они начнут покалывать друг друга, попадая, а их лица — вновь вспыхивать, как и положено, если укол достигает сердца. Для него это было обыденным и скромным приглашением к познанию двух очень разных старух (как двух начал), приглашением к познанию, которому суждено было затянуться на много-много лет и которое все еще в Ключареве не кончилось, уйдя в глубину и распространившись на другие лица и другие поступки, в то время как сами старухи уже давным-давно были в земле, распавшиеся в прах.

Как ни разумен запрет и как ни некрасива была их тайна, мальчика манила разгадка, пусть неполная, но даже и не сама разгадка — манил процесс разгадывания, а возникшая тогда же в Ключареве тяга к противопоставлению сторон, тяга к пониманию природы противопоставления, а также этот духовный особенный кач, то туда, то сюда, хотя и разрушали гармонию, в сущности же, сами были определенной гармонией: примирением. Покров смыслового незнания был ему, быть может, даже полезен: разум молчал, а сердце покачивалось то туда, то сюда, и в этом каче каждодневное и острое разрешение противоречия их любви — любовью стала гармония его детства, которую он впервые тогда почувствовал.

Казалось, сам цвет воплощал; голубой — он был нежен, но был высокомерен, мало доступен и слишком бил в глаза, как, скажем, красный слишком прямо бил в ноздри и в сердце: усвоение разницы цветов вбиралось быстро. И, как всякое чувственное знание, оно пе-

реходило в быт, и, скажем, цвета весны — голубое и зеленое — летом казались уже неполными. Теперь, если переводил глаза с голубого неба на зеленую траву, он невольно искал в зеленом красное, ему не хватало его, недоставало, и, поискав, глаз радовался вдруг обнаруженному в зелени травы мухомору, и сам цвет, вспыхивая, был вспышкой радости. Возможно, тут срабатывало и нарождающееся мужское начало: мужчины часто смешивают цвета, а путаница зеленого с красным — один из узловых дальтонических моментов.

Особенно отмечалась им разница их поучений: если бабушка в алой косынке наказывала быть терпеливым, не алчным, к еде не торопящимся (и, стало быть, нетерпение и торопливость к еде именно и в очередь первую изжить), бабушка голубая, напротив, утверждала, что если чего-то хочешь — прямо так и скажи, руку тянуть за куском, конечно, необязательно, однако же можно и без спросу руку протянуть, беды нет. Голубая бабушка даже и настаивала: назвать словом свое желание — это правильно, это необходимо; если что-то взять нельзя, тебе так и скажут — нельзя, но не молчи, никогда не молчи о своем желании, иначе, мол, будешь в жизни скрытным и до самой старости будешь много мучиться по пустякам. Мальчик же никак не мог постичь противоречивую их мудрость: он раздваивался именно от нежелания раздвоения, и эта арифметика еще отмстит ему в будущем, пусть даже обогатив взамен определенной цепкостью наблюдений.

А рядом сделался для него страстью, вдруг вспыхнувшей, запах помидорной ботвы: хотелось ее оборвать, вынюхать! Помидоры были еще зелены, но он хотел бы и их раздавить и сокрушить, тем самым сокрушив, быть может, и загадку запаха, сотрясавшего его душу. Оборвать было бы проще, но нельзя, и в раздвоенности желания он доставлял себе некое особое наслаждение: не обрывал и не вынюхивал — лишь проводил крепко рукой по ботве, после чего быстро прижимал к лицу, и не остывшая еще

от помидорной ботвы ладонь отделяла ему острый, терпкий, грубый аромат, пьяня и давая выход.

5

Бабка Матрена, напугавшись, его ограничивала. (Жадная еда первых дней обернулась для него рвотами и сильнейшим поносом.)

— Бабка Наталья, чего мне она есть не дает! — жаловался маленький Ключарев, как всегда по-поселковски называя не бабушкой, а бабкой и ища поддержки, однако бабка Наталья и ее Мари лишь грустно смотрели на клянчащего еду мальчика: «Терпи, мой золотой, — сейчас трудное время, все терпят». Они сочувствовали ему, но не впрямую: здесь все было чужое; они и сами были невольные нахлебницы. Разумеется, они бы не так лечили мальчика: необходим не голод, а диета, — так говорили, так шептались они меж собой по-французски, но их выдавала интонация: у старух по интонации можно прочесть все.

Его рвало, а понос, начавшийся с молока, прихватывал внезапно и сильно: иногда он выбегал во двор прямо из-за стола. Под взглядами приезжих бабка Матрена растерялась, занервничала: то закармливала его, то морила голодом, и тогда он вновь жалобно канючил, ища сочувствия у молчащих старух:

— Бабка Наталья, да что ж она меня не кормит — есть хочу!

А в ночь, когда он затемпературил, бабка Матрена контратаковала, устроив гостьям разнос: почему они сидят сложа руки? Как это понимать — образованные, а лечить не умеют?!

Маленький Ключарев лежал на печке и, засыпая, слышал вспыхнувшую их перебранку.

— ...А если вы, дорогуши, владели поместьями — это еще ничего не значит!

— Да не владели мы поместьями! — вскрикивала Ма-

ри. — Мы всегда считались из обедневших, из выродившихся!

Бабка Наталья горделиво вмешивалась:

— Но мы же не враги: власть прямо об этом заявила... Мари, в восемнадцатом году от какого числа был тот указ?

— М-да, — говорила Мари. — Сейчас, сейчас я припомню...

— И припоминать нечего, — язвила бабка Матрена. — Указ указом, а люди людьми.

Тут они обе, а с ними и Мари, — все трое разом смолкли, потому что маленький Ключарев заворочался; он слез с печки и зашлепал босо по полу: «Жарко мне...» — повторял, а они на него, температурящего, кидались с объятьями. Уговаривая его никуда не ходить и полежать (милый ты мой, родной, бубнила одна бабка, а другая бубнила: золотой ты мой, серебряный!), они упрашивали еще и еды не есть, а выпить лекарство: порежди, милый, пережди, золотой, однако, как только он решительно хватал хлеб, кружку молока, яйцо, они ничего поделать не могли, неспособные отнять кусок в голодное время. Одна перед другой они только и суетились, чтобы выпил он доморощенное лекарство, отвар трав, который облегчит ему жизнь и поможет, — отвар же был отвратительно горек, и мальчик милостиво соглашался выпить зелье лишь тогда, когда нажирался так, что его уж заранее тянуло рвать, что и случалось чуть позже.

Вновь засыпая, он слышал с печки, как бабка Наталья корила свою Мари за то, что та ничего не знает — ничего не помнит: в юности Мари готовилась стать сестрой милосердия, а позже, во время войны 1904 года, даже занималась два месяца на курсах, практики, впрочем, у нее не было: не успела. Старчески роясь в памяти, Мари уверяла:

— ...а если нет медикаментов, лучшее средство от рвоты и от поноса: отсутствие еды вообще. Три дня пить кипяток.

— Но как можно не кормить голодного? — возмущалась бабка Наталья.

И вновь укоряла бедную Мари:

— Скверно вспоминаешь!

А та плакала и, всхлипывая, что-то лопотала по-французски.

Ручеек — скажем, бабки Натальи — пробивался в его сердце, вроде бы скромный, а потом вдруг растекался там вширь, все забивая и все вытесняя, однако час спустя (всего лишь!) маленький Ключарев избавлялся от этого разлива, затопляемый разливом с другой стороны, — при том, что и другой ручеек, бабки Матрены, тоже пробивался поначалу робко, скромно, столь же незаметный, но и неотвязный.

Мальчик не мог отвечать им, отчасти из-за непривычной огромности, объемности их любви, — и уже бывал рад мальчишеской выходкой скомкать и прервать рост чувства, угрожавшего обременить его детскость: он мог поклясться, что сквозь остроту старческих непрячущихся слов скрытно просвечивает, а то и проглядывает что-то ему опасное: может быть, женщина. Он был заторможен, молчалив, от неумения ответить на любовь любовью, так что обе бабки казались не столько любящими, сколько вымогающими любовь, и вымогатели эти тем не менее прощали ему его черствость и холод, и, кажется, их вовсе не интересовала взаимность: лишь бы любить. Как и всякий ребенок барака, любимый мало и скудно, он был еще и в смущении. Его могли бы приманить житейские истории или старые легенды, но старухи, что та, что другая, думали о приманке слабо: наделяя его, маленького, несуществующей рассудительностью, они изливали свои чувства прямо и открыто, как человеку взрослому, который и игру в приманки, и саму приманку давно перерос.

Их чувства текли сквозь него ручейками порознь, однако и порознь оставались в нем тем, чем были — лю-

бовью; и когда обе бабки умерли, а он повзрослел, оба неостановимых ручейка так и текли сквозь его жизнь, сквозь его поступки и — страшно сказать — сквозь его любовь к женщинам.

6

— ...Сколько веков вы на нас ездили! — ярилась бабка Матрена, непростившая. Она нет-нет и вскипала, намекая, что они, барыньки, хотят, чтобы она за ними ухаживала и полы мыла, хотя они вовсе этого не хотели. — Получается, вы опять желаете на мне ездить — не выйдет! лакеев нет!

Спора не было, распри не было, а они — спорили. Споры их уже и в то время устарели: были архаичны, если не вовсе нелепы.

— Но помилуйте, ма шер, о чем она говорит! — возмущалась Мари. — Вы нас кормили, это верно, но ведь мы вас учили грамоте, образование вносили! И вообще бунт этот, революция, — не без нашего же участия в конечном-то счете!

— Да-а, очень вы нам помогли в революции, как же! Это уж доподлинно знаем — я вон фильм-то «Чапаев» два раза смотрела: знаю про вас и про ваши сладкие разговоры тоже знаю!

— Но послушайте... — И тут они замолкали, потому что приходила соседка бабки Матрены, толстуха, с белым лицом, отекшая и слабая.

Она приходила с какой-нибудь суетой, с просьбой, а, в сущности, приходила в помощь бабке Матрене в ее спорах. Стеснительная, толстуха никогда не вмешивалась и, охая, лишь вызывала, уводила бабку Матрену, после чего они сидели где-то на завалинке или же у толстухи в избе, беседуя о том и о сем, а также обсуждая: «А ты ей, барыньке, так-то сказала?.. а ты еще ей так-то скажи!» Через час бабушка в красной косынке возвращалась от толстухи как бы с новым запасом нападений и мелких

уколов, но и бабушка голубая вместе с Мари времени не теряли: успевшие обговорить стычку прошлую, они тоже встречали врага своего во всеоружии.

— Ведьма! — цыркнув слюной в угол, сказал как-то маленький Ключарев про толстуху, когда та увела его красную бабушку ковать оружие, — сказал и ждал одобрения со стороны бабушки голубой. Возможно, что и сказал он и слюной цыркнул именно ради одобрения, по-детски хитря, ибо к толстухе ровным счетом никаких чувств не питал.

Однако голубая бабушка одернула его, притом сурово:

— Вслед ушедшему не говори дурно, милый.

Мари подведет ее слишком острый слух — на вокзале она расслышит о некоем «хорошем и довольно скором поезде» и уговорит бабку Наталью именно этим поездом поехать к своим давним сибирским приятелям. Состав на деле окажется полугрузовым, полупочтовым, к тому же по пути в Сибирь его повагонно расформируют, после чего старухи будут добираться на машинах, перевозящих лес. Плоховато одетые и с малым запасом денег, старухи умрут, едва осилив трудности долгой и голодной дороги. Кое-как добравшиеся до намеченного сибирского поселка, прожив одна месяц, другая полтора, они скончаются там без шума и следа.

Впрочем, след остался: умирая, бабка Наталья, по-видимому, выживала из ума, потому что притихшая, причащаясь у местного священника, передала через него завещание, чтобы ее любимого внука Андрея Ключарева, когда он в будущем тоже преставится, похоронили рядом с ней, то есть на бог знает каком и далеком сибирском погосте.

Бабка Матрена тоже умерла через год и завещала, по-видимому, тоже слегка спятив, чтобы ее любимого вну-

ка Виктора Ключарева похоронили рядом с ней, в уральской деревушке, на кладбище. Деревушку же через десять лет снесли, в связи с выморочностью, так что кладбище оказалось заброшенным и вмиг исчезнувшим в бурьяне, и, хотя Ключарев был жив и весьма подвижен, приехать и отыскать он не сумел, и потому в будущем у него было столь же мало шансов лежать рядом с этой бабкой, как и с той. Он был уже студент, был молодой, горячий, смешливый и, в частности, много смеялся, рассказывая о параллельном последнем желании своих бабушек, позднее он уже не смеялся.

Он помнил споры об имени.

— ...А что ж, — говорила Мари, — что ж, Натали, ты так упряма? Виктор, — она ударяла на последний слог, — прекрасное имя.

— Но — не Витя! — чеканила бабка Наталья.

А бабка Матрена вмешивалась:

— Ясно: уж вам подавай баронские имена. Мы, грешные, баронские-то клички собакам даем!

— О! — вскрикивала Мари. — О!..

И немела от вопиющего, как она выражалась, хамства.

При рождении Ключарева бабка Матрена через дочь настояла, чтобы внуку дали имя Виктор, а бабка Наталья, в свою очередь, прислала письмо с пожеланием — Андрей; так скрестились интересы. Отец и мать Ключарева в их тяжбе не участвовали (возможно, и не догадывались), они порешили просто: кто первый высказался, так и будет; но старухам-то и было важно — кто первый?.. Через недолгое, сравнительно с жизнью, время у маленького Ключарева появились братья, и можно же было второму или третьему сыну дать запоздавшее имя, но в том и суть, что дать второму значило уступить, и старухи не уступали и до сей поры стояли на своем и на выбранном каждая. Маленький Ключарев решительно ничем не выделялся среди своих братьев, тоже маленьких и тоже Ключаревых, но он был первый, и старинное пра-

во первородства, даже и отраженное, вдруг ожило и для старух стало значимым: первородство значило право первого.

Значимым (теперь) могло стать любое слово.

В первые два дня маленький Ключарев ел слишком алчно, на третий день он стал жевать долго и старательно, чтобы почувствовать вкус еды, но так и не чувствовал, — теперь же, отравившийся, он вовсе не ел, однако запах и вкус еды, запоздалые, тут-то и преследовали его, теперь именно он почувствовал и хлеб, и молоко, и вкус крутого яйца. Он уже не мог слезть с печки, он лишь стонал — звал стонами, — и бабка, та или иная, все равно, успевала подбежать к нему с тазом, после чего, склонив над тазом голову, он извергал еду: рвало его огромными кусками, непонятно как умещавшимися в желудке. Болезненно постанывая и затягивая время — а вдруг подкатит? вдруг не конец? — он сердито, в ознобе смотрел в широкое нутро таза, а потом откидывался наконец и совсем отворачивался — молчал и слышал, как старуха, та или иная, все равно, удаляется, шаркая по полу и держа на весу таз.

Не сон был. Но и не совсем бред. Был некий поток его собственной жизни — всплывший и иногда вполне связный. Вдруг возникало, преследуя, лицо врага его — Дулы, физически более сильного да и постарше, который искусно менял мальчишьи стаи и был этим непонятен, даже и загадочен: он переметывался то на одну, то на другую сторону, пользуясь тем, что в качестве сильного был всюду желанен. «Ты с кем?.. с кем?.. с кем?» — вопила пацанва, а он не спешил с ответом и вдруг, схватив половинку кирпича, с диким криком: «Ур-ра!..» — устремлялся на тех, с кем еще вчера был вместе.

Их промысел, наглое и отчаянное мальчишечье воровство на рынке, но затем — логику нарушая — в видениях возникало лицо, фигура и даже улыбка дяди Толи

Доброгорского, огромного мужчины, который был весел и тем особенно хорош, что не терпел Дулу... выскочив на улицу, дядя Толя вмиг разметал всю стайку чужого барака, разогнал и накричал вслед, а когда те бросились бежать, он, добрый дядя Толя, стоял, и, дело сделавший, покуривал, оставив мальчишкам добивать своих противников, уже разбегавшихся кто куда, — он, может быть, чувствовал себя Суворовым в миниатюре, стоял и покуривал папироску добрый дядя Толя, а поверженный, но коварный Дуло по канаве, тихий, крался и крался незамеченный, а затем вынырнул из кустов не с половинкой, а с целым кирпичом в руках; десятилетний малец, он не без труда его поднял — а как же он с ним, трудяга, полз? — он поднял кирпич и нанес удар по затылку, после чего дядя Толя, огромный дядя Толя Доброгорский, Суворов в миниатюре, рухнул на коленки, и в глазах у него, надо думать, было темно. Дядя Толя ползал на коленках, и хрипел, и как будто искал в траве только что выроненную удачу, а бежавшее воинство чужого барака к этому времени, конечно, уже развернулось и с гиканьем устремилось на них, и маленький Ключарев, метнувшийся в сторону, сшибся с выскочившей из барака к павшему мужу женой дяди Толи, миловидной белокурой женщиной, которая недавно родила двойню и младшенького из этой двойни задушила во сне, заспала, нечаянно на него навалившись.

Он знал, что лежит на печи, что чистый и белый над ним потолок и что внизу — чистая тихая изба, по которой тихо-тихо бродят старухи, любящие его с последней, остервенелой силой любви, тем не менее барачный дым клубился — жизнь барака тянулась по его следу и клубилась, была как дым, и сам мальчик был как черная головешка, тлеющая и дымящая образами той, прежней жизни. За окнами грохотал гром, и уральский дождь лил так шумно, долго, настойчиво, словно дождь-то и силился чадящую головешку загасить, после чего отдернуть свой серый занавес и показать мальчишке уже надолго, навсе-

гда, маленькую чистенькую деревню, речку, белую дорогу — и небо с солнцем посредине.

И вновь возвращенный по времени назад, он после свирепой игры в чику швырял Дуле в лицо пригоршню проигранных медных монет-недоделок, Дуло успел отвернуться — и потому весь заряд, как заряд дроби, вошел Дуле в затылок, в висок, в темя, а много дней спустя стриженый свой затылок Дуло станет показывать всем, хвастая. Он даже и потрогать давал, — металл на лету рассредоточился, в результате чего там и тут вспухли крупные, а затем мелкие шишаки, равномерно, без пропусков, покрывавшие пацанью башку, такого ни у кого не было. «У меня кипящая голова!» — говорил Дуло, не лишенный образного мышления.

— ...А как мы выберемся, если дождь кончится, но о н а нам не поможет?

Бабка Наталья произнесла:

— Не поможет, ну и ладно. Сами найдем подводу, сговоримся — и поедем.

Старухи сидели возле лампы и негромко разговаривали. Керосиновая лампа помаргивала, а Мари вздыхала:

— Хоть бы дождь прекратился...

Он понял, что глаза у него открыты, почувствовал прилив сил — но затаился. Новый прилив сил толчком пришел изнутри, и тогда мальчик тихо, беззвучно засмеялся: жив... Страстно захотелось на улицу, на воздух, но он не спешил и осторожно оценил обстановку: воровскими мальчишечьими движениями слез с печки и, прячась, скрываемый стремянкой, прошмыгнул к двери, слыша колотящееся сердце. Когда гром бабахнул, как бы раскалывая с треском небо, мальчик приоткрыл дверь, кинулся в сени — и был на улице.

Сколько он себя помнил, дождь его никогда не пугал — надо было только пройти осторожно мимо хлева, где, как он догадывался по времени и по ее отсутствию, бабка Матрена доила или задавала корм. В темноте он

мог теперь вполне оценить, как и чем отличалась гроза в деревне от грозы городской, — ночь была чернее, а чудовищные молнии были самые синие, даже и белые, они легко, просто распарывали небо: природа грохотала и сотрясалась вся целиком. Он стал, прижавшийся к полуразрушенной стене загона, стоял и ждал — чего? В промельк молнии на краткий миг вспухало черное поле огорода, и пятнами вспухали поодаль купы ив, и шумно, нескончаемо лил дождь, какого никогда не было.

Он немного и прошагал, когда сообразил, что испачкал о загон рубашку и что его уличат, — в некотором страхе рубашку он стянул и, протягивая перед собой, совал под льющие сверху струи, чтобы замыть, рубашку же внезапно вырвало и потащило ветром — он бежал за ней по грязному картофельному полю, а рубашка то цеплялась за ботву, то как белая птица взлетала вверх и даже хлопала рукавами, как крыльями. Она исчезла. Когда очередной всполох молнии высветил пространство, он увидел ее вдруг уже в десяти шагах, беленькое ее тело, — и кинулся как мог быстро (он был без брюк и бос, какое счастье, что без брюк). Проехав плашмя по ботве, которая превратилась в холодные, остро пахнущие листья, и по земле, превратившейся в черный кисель, он упал, но тут же и вскочил, меся черную кашу ногами, — рубашка, прихваченная, уже была и билась в руках.

Когда он вернулся, бабка Матрена все еще не появилась, а эти две бабули тоже его не хватились — сидели и вели долгую беседу на ночь глядя.

Грязный ком рубашки он постирал в выставленном тазу; он быстренько повесил ее в сенях на веревке, что протянулась, нависая, над старой кадкой и над громадным ларем, на котором долеживал творог под гнетом. Выждав, как и при уходе, раскат грома, он рывком приоткрыл дверь, встиснулся из сеней в избу — и одним духом, в мокрых трусах, влетел на печку.

Лежа на печи и мало-помалу согреваясь, он тихо,

сдержанно постукивал зубами. Он слышал негромкий разговор. Он еще не заснул, когда бабка Наталья и ее Мари подошли к образам в углу, приблизившись, опустились на колени и стали пришептывать. Помолившись, они легли на лавки, что стояли одна перпендикулярно к другой вдоль стены, — так и лежали, переговариваясь чуть слышно и с долгими паузами, а потом затихли. В тишине пришла бабка Матрена, управившаяся с вечерними делами, — на минуту она поднялась по стремянке, глянула на внука перед сном и тут же спустилась. Он затаился. Еще минута, и бабка Матрена прошуршала, уже босая, молиться она не стала, лишь мимоходом приложилась губами к иконе.

Он спросил на другой, кажется, день:

— Неужели тебе нельзя е е полюбить? Это почему же невозможно, чтобы вы любили друг друга?

— Невозможно, милый, — ответила бабка Матрена. — Так получилось.

7

И бабка Наталья, и Мари были одинаково тщедушны, худосочны и различались меж собой мало — у бабки Натальи все же была спина, прямая спина, худая и прямая, а Мари была просто как высохший жучок, увеличенный лишь настолько, чтобы в какой-то мере походить на человека. Столь же худа и мала была и бабка Матрена, разве что руки, а если точнее, кисти рук были покрупнее, да был еще ноготь, раздвоенный как копыто; и тем-то удивительней, что в крохотно усохших тельцах жила неприязнь, жили страсти.

От отца или от матери, от обоих ли — откуда же пошла в рост моя безындивидуальность? — спрашивал Ключарев много после, взрослый и в себе копающийся... В бабках, он помнил — личное бросалось в глаза прямо и непосредственно, зато и было влияние: уже тогда, без жесткой поступи и в душе не наследив, незримым путем голубое

и красное из цветов превратились в некое знание жизни, пусть чувственное, но со временем распространяющееся и вширь и вглубь. Очень скоро Ключарев-взрослый даже и годы своей жизни станет делить на год голубой и год красный. Отчасти играя, он будет моделировать текущую жизнь из двух цветов: голубой — это опять же нежный, высокий цвет, однако же заметно надменный, самообманывающийся; в сущности, это цвет несильный, лишь гордыней своей, а то и чванством рядящийся в силу. Красный же — цвет истинно сильный, практичный, хотя и не возвышенный, не тонкий, а по природе своей расчетливый (при том, что упрекающий всех вокруг именно за расчетливость), цвет отчасти еще и циничный, хотя и добрый, готовый понять, и простить, и поплакать с тобой, без тени высокомерия, без снисходительности. И пусто, серенько делалось ему, когда цветовая гамма детства не помогала ему понять, не срабатывала (а такое, разумеется, бывало), и какая только мешанина цветов не мерещилась тогда Ключареву в том или ином встреченном в жизни человеке, подчас человека перекашивая и делая вовсе темным.

Ливень не иссякал, но выздоравливающий мальчик повеселел и уже расхаживал по избе с разрешения бабушек, к счастью, не знавших о его ночном походе, — смелея, он отметил, что с грозой можно вполне освоиться и в деревне: он уже не приседал при чудовищном раскате грома или же только имитировал испуг, приседал, но нарочито, — мол, делаю вид, что пугаюсь. По приезде он замечал внешнее: поле, и дорогу, и речку; теперь же, запертый, он заметил в избе и лавки, обретшие смысл, и светоносные окна со ставнями. После нагого поселка, а также после города, где на окнах были жалкие занавески, ставни в избе имели особый, понятный смысл: закрыть-открыть, есть свет, нет света, и даже герань на подоконниках подчинялась этому уясненному смыслу, первая встречая луч и первая же его утрачивая. Более того, пораженный, он сумел углядеть ту же простую прямоту и

в бабушках, которые в известном смысле тоже были жестче, но и прямее устроены. И если одна бабушка открывалась, то вторая закрывалась, и наоборот — если любила бабка Наталья, бабка Матрена на время, пусть недолгое, затаивалась, уходила в тень. Они не суетились, они давали друг другу — враг врагу? — любить не мельтеша; отступая на время, они выжданно и открыто выплескивали свою любовь как противовес, но не как мешанину, — чуткая и вместе не уступающая ни пяди параллель долго хранилась в нем неким эмоциональным законом прямоты, постичь который он не мог, лишь чувствовал.

— ...Не согрешишь — не покаешься, — намекала на что-то бабка Матрена.

И бабка Наталья отвечала:

— Святость, конечно, из греха — но святость, моя милая, для человека уже следующий, уже совсем крупный шаг.

В том и урок, что разность объятий двух бабушек была не только разностью рук и разностью запахов. Обнимаемый бабками, он подчас не орал в их объятиях и не выдергивался только из терпеливости, но при всем том он уже понимал, что любовь их к нему свята, индивидуальна и направленна и что было бы нелепо, если бы, скажем, обе они обнимали его разом.

С дождем свыкаясь, он уже умел чувствовать особенный холод грозы меж одними зигзагами молний и другими: в миг молнии, в миг двух-трех-пяти ударов кряду нутро у него замирало в смутном ожидании беды, и вот тут — в промежуток тишины — холод брал свое и вдруг проникла в него, стоявшего на крыльце (на крыльцо он уже выходил — постоять под навесом). Сила холода ощущалась как бы меж грозой и грозой, именно меж двумя сериями ударов — в промежутке. И почти так же он чувствовал силу любви. Сначала скапливалось неудовольствие одной бабушки, и это означало ее любовь; накипев, она разряжалась (в сторону другой бабушки) так быстро, что он не всегда по-

нимал, в каких словах, и не всегда улавливал, потому что разряд шел помимо него, — но зато теперь он чувствовал, как скапливается неудовольствие второй бабушки (в сторону первой), и это тоже была любовь к нему. Одна молчит, значит, другая — любит, так он привыкал, а в силу каких таких страданий их любовь к нему поднялась на высоту неба, он не знал, да и не знал, что это можно знать.

— ...Споря с н е й, Мари, я так надоела самой себе. Я, верно, скоро умру. Я никогда так себе не надоедала, — говорила бабка Наталья.

Она вязала (она думала, что он спит), а он, лежа на печи, испытывал это удивительное обаяние коротких, вдруг возникающих реплик и умолчаний.

— Он забудет меня.

Мари возразила:

— Он полюбит тебя со временем — издали. Когда повзрослеет.

— А красива ли я издали, Мари, вот в чем вопрос.

И смолкли.

Внутри избы он пригляделся в последнюю очередь к тому, что было ближе всего, — к потолку; нависающий над печью потолок был прямо перед его глазами. Незамечаемая близость потолка, да и близость стены, стыкающейся с потолком, как оказалось, хранили для него определенное ощущение своего места, которое тут же исчезло, едва кончился ливень.

8

Незанятых лошадей в деревне не было, а ходить от избы к избе и слезно упрашивать бабка Матрена отказалась: ищите, мол, и сговаривайтесь сами...

Мари спросила:

— Как же это? По дворам, что ли, ходить?

— Именно. Если искать, я ведь тоже бы по дворам ходила. Мне тоже не докладывают — кто куда едет.

Бабка Наталья и Мари по дворам ходить не желали: им мнилось, что бабка Матрена заглазно уже представила их всей деревне в искаженном, а может быть, и в нелепом виде. Они нашли облегченный путь: то Наталья, то ее Мари выходили в самый конец деревни, это называлось «выйти за кузню», — маленькая и почти всегда не работающая, стояла там омертвевшая кузница, сарай такой, и сразу же за этим сараем избы кончались, а дорога раздваивалась, и более накатанная из двух — налево — вела к станции. Одна из старух, неся вахту, выходила туда и стояла на белом пыльном пятачке раздвоения дорог, и, если подвода проходила мимо, спрашивала: «Не подвезете ли?..» Этот житейский опыт, рассчитанный на городское «вдруг», здесь себя не оправдал, более того, подвел их: единственная подвода, шедшая на станцию, сама собой стала, и возчик крикнул: «Давай, бабка, влазь скоренько!» — на что бабка Наталья сказала, подожди, мол, *товарищ*, храня достоинство и прямизну спины, она отправилась за Мари, но пока обе старухи пришлепали к развилке со своими изящными чемоданчиками, возчик уехал.

На следующее утро старухи вновь поцеловали маленького Ключарева; ранехонько вставшие, они кое-как перекусили, наскоро поплакали о маленьком, оставляемом ими Андрейке и пошли на развилку со своими чемоданчиками и с бутылкой колодезной воды, заткнутой тряпицей. Они простояли все утро, они стояли еще и до обеда, пока жара и зной не загнали их вновь в избу.

Слово х а р а к т е р в бараках было в большой чести — то самое понятие, которым мальцы хоть как-то отличались друг от друга. Говорили, что такой-то «пацан с задатками» или «со способностями», наверху же всей горы существующих слов и оценок было слово н а ч и т а н («пацан здорово начитан!..»), но еще выше,

уже у самого неба, располагалось слово «характер». От слова веяло тайной куда большей, чем от трофейных кинофильмов или колдунов Гоголя, а услышать к себе применительно, что «у мальца — кажется — характер», было мечтой из самых сладостных. Характер — было что-то как бы найденное на дороге, данное от судьбы, чего никак нельзя было ни купить, ни даже вычитать в книгах.

Пусть невольно он выискивал этот самый характер в самых разных людях, встречавшихся в его детстве, и, разумеется, он не искал в этой избе, однажды решив, что никакого характера у тщедушных и носящихся со своей любовью старух нет и быть не может, — и лишь много позже, взрослому, ему было дано понять, что он ошибался и что именно в бараках собственное лицо, называя его характером, мало кто имел — потому и говорили о нем, утратившие.

Бабка Наталья, не сумевшая и в этот день найти подводу, разбитая, стоптавшая ноги и выжженная солнцем, говорила в слабости своей (жить ей оставалось год):

— Я умру, милый, но я буду с тобой.

Она говорила:

— Я умру, но я буду с тобой, моя радость, моя улыбка, мой ангел...

— Как ты будешь со мной, если ты умрешь? — интересовался внук.

Не поясняя, она говорила о том же — мне ничего не надо, *мне даже не надо, чтобы ты помнил меня,* но я хочу быть с тобой, хочу, чтобы моя любовь, моя нежность, моя душа были рядом с тобой, когда ты будешь жить, а я не буду...

Она заплакала:

— Ты забудешь меня: но я и забывшего буду тебя хранить: я буду по утрам с тобой (вечера, бог с ними, ты найдешь, как и кем свои вечера занять), но по утрам, когда будет раннее мягкое солнце, и ты будешь

просыпаться, и будешь идти по улице, я буду с тобой рядом, я буду с тобой, я буду с тобой, и *мне ничего больше не надо...*

Маленький Ключарев услышал сухой треск, когда бабка Наталья вырвала клок своих волос; не ойкнув, она выдрала прядь — она улыбалась, от волнения губы ее прыгали, глаза сияли. Она повязала вырванные волосы вокруг среднего пальца его руки, она заматывала ему палец, а волосы секлись и рвались, а она опять заматывала и надвязывала. Стараясь передать ему свое пережитое и обретенное в опыте, а также и свой мир, пусть небольшой, бабка Наталья и бабка Матрена — обе — не сомневались, что мир каждой из них, хотя и мал, намного превосходит тот, каким дышал и жил маленький Ключарев, то есть мир бараков. Более того, у каждой из старух было чувство неоспоримого превосходства над тем миром, каким дышали его отец, его мать и он сам. «До чего дожили!» — говорила и та бабка и другая; они так говорили про его любимые бараки, и, кажется, это было единственное, в чем они меж собой соглашались.

Бабка Матрена умерла через год, вдруг ослабевшая. Умирая, все, что у нее было, она раздавала или же продавала совсем дешево. Торговаться по слабости уже неспособная, она продала дом «на вымор» — то есть доживала в нем сама, а ведь в поселке или в пригороде, сумей она выехать туда на торги, и хозяйство, и корова, и дом, хотя бы как сруб, стоили бы много дороже. Это верно, что, слабея умом, она завещала похоронить внука Витеньку рядом, однако же кое-что она соображала, в частности ее тревожили тысяча сто рублей, оставшиеся от распродажи, и она у знающих людей с упорством выспрашивала, что купить Витеньке, чтобы было и памятно и ценно. Ну, хоть велосипед, говорил кто-то, ну, часы, но она, как бы предвидя ход дней, все отвергала:

«Не промахнуться бы. Не подешевеет ли это?..» Она так и не придумала ничего и, не придумавшая, завещала деньги просто как деньги, после чего и умерла — счастливая и радостная, наказав верному человеку, чтобы передал деньги ее внуку из рук в руки. Ключаревы, однако, жили в далеком уже городе, и передать им было непросто.

Не прошло и месяца-двух после ее смерти, как в связи с денежной реформой деньги превратились в сто десять рублей, но и эту сумму верный человек передать пока не сумел, — ослабевший ногами, он передал деньги другому далекому родичу, а тот и вовсе умер, успев, впрочем, в свой черед наказать сыну, одному и другому, с деревенской аккуратностью взяв с каждого из них честное слово. Прошло много лет, Ключарев уже кончил вуз, уже работал второй ли, третий ли год, и однажды в Москве после бурной попойки и пенья песен хором, после внушительного «посошка» Ключарев пошел проводить одного из родичей к метро, или, может, его провожали, — уже и это нелегко вспомнить, — как вдруг родич сказал ему: «Слушай, а ведь я должен тебе деньги отдать — твоя бабка оставила, помнишь, в письме писали?!» — «Да ладно!» — «Нет уж, давай-ка точку поставим: я отцу обещал!..» И родич настоял — идем-ка, мол, в сторонку, и притом именно сейчас: а то, мол, он опять и надолго забудет. Заплетаясь ногами и покачиваясь, они подошли к близкому фонарю, и там, при бледном его свете, родич вынул кошелек и, порывшийся, —слава богу, нашлись без сдачи! — выдал Ключареву *одиннадцать* рублей, в которые превратился бабкин дар после двух реформ.

Бабка Матрена была уже в сильнейшем забытьи, когда те, кому она продала избу, пожелали въехать, так как бабка никак не умирала до зимы, хотя и обещала. С уральскими морозами, если нет крыши над головой, шутки плохи, — потому они въехали, а бабку Матрену отвезли в Ново-Покровку, где, кажется, она и умерла

и была похоронена. Ключарев и по сей день не знает, где лежат ее старые кости, ибо могильных крестов той поры, от времени истлевших, уже не осталось: соответственно, не знает он и того, где завещано ему лежать. Он не знает ни одной из могил двух старух, любивших его больше, чем другие люди. «Так получилось», — как сказала бы бабка Матрена.

Так получилось, что после их смерти возникнет в Ключареве огромный и холодный провал *нелюбимости*, — и это время, время без любви, ему придется жить и прожить, вплоть до поры взросления, когда возмужание и опыт близости с женщиной в многоликой сумме своей уравновесят наконец потерю, пусть даже отчасти обманом.

9

— Чего орешь, тварь?! — грозно сказала бабка Матрена корове и даже не нагнулась за хворостиной, а ткнула кулачком ей меж ребер, — корова уже и прежде смолкла, признав и голос и право бить, так что тычок в ребра был уже лишним, но и лишний этот тычок корова приняла — и вдруг убыстрившимися шагами пошла в хлев.

Бабка Матрена была не в духе.

Она тоже не могла найти подводу, а ей надо было ехать на рынок и, продав овощи, добыть кое-какие деньги на жизнь. Мрачная, но уже решившаяся идти пешком, Матрена сказала бабке Наталье и ее Мари:

— Витюше там-то и там-то — молоко, картошка тоже есть.

Она добавила:

— Хлеб есть. Пока я вернусь, должно хватить.

И она ушла, взвалив на плечи два полмешка молодого лука и прочей зелени: ранним утром, пешком, согбенная и угрюмая, она уже зашагала к станции, где и был рынок. Впрочем, она заглянула к толстухе сосед-

ке и сказала, что, если мол, эти две цацы все же найдут подводу и уедут — пригляди за Витей... Конечно, она могла предложить своим гостьям, берите, мол, чемоданчики в руки и пошли со мной, однако же не предложила, ушла, посчитав, что цацы все равно откажутся, так как шагать с чемоданчиками им будет в жару тяжело.

Памятливая, она сказала: «Кормите Витю молоком и картошкой», — про самих же их не сказала ни слова, и едва ли бабка Матрена предполагала, что голод, мол, не тетка — сами, мол, догадаются и сами возьмут. Тут именно мог быть умысел, и скорее всего ей хотелось, чтобы они именно без спросу взяли еду, притом чужую: бабка Матрена не была из добреньких, она жила своей жизнью и на чужую жизнь не равнялась. Витю, мол, покормите молоком и картошкой, а сами — ешьте, что есть, этой-то вот простенькой и понятной добавки в ее словах не было. Недосказала она, а стало быть, горделивые старухи даже и хлеба сами взять не могли.

И старухи не взяли. У них тоже была своя жизнь, и чужой жизнью жить они не умели.

Оставшиеся, они не жаловались, что бабка Матрена их не кормит, они, правда, вздыхали, укоряя ее: они бы, мол, на ее месте не забыли и дали бы ей, бедной, как-то питаться, будь у них эта земля, и эта картошка, и эта корова, и умение за коровой ухаживать. Они не ели, выказывая иное свое умение, умение смиряться не уступая: оттого-то так страшно и пугающе быстро они худели.

Смирение не было полным, а было, так сказать, удельным: отдав, они оставили себе какую-то пядь и на этой пяди жили, оставаясь самими собой, и тут-то и было и таилось, быть может, отличие смирения от покорности, и Ключарев мог уже тогда впитать эту разницу, хотя бы частично.

— Земля — это счастье, — говорила Мари. И тихонько плакала.

Голубая бабушка ей возражала:

— Вздор, милая, — земляное счастье нас ждет через два-три года. (Вместо отпущенного ей года она, видно, надеялась на два-три.)

— И все равно счастье, — плакала Мари и так некрасиво хлюпала носом.

В голоде Мари переменилась: мигом осунувшаяся, возникла деревянная старушечка, вдруг начавшая твердить, что счастье в крестьянстве и в обрабатывании земли своими руками, — зато за двоих выступала теперь голубая бабушка: она вроде бы еще больше держалась, и чеканила слова, и прямила спину при шаге. (Перемена в ней была меньше, но и меньшая перемена была для глаз мальчика куда заметнее и виднее, чем полное одеревенение Мари.)

И удивительно, как легко переносил он то, что он ел, а они — нет. Он как бы закрывал глаза и открывал, вновь вступая со ставнями в избе в некое отношение, и это не было какой-то там образной или символической игрой. Для взрослого это вполне можно было бы возвести в образ: мальчик открывал глаза, когда ел сам, и закрывал — когда они не ели. Он как бы частил глазами, закрывал-открывал: в итоге же и в смещении возникала некая спокойность жизни, уравновешивающая и себя прощающая. (Каким образом в него, маленького, такое вмещалось и как такое мирилось с его совестью, он до сих пор понять не может, зато сколь многое понимает теперь благодаря той непонятности.)

Еще одно: голубая бабушка говорила: «Это — *наше*», — а бабушка красная говорила: «Это — *мое*», касательно, скажем, хлеба, касательно еды и всего прочего, касательно травы, берез, леса, земли, и мальчику думалось, что разница такая может быть оттого, что бабушка голубая (множественное число) была с Мари, а бабушка Матрена — одна. Лишь с возрастом понял он разницу их отношений и притязаний, хотя уже тогда, в детстве, смутное чувство подсказывало ему о некоем

имеющемся тут противоречии, а даже и парадоксе, так как по логике им бы, конечно, следовало говорить *обратное.*

10

Бабка Наталья и Мари его кормили, собирая со стола даже и крошки — для него. А жадности к еде уже не было, и, стало быть, неторопящийся, он тем более мог видеть, что старухи сидели около, глотая слюну. Ослабевшие, они впихивали в него кусок за куском, не замечая, что обращаются с ним, будто ему годика три (он и в прямом смысле ел за *них* — вместо них): «А этот кусочек за меня, Андрей, за бабку Наталью, неужели ты не съешь? ты меня очень обидишь...» — а он, медлительный, не желал открывать пасть.

— А теперь за Мари — она ведь тебя очень любит...

Мари с запавшими щеками отворачивалась:

— Не люблю я его, если он не ест.

Отварив картошку, они толкли ее прямо в миске с молоком, после чего несли холодно-горячее пюре, картинно воткнув в него большую деревянную ложку. Глотавшие слюну, они сдерживались, и лишь однажды Мари вдруг сказала, нет, мол, сил терпеть голод более, а бабка Наталья строго ее отчитала за недостойную слабость: грассируя, она выдавала пассаж за пассажем, и Мари уже кивала, признавая вину, и каясь, и роняя слезки.

Однако к обеду второго дня старухи стали иссякать: отвлекая друг друга, они стали вспоминать ту и эту войну, ту и эту разруху. Как бы соревнуясь, они рылись во времени, легко и без натуги отыскивая памятные тяжкие дни там или здесь в долгой своей жизни: им было что вспомнить. «Помнишь ли, как в детстве на Орловщине...» — «Нет, — вдруг оборвала бабка Наталья, — а те дни мы вспоминать не будем. Это сведется к разговору о *еде* и о твоем любимом малиновом варенье. Я за-

прещаю тебе!» — «Наташа!» — Глаза у Мари заблестели, сухонькие, бесцветные глаза. «Не будем», — сказала бабка Наталья.

Мари, обессиленная, легла на лавку, она всхлипывала.

— Но почему не вспоминать?.. Мне так хочется вспоминать!

А маленький Ключарев лежал на печке. Он мало что понимал, но понимал же он, что старухи хотят есть. Закрывший глаза, он старался заснуть, круто поворачиваясь то на левый, то на правый бок.

Мари забылась сном на лавке, а бабка Наталья сидела и вязала, когда он, заснуть не сумевший, слез с печки и вяло подошел к ней. «Бабушка...» — позвал он ее, желая что-то спросить, и тут же забыл — что, так как она, швырнув на лавку вязанье, прижала его с неожиданной силой к себе. «Да, бабушка с тобой, — она повторила, — да, твоя бабушка...» Ему было приятно и мягко у нее на груди, запах бабушкиных духов был остр и нежен, он чуть ли не мурлыкал, когда она сказала: «Сносишь костюмчик и забудешь бабушку — да?» — он стал уверять, что нет: обилием своей любви бабка делала из него младенца трех лет, а он, в свое время любви недополучивший, подыгрывал. Она сказала: «Мне жить недолго, вот и стараюсь, глупая, чтобы в памяти от меня что-то осталось, — прости меня, старую».

Он (лукавый) вроде бы не понимал, из чего она так бьется, однако же понимал: сердце его уже тогда (и, забегая вперед, можно сказать, — надолго) было отдано бабке Матрене; взрослый Ключарев, когда бы и кто бы ни произнес слово б а б у ш к а, представлял себе деревеньку, и огород, и речушку, и именно бабку Матрену с ее черными, как бы пороховыми, солдатскими морщинами на лице и на шее; взрослый, он не раздваивался в образе, и нет сомнения, что в ту минуту детства голубая бабушка, вероятно, уже предчувствовала его выбор и знала итог тем особенным знанием, какое дается в

старости. Она даже и смирилась с его выбором, — быть может, потому, что считала, что любить бабку Матрену (удерживать ее и в голове и в сердце) мальчику и нужнее, и правильнее, и современнее, и безопаснее в смысле развития — тоже. Она еще и подсмеялась немного в ту давнюю минуту, прижимая и целуя его: «Смешная бабка Наталья, хочет остаться в памяти — да?»

Был ужин, то есть для маленького Ключарева ужин, для них же очередное голодание с видом на еду. Мари уже постанывала. Бабка Наталья зажгла керосиновую лампу — она принесла из погреба молоко, разогрела его, затем взялась за картошку, а Мари, постанывая, лежала на лавке: не поднималась, чтобы не видеть.

Подступала новая ночь (Матрена еще не вернулась) — июньские ночи стали прохладны, и мальчик подолгу лежал на теплой печи, слушая, как мучаются старухи. Говорила Мари, она нет-нет и капала слезами — мы, мол, только что отголодали такую войну!

— ...я ведь, Наташа, прости меня, согласилась поехать с тобой отчасти с умыслом. Дай, думала, на старости лет увижу русскую деревню, притом уральскую, далекую от всех и вся, далекую от споров и войны. И еще, сказать ли, знаешь, что я думала — похожу по улице, что может быть лучше лета в деревне! детство вспомню, тишину и — молока попью!.. ты знаешь ли, мысль про молоко, про то, как я буду пить молоко из железной кружки после многолетнего голода...

— Ты меня не разжалобишь! — сказала бабка Наталья. — Есть нам не предложили.

— Я же не настаиваю на молоке, Наташа, Наташа!.. Ты меня неверно поняла, — заспешила Мари. — Я же говорю: хлебца-то можно поесть немного?..

— А тебе предложили есть хлеб? — холодно произнесла бабка Наталья.

Мари вновь заплакала.

Он слышал в дреме, как они запели, а когда он свесил голову вниз и глянул, они сидели обнявшись, Мари всхлипывала, и пели скрипучими старушечьими голосами песню, где слова были почти неразличимы:

да я-я-ааа одета-ааа... —

он засыпал, он посапывал носом, он слышал, как бабка Наталья спросила: «Мы не мешаем тебе спать, милый?..»

Потом сон отступил. И он слышал — Мари опять говорила:

— ...Наташа — только не спорь: я надумала, что, если мы не умрем здесь от голода, в нашей жизни еще будет что-то очень замечательное.

— И необязательно реветь. Вытри слезы.

Мари послушно вытерла глаза, но продолжала:

— Ты знаешь, будет что-то огромное-огромное: оно придет, как облако, и будет стоять над нами. Большое и белое... Знаешь, почему я так думаю?

— Не знаю, почему ты так думаешь... Вытри слезы, опять ты плачешь.

— Почему? — а потому, что в начале жизни у нас все было так хорошо! так прекрасно! и жизненное завершение после столь долгих лет тоже должно быть прекрасно: оно нас ждет. Оно ждет нас, Наташа.

— Да вытри же слезы!.. Нас ждет богадельня.

— Ну и что?

— Огромная белая богадельня — вот тебе разгадка твоего ожидания. Игры со старичками. И кино.

— А лото?

— Ну, хорошо, — и лото тоже.

Мари оживилась:

— А почему ты так плохо говоришь о доме престарелых, я не понимаю тебя, Наташа?

— Там прекрасно. Во всяком случае, т а м тебя покормят.

— Не иронизируй. И лото. И кино. И опрятность. А главное — ты же забываешь главное — там может произойти встреча с каким-нибудь интереснейшим человеком! Почему ты общение сбрасываешь со счетов? Это нечестно. Разве прекрасный и обаятельный человек, тонкий, умный, одухотворенный, не облагораживает любые стены?

— Помечтай, Машенька.

— Я не мечтаю — я верю!..

Они смолкли, а он в полусне усмехнулся, несколько удивленный тем, что тщедушные и полуразрушенные старухи хотят еще встретить в жизни какого-то человека (он силился представить себе старика с бородой — рядом с Мари).

— А знаешь, Мари, мы не умрем, — заговорила теперь бабка Наталья, — я искала и нашла выход: если Матрена и завтра не вернется, мы сделаем вот что: мы поработаем...

— Как?

— Помнишь, она жаловалась: в огороде, мол, полоть надо — мы прополем ей грядки... и поедим хлеба с картошкой — за труд! Это будет справедливо.

— Глубокая мысль, Наташа! какая глубокая и верная мысль! — подхватила Мари.

Мальчик канул в недолгую дрему, как-то сразу успокоившийся за их жизнь. А разговор старух теперь, вероятно, кружил и кружил возле тех невсполотых грядок.

Он проснулся от легких шагов: сухонькая Мари вдруг устремилась к окну; открыв ставни, она приникла к маленькому окошку — и вгляделась:

— Наташа! Какое очарованье! какая луна!

— Да, сейчас полнолуние, — откликнулась бабка Наталья.

— Нет, она замечательная, эта луна, — она упоительная! Ты слышишь, Наташа, — луна!

— И что же?

— Как что — замечательная же видимость, всё как на ладони...

Мари теми же легкими шагами метнулась от окна к своей давней подруге:

— Наташа, милая, ты только не спорь, ты такая спорщица и упрямица, с самого детства. Что ты доказываешь? кому?.. Матрена не права, конечно, бросила нас на произвол: с гостями, тем более с родней, так не поступают...

— С родней только так и поступают, — сказала бабка Наталья. — Именно с родней.

— Но — не спорь же. Ведь ты согласна, ведь ты сама нашла этот выход: пойдем туда. Я тебе уступала, Наташа, — уступи и ты теперь, — ты согласна?

Молчание.

— Ты согласна, Наташа?

Бабка Наталья сказала наконец, что она согласна, и вот в лунную ночь две голодные старухи вышли в огород, подрагивая от холодка, и принялись среди ночи обдергивать грядки. Согнувшиеся, они двигались полшажок за полшажком, медленно, поначалу не столько изымая сорняки, сколько — разглядывая. Они было поискали мотыги, но не знали где и не нашли, к тому же ночью, в темноте вести прополку руками им показалось надежнее. Мальчик, позевывая, тоже вышел за ними — была луна, и не спалось.

Они посоветовали ему идти спать, но он отказался, и было удивительно, что они не настаивали: они уже забыли о нем, поглощенные объявившимся и спешным своим делом. Хватая траву под корень, они дергали и дергали, и не сейчас ему было дано узнать, что в старости есть хочется куда острее, чем в любом ином возрасте.

Согбенные, они смещались по грядке медленно, как старые черепашки, он же ходил возле. Он посматривал

на луну, которая в тот год холодно и неясно его тревожила. «А ты помогай нам, Андрейка», — сказала Мари, и голос ее, притихшую, выдал — она нервничала. Он стал обдергивать помидоры, приткнувшись меж старухами и двигаясь понемногу следом. Вскоре ему надоело, и, зевая, он только ходил и смотрел, а старая Мари ласковым голоском ему выговаривала: «Ах, лентяй! ах, лентяй! Ты разве не знаешь, милый, кто не работает — тот не ест».

Через час, что ли, Мари сделала попытку разогнуть спину, однако бабка Наталья сказала:

— Нет, недостаточно.

— Но ведь уже четыре грядки, Наташа.

Бабка Наталья не ответила.

— Но ведь огород весь мы никак не осилим!

— Не заставляй меня повторять, Мари. Я же сказала: шесть грядок.

Закончившие шесть грядок, они разом иссякли — сели на землю и не вставали. Было слышно, как они дышат. А через минуту-две они встали и припустили бегом, ибо с желанием поесть больше бороться не могли: даже бабка Наталья слишком быстро устремилась в избу. Мари, конечно, летела впереди как на крыльях. Внук за ними еле поспел.

— Садись с нами, перекусишь, — сказала бабка Наталья (нож стучал по столу, она лихорадочно нарезала хлеб).

— Да, садись, садись, — волновалась Мари. — Такая беспокойная у нас ночь сегодня...

Но он-то есть не хотел. Его потянуло на улицу; старухам было не до него, и он, неокликнутый, вновь вышел в огород и уставился на луну: луна, в легких облаках, висела яркая в высоком небе, а низ картины занимали зубчики плетня, черные, как бы вырезанные из черной бумаги. Мальчик взволновался: на частоколе плетня, на неподвижном и как бы вечном, плыли беле-

сые облака, в центре же — тоже неподвижное — разместилось огромное и торжественное желтоватое око. Ощущение красоты и формы взволновало само по себе: оно было так же осязательно, как поверхность предмета, оно было явлено как звук или как запах, и, может быть, красота и форма говорили о желании — но о каком?.. Потрясенный новизной и возникшей тягой, мальчик глаз не сводил и лишь изредка, осторожничая, оглядывался на мокрую ботву и на черное поле огорода, чтобы, оторвавшись от их темной бесформенности, вновь бросить глаза вверх — к совершенству. Он чувствовал себя в полной безопасности рядом с этой грандиозной и торжественной красотой.

Когда мальчик вернулся, они, насытившиеся, лежали на лавках и уже спали: тоненько посапывала бабка Наталья и пушечно-громко храпела крохотная Мари. Он влез на печку и долго, беспричинно томился.

Он еще не заснул, когда дверь в сенях хлопнула и явилась бабка Матрена.

— Внучек, родной мой, — кликнула она негромко, но он не ответил — лежал с открытыми глазами, все еще томимый луной.

11

Проявляясь, любовь подчас жаждет повелевать или хочет, хотя бы и внешнего, тусклого, себе подчинения, — бабка Матрена уже с утра командовала:

— Витя, сделай то...

Или:

— Витя, сделай это...

И дергала его по мелочам туда и сюда, как бы желая убедиться, что за время отсутствия те старухи не утопили в своей любви — ее любовь и влияние. Мальчик же подчинялся неохотно, скучал и рвался вон.

Он заметил, что взаимная натянутость бабушек, сохранившись, перешла в некую молчаливую форму: баб-

ка Матрена молча их кормила, а они молча ели, говорили сухонькое спасибо и уходили вновь: шли на перекресток, ожидая там случайную подводу. В обед они возвращались, ставя чемоданчики в угол и жалуясь друг другу, что ноют ноги, что полный рот пыли и что жара их доконает. Его их слова, их неменяющиеся муки уже не интересовали (мальчишка не мог сосредоточиться раз и навсегда на одном) — его занимали последствия ливня.

Он бродил по негромыхающей природе, вверху было совсем тихо, и он много слышал жаворонка: тот пел теперь без передышки весь день, кувыркаясь где-то в небе, невидный. В тишине лишь ручьи грохотали — и какие ж это были ручьи! — казалось, что вдалеке идет поезд, звук усиливался, и поезд приближался — это значило, что мальчик приближается к одному из ручьев. Таких ручьев он не видывал. Земля была изъедена и обглодана, всюду ямы, рытвины, развороченные грубо и мощно.

Меж двух бурлящих потоков мальчик увидел свой муравейник — огромная муравьиная гора была смыта, снесена, напоминая внешним видом разорванную собаками старую большую шапку, клочья которой валялись там и здесь.

В муравейнике осталось лишь основание: большой и пахучий круг темной зелени; муравьишки там были, ползали, и пусть вода уже спала и тот поток, что снес и разрушил, ушел в сторону, они ползали все еще испуганные, медленные; лишь некоторые на спинах своих подтягивали сюда новую землицу, а даже и новые травинки, в тихой надежде, что все на свете поправимо. Вероятно, они не представляли, какая потеря и какая утрачена высота, и это незнание, возможно, было их благом. Малочисленные, они были как отдельные пешеходы в вымершем городе (или, скажем, в утреннем городе, в ту рань, когда еще нет транспорта). Их было даже не жаль; в трагедии неуместна жалость: их было

мало, верующие в судьбу, кто порожняком, кто с грузом, муравьи торопились по дорожкам, которые были давно забыты, так как на глубине этих путей (в основании муравейника) жили слишком далекие и слишком уже забытые их предки.

Ниже по ручью, наполовину в воде, мальчик увидел еще одну часть огромной шапки — муравьи тут сновали вяло и безжизненно, зная, по-видимому, что они оторваны и обречены. Они ползали как оглушенные, покорные концу и не пытающиеся понять, к тому же их сносило и слизывало мелкой волной — соломинку за соломинкой размывало, отрывало и, покружив, уносило водой. Маленький Ключарев не был брезглив или там пуглив в свои девять лет: сын барака, он запросто сгреб разлагающийся и сильно пахший кусок шапки и понес, проделывая вместе с засуетившимися муравьями обратный путь. Ему казалось, что несет он зримую, весомую часть, когда же он принес и положил ее на место бывшей горы, стало ясно, как мало спасено: лежала мокрая кучка, малостью своей лишь подчеркивающая ужасающую степень разрушения.

Он спустился по ручью еще ниже, где и нашел маленькие жалкие веники, по которым ползали десяток-два муравьев. Шаг за шагом — и чем ниже мальчик спускался, тем более жалкие и мелкие остатки он находил. Последний веничек, выброшенный на землю бурлящим ручьем, был уже пустой и безлюдный, безмуравный: горсть травинок, которую уже не имело смысла подбирать и перетаскивать, но, увлеченный, он перенес и ее.

Вновь спустившийся ниже, мальчик увидел и долго рассматривал корни подмытой ивы, но еще больше потрясли его вымытые корни дуба — оголившиеся, вздыбившиеся, они отделились от земли, так что мальчик мог под ними пролезть. И наконец, маленький Ключарев спустился до места, где ручей впадал в речушку, теперь полноводную и свирепую: уровень ее поднялся,

изменив береговую линию до неузнаваемости, и лишь огромный валун, за который мальчик в прежнее время, купаясь, цеплялся руками, был виден и бурлил, весь в пене. Остальных камней как бы и не было, речушка глухо шумела, гордясь глубиной.

Утро было с солнцем, однако он еще спал, а бабка Наталья поднялась к нему наверх по деревянной стремянке и над ним, лежащим на печи, склонилась: «Проснись, золотой мой, проснись...» И тут же (как бы одернув себя) бабка Наталья заговорила с той же ласковостью, но уже по-иному: «Спи, спи, прощай, моя радость!» — она уже не решалась его будить, лишь гладила рукой. Он лежал на печи в самом углу, близко к стенке, и потому она тянулась, чтобы достать, а Мари в это время придерживала стремянку и отчасти ее ноги, приговаривая: «Ты упадешь, Наташа, — тебе никак нельзя падать!» — а та все пыталась его поцеловать, но уж губами ей было никак не дотянуться.

Он спал; но он слышал: тяжелая рука звучно хлопнула дверью в сенях — и голос бабки Матрены пробубнил: «Не будите его. Незачем — эка невидаль проводы!» — и эти обе тут же отпрянули, как бы уличенные, бабка Наталья сползла по стремянке вниз и принялась там суетиться, вбегая и выбегая... Отстранившийся, он спал сладким вторым сном, когда вдруг что-то треснуло его по голове, он вздрогнул, не веря, — и вновь треснуло сонному, ему казалось, что тело его уплывает в теплую печь (на которой он лежал) и в огонь, однако кто-то, препятствуя, словно удерживал его за волосы. Он очнулся, открыл глаза: Мари, влезшая на стремянку, колотила его по башке старым валенком: «Просыпайся, — шипела она, шептала. — Просыпайся и проводи бабушку Наталью...»

На крыльцо он вышел, зевая и щурясь от солнца, — подвода, запряженная молоденькой лошадкой, стояла

прямо посреди дороги. Он заметил — из втулки колеса жирно выступал деготь, и одна черная капля висела, как бы не зная, упадет она в пыль сейчас или же когда лошадка тронется. А лошадка не трогалась. Бабка Наталья и Мари уже разместились со своими изящными чемоданчиками, и мальчик тоже, вдруг чему-то обрадовавшись, мигом влез в телегу. «Туда!» — прошипела ему на ухо Мари и показала, — и тогда он пересел к бабке Наталье ближе.

Выскочила откуда-то бабка Матрена, видно из огорода, с подоткнутым подолом и с какими-то кустами в грязных руках. «Разбудили-таки... О себе думают!» — ворчала она, теребя в руках кусты с налипшей и нависшей на корнях грязью. Будь ее руки почище, она бы, возможно, выхватила его из телеги и ссадила. Теперь она только крикнула:

— Далеко-то не везите — ему ж обратно идти. Петр! ссади его за деревней вмиг — понял?

— Ага! — откликнулся возница.

Лошадка сделала шаг, после чего телега, покачавшись туда-сюда, сдвинулась, заскрипела, уронив, быть может, ту каплю дегтя, — и тряско, потом легче, еще легче и совсем уже легко и быстро пошла. Бабка Наталья прижимала мальчика к себе и говорила: «Золотой мой *серебряный...»* — последнее слово, как он теперь лишь заметил, произносила бабка с долей печали, будто даже и серебро означало уже некую разбавленность и невысшую пробу. Она ласково, но не сильно прижимала его к себе, пока ехали. За деревней возница остановил лошадь, но бабка Наталья властно крикнула: «Трогай!» — и возница Петр передернул плечами, экий, мол, голос, что-то он хотел ей сказать или возразить, но смолчал.

Он еще раз остановил, уже за кладбищем, и вновь «Тр-рогай!» — прикрикнула старуха, и он вновь погнал свою лошадку вперед, ни словом не возразив. Уже под-

нимались вверх, когда бабка Наталья, не ожидая остановки, как бы сама своей волей, при медленном вползании телеги на взгорье поцеловала внука и легко ссадила — он спрыгнул, как бы выпрыгнул из ее рук прямо в облако легкой пыли, и видел какие-то взмахи ее руки, и понял, что она его крестит. Оглянувшийся возница заметил уже сошедшего, отделившегося мальчишку — понял — и хлестанул лошадку кнутом, и та прибавила ходу.

Теперь мальчик стоял на чистой, не пылящей дороге, а пыль клубилась за ними, уезжающими далеко. Он видел только пыль и лошадь, совсем маленькую.

АНТИЛИДЕР

1

Внешность выдавала его. Когда Куренков на кого-то злился, он темнел лицом, смуглел, отчего на лоб и щеки ложился вроде бы загар, похожий на степной. Он худел. И можно сказать, что становился маленьким.

— Ну и что теперь? — грозно спросила Шурочка.

Вглядываясь в его загар, она добавила:

— Ты, Куренков, смотри у меня!

Он виновато пожал плечами и что-то промычал. Он ел, жевал. Шурочка вгляделась вновь. (В тех случаях, если ее подозрение было несправедливым — а такое тоже бывало, — именно речь Толика, ласковая и несколько смущенная, успокаивала ее. Шурочка говорила ему:

— Ты, Куренков, смотри у меня!

На что он, именно что смущаясь, отвечал:

— Ты, Куренкова, не бойсь...

Получалось мило.)

Но теперь он не ответил. А поужинав, он пошел мыться и попросил потереть ему спину, что также было для Шурочки приметой и признаком. Со стороны приметы могли казаться пустячными, но ведь жена мужа знает. В малогабаритной квартирной ванной он напускал столько пару через душевой шланг, что ему было жарко и хорошо, как в парилке, зато там и тут — отовсюду падали капли (Шурочка не раз его ругала, так как отсыревали стены: «Лодырь! Шел бы в баню!..»). Распарившийся, он выглянул в дверь и, выставив голову в дверной проем, попросил Шурочку — потри, мол, спину. У него как бы

не было сил: он стоял, голый и худой, весь уменьшившийся, и ныл, жалобно просил потереть спину, как мальчишечка, который болен и который просит помыть его, слабого, хотя бы из жалости. Шурочка возилась с посудой. Увидев высунувшуюся его башку, она поворчала, но, конечно, спину ему потерла, обратив лишний раз внимание, что не только лицо, но и тело у него потемнело. Он вдруг стал смуглым.

Теперь Шурочка почти не сомневалась, что Куренков кого-то невзлюбил. Подумав, вычислила кого — Тюрина; в их компании Василий Тюрин появился сравнительно недавно, с год, а уже выделялся. И правда, они сразу и как-то особенно его полюбили: он был весел, говорлив, силен физически и к тому же с машиной. Он мог подвезти-отвезти.

Когда мастер ковырялся в телевизоре, обязанностью Шурочки было записывать и перечислять поломки с его слов. Но, перехватив пальцами темное крылышко копировальной бумаги и подложив под листок заново, Шурочка вдруг встала. Она пошла звонить, в конце концов, ее заботил муж, а хорошенькой да еще и полненькой женщине сходит многое, Шурочка это знала. Даже и нервные клиенты (был их час — близкий к обеду) молчали. Ей вдруг показалось, что все эти грубые люди притихли с умыслом. Дозвонилась Шурочка быстро. Куренков работал при ЖЭКе и обычно в обед околачивался дома.

— Куренков! — заорала Шурочка в трубку. — На родительское собрание в школу — не забыл? И заплати за квартиру. И за телефон! За телефон!..

Если Шурочку особенно беспокоил муж, она загружала его всяческими поручениями или же просто так, наугад бранила. В дни, когда он темнел лицом, загружать его было полезно.

Вечером Шурочка позвонила Зиминым — она и с

Аней Зиминой поговорила, и с Аликом. «Моего Толю опять, кажется, заносит», — сказала Шурочка. Но они только посмеялись. Они не придали ни малейшего значения ее приметам, а Толика они любили. Как не любить — ведь друзья детства! Зимины да еще Оля Злотова, Маринка, Гена Скобелев — они жили в многоподъездных, многоэтажных домах, а раньше — в старых московских дворах и двориках, которые стояли на этом же самом месте и от которых уже ничего не осталось, если не считать их самих, но ведь и они выросли. Бывшие ребята и девчонки тех дворов и двориков — вот кто они были.

Конечно, в компании старых друзей Шурочке многого не хватало. Не умели они поговорить умно и интересно, не умели одеться со вкусом — даже Алик Зимин, джазист, выглядел немножко попугаем, если наряжался. Но нельзя требовать от человека всего на свете. Тонкость, вкус и умение рассуждать Шурочка находила в других людях, зато в старых друзьях она ценила именно дружбу, память о детстве и то, что к ним в любую минуту можно прийти. Отзвонившись, Шурочка думала о них, и на душе у нее теплело: глядишь, все обойдется.

— Как же я люблю тебя, Толик, — восклицала она в пустой комнате наедине с собой. («Как же я люблю, когда ты тихий, когда ты спокойный. Как же я люблю, когда ты добрый!» — вот что значили ее слова.) Шурочка бывала сентиментальна, иногда восторженна.

Чтобы быть рядом, Шурочка пошла с Куренковым и за подарком для дочки. Они шли под руку, нацеливаясь в универсам, но только начали переходить улицу, как легковая машина, притормозив на снегу, стала прижимать их к тротуару. Сначала они придержали шаг, а потом попятились, а потом с некоторым уже гневом вскинули на водителя глаза и... рассмеялись: Василий! Как всегда, дружелюбный и обаятельный Василий Тюрин тут же приткнул машину к обочине, даже и въехал на заснеженную обочину, после чего, распахнув дверцу, вылез.

Сразу же и с улыбкой он протянул Куренкову руку: здравствуй, мол, Толя, и давай, мол, две-три минуты постоим, покурим вместе. Новый год собирались праздновать у Зиминых, об этом и говорили. Они стояли возле машины. Быть любимцем — дело непростое, и, возможно, Василий Тюрин все же чувствовал, что кто-то подспудно копит к нему неприязнь, но не чувствовал кто.

Затягиваясь сигаретой, Василий Тюрин сказал с некоторой заботой в голосе:

— Погуляем... Драки бы только не было. Никто не перепьется, как ты думаешь? — И после предвкушения общего застолья это было даже удивительно, это вроде получалось, что на Новый год и выпить нельзя.

Куренков ответил ему негромко и просто и только за себя — я, мол, не перепью, на что Василий Тюрин так и заулыбался.

— Да ты-то конечно. За тебя-то, Толик, я спокоен. — И он еще улыбался и что-то выспрашивал о настрое, а потом вдруг сказал в раздумье: — Может, я и не приду к Зиминым — не знаю...

Куренков ответил опять же негромко и просто:

— Может, и я не приду. Как получится.

А Шурочка держала его под руку; слушая их разговор, она чувствовала на спине и на плечах легкий озноб.

— Нет, Толик, ты уж приходи обязательно. Что же, из людей серьезных я один там буду? — И это Василий Тюрин гладил Куренкова по шерстке, не были они друзьями, не были и какими-то особенно серьезными людьми — друг без друга они могли бы запросто посидеть, тем более в новогоднем застолье. Шурочке, слушавшей их, както даже жалко стало Василия, уж очень он распинался:

— Ты, Толик, приходи, — повторял Василий Тюрин. — Выпьем. Поговорим. Люблю я, Анатолий, когда ты про жизнь рассуждаешь!

И это он уж совсем лез в душу: ты, мол, да я, нас двое. И может быть, он каждому перед близким застольем, волнуясь, так говорил, — приостанавливал машину, а

потом говорил братаясь. Шурочка отметила также: ведь Анатолий сказал, не Толик... Почему Василий Тюрин не хотел отказаться от совместного застолья, было неясно (если уж он так предчувствовал!). Жил Василий с Маринкой Князевой, они недавно сошлись, и, ясное дело, он мог отметить Новый год у нее. Они могли отпраздновать вдвоем, даже и не позвонив. Он, собственно, и появился в их компании через Маринку.

— Ну, я в магазин пошла, — сказала им Шурочка. Отойдя, она оглянулась: они тоже уже прощались, руки пожали, и это, конечно, Василий Тюрин захотел руку пожать, не мог без этого. Василий влез в машину, он обогнал, проехал, помахав Шурочке; это был сильный мужчина, когда он сидел за рулем, грудь его выпирала колесом. Ее Куренков, выглядевший рядом с Василием как заморыш, тоже пошел своим путем. Шурочка и его проследила взглядом — он не сразу направился в ЖЭК, где работал слесарем-сантехником, а сначала свернул к пивной палатке. Зима стояла холодная, но их пивная палатка была замечательная: пиво подавалось с подогревом, и сушки были, и сухарики. У входа в магазин Шурочка оглянулась еще раз: Куренков уже стоял у палатки и цедил пивко.

Куренков чувствовал себя примерно так, как чувствуют люди надвигающуюся болезнь. Он даже и маялся. Он бы махнул рукой на этого Тюрина, черт с ним, но в том-то и беда, что чувство озленности нарастало теперь само собой, неуправляемое. Он стоял, цедил пивко, а в груди чувствовал жжение. Внешне, однако, спокойный, сдержанный, он выпил три кружки. Обычно пил две. Пиво не заглушило, и, неудовлетворенный, он потащился в ЖЭК, где выслушал долгую ругань начальника, — Куренков не огрызался, человек он был смирный и терпеливый.

Так что его не только выругали, но и заставили

много работать — он затемно все еще ходил по квартирам, по вызовам: его не впервые нагружали чужой работой. В ЖЭКе он считался человеком добродушным, так и не научившимся качать права.

Но и работа не заглушила; вернувшись, слесарь-сантехник, похудевший и потемневший лицом, шастал теперь по своей квартире и машинально трогал краны — он то на кухне маялся, то в комнате. Дочка и жена вскоре уснули, и тогда он маялся только на кухне, в шерстяных носках мягко и неторопливо вышагивая. Нет-нет, и он держался рукой возле живота: ощущал там жжение. К ночи оно усилилось, поднимаясь почти к сердцу.

Заснуть и среди ночи не сумевший, он пошел к жене; он чувствовал себя зазябшим от долгого хождения, а жена была теплая, нагретая сном и одеялом. Он приласкал ее, и она была рада, он ушел — и пришел опять. Он приласкал ее, но, когда получасом позже тронул ее за грудь вновь, Шурочка уже и не шутя взвилась: «Отстань же, ей-богу — как мальчишка семнадцатилетний!» — «Да ладно тебе!» — теперь и он сказал ей грубовато и жестко: отдай, мол, мужу мужнино, бывает же. Но и потом он ворочался, спать не мог и вновь ушел на кухню. Он вышагивал, курил, а жжение в груди беспокоило все больше. Он слышал похрапыванье жены, Шурочку теперь, как из пушки, бросило в сон, а он все трогал себя рукой под ребрами, как бы определяя область жжения и пытаясь унять. Он курил и поглядывал в окно, где сыпал мелкий снег.

Еще и не в разгаре было застолье, когда Василий Тюрин стал нервничать: шутил он неловко, именно что нервно шутил, а ему вставляли шпильки и подначивали. Вдруг он расхвалил свою машину и свое искусство поиметь деньгу, а Алик Зимин, хозяин застолья, крикнул ему (и тоже, конечно, шутя):

— Эй, друг, чего это языком молотишь?

— А хочется! — мигом откликнулся Василий Тюрин и стал Алика пересмеивать. А Шурочка с Куренковым были на другом конце стола — рядом с женой Алика Зимина, так что сидели как бы поодаль. Шурочка уже не волновалась. Шурочка даже думала, не позвонить ли, скажем, кинокритику Панову (вот кто со вкусом говорил и со вкусом одевался: замшевый пиджак, вельветовые брюки) и не поздравить ли его с Новым годом — это могло быть неудобно, но могло быть и очень кстати.

К тому же Шурочка заметила, что Куренков, ей в бокал подливая и подливая, сам как-то вдруг и быстро набрался и за происходящим едва следил — и слава богу, подумала Шурочка, потому что выпивший Толик бывал хорош и спокоен. Он сидел тихий и от выпитого бледный. Правда, он попробовал негромко запеть песню, но на него зашикали и справа и слева, потому что петь песни в новогоднем застолье было, вообще говоря, необязательно, да и рано, — и тогда он совсем затих.

Шурочка (она звонить и поздравлять раздумала) сама же тогда ему и сказала: не пой, мол, Толик, заткнись, пожалуйста, а поди-ка позвони дочке. И Куренков послушно затопал в спальную комнату, где у Зиминых телефон; там он уселся, ссутулившись, и Шурочка слышала, как он тычет неверным пальцем в диск. Наконец дозвонился. «Легла?..» — спросил он у дочки. «Еще нет». — «А как уроки — сделала?» — «Какие уроки — каникулы!» — «М-м... п-прости, дочура. Это я выпил и уже ч-чепуху говорю...» — и тут он положил трубку, и Шурочка была довольна, что он муж как муж: и что такой послушный, и что домой позвонил с первого же ее слова.

Куренков тоже был довольный: хотя он и сильно выпил, а все-таки с дочкой поговорил. Он был доволен, что сумел. И у него уже возникла мысль, а не уйти ли вовсе домой к дочке, пусть пьют без него, но тут опять стало жечь в груди, и, колеблющийся, он вернулся в ту комнату, где был шум и гам и где общее застолье все набирало обороты. По цветному телевизиру, никем не слушаемый,

передавался праздничный «Огонек»; они как раз же и чокались, а увидев приближающегося Куренкова, закричали:

— Иди сюда, Толик!.. Чокнемся, Толик! — Они бы, веселые, и слону закричали, давай, мол, слон, чокнемся, и Куренков все хотел от них уйти, но они звали его и тянулись стопками и горланили, а охмелевший общий их любимчик Василий Тюрин, невпопад и как бы сам напрашиваясь, выкрикивал:

— А если кто на меня зуб точит — давайте начистоту. Выйдем на улицу и по-мужски поговорим!

Все захохотали, а Василий, смеющийся, стоял и поправлял галстук над чуточку торчащим ранним животиком. Крепкое бычье лицо Василия горело и пылало от выпитого.

— А выйдем!.. А вот сейчас и выйдем! — сказал ему Куренков, и от несравнимости их, бойцов, все взорвались хохотом с новой силой: Куренкова, бледного и уже умудрившегося напиться, умоляли сесть, выпить крепкой заварки, а еще лучше — поесть жирного. Однако Василий Тюрин и Куренков, двое, уже пошли к дверям, а тут в огоньковской программе появилась на экране телевизора Алла Пугачева — в легкой косынке, улыбаясь чарующими редковатыми зубами, она запела. Все смотрели: всех как бы заворожило. Лишь Шурочка забеспокоилась; знавшая мужа, она хотела встать и кинуться ему вслед, но встать-то она не могла: шампанское как бы придавило к стулу, у Шурочки не было ног. Шурочка подумала про Куренкова, что все-таки споил, змей, перехитрил — она замахала руками, она даже закричала, какая, мол, сейчас Пугачева, бегите вниз! — но Шурочку никто не слушал, слушали песню. Она еще раз им крикнула. Обезножевшая, встать она не могла и только пересаживалась понемногу со стула на стул — и еще со стула на стул, к окну поближе, чтобы видеть: было дымно, и курили, окно было приотворено.

Куренков ударил Василия, едва они вышли из подъ-

езда на улицу, а вышли они в пиджаках, было морозно, и под ногами хрустел новогодний снег: на улице ни души. Василий Тюрин поскользнулся, но на ногах устоял:

— Да ты что, Толик? — сказал он, опешив и все еще не принимая Куренкова всерьез: он считал, что Толик Куренков просто перепил, к тому же сам он был намного сильнее Куренкова, — но Куренков уже и зашипел, наливаясь злобой: ты, мол, всем надоел, гнида, вали на свой Юго-Запад и там гуляй и сори деньгами.

— Что?.. Да ты ли это говоришь — совсем пьян. Толик? — Василий шагнул, он и руки распростер, желая во хмелю обнять Куренкова и, может быть, поцеловаться на морозе, а Куренков ему, шагнувшему ближе, как бы воткнул кулак в лицо.

После чего и началась драка — Тюрин был сильнее, но Куренков яростнее, он дважды падал, но подымался: лица у обоих были разбиты, оба тяжело дышали. Тюрин в глубине души все еще считал, что, разумеется, кто-то другой или даже кто-то третий в эти дни подзуживал и нагнетал нервозность и что глупый, милый, перепивший Толик скорее всего подставное лицо. Не было в Тюрине злобы. И едва Куренков рухнул, упал в снег, Василий Тюрин, сплюнувший кровью, сказал:

— Знай в другой раз!.. — и повернулся, пошел было к подъезду, не желая добивать, а из подъезда как раз выскочили их мирить Маринка Князева и Гена Скобелев. Выскочил, конечно, и хозяин застолья — Алик Зимин. Их, запоздавших, подгоняла криками Шурочка: «Дерутся! Да спуститесь же — они дерутся!» — кричала она, высовываясь в окно.

Тюрин, хоть и сбивчиво, стал объяснять, что он всего лишь защищался, что Толик сволочь и что нечего мирить их на равных, и вот тут Куренков, вскочивший, как-то мигом к ним подлетел и промеж стоящих ударил его в лицо, притом ударил и сильно и оскорбительно. Василий Тюрин метнулся к своей машине. Он успел вскочить, захлопнув дверцу перед самым носом вновь рвавшегося к

нему Куренкова, яростного и неугомонного. Резко вырулив и разбрызгивая снег, машина помчалась на ту сторону дороги; дубленка и шапка были у Василия, к счастью, в машине, и теперь он поехал туда, напротив, к 16-этажной башне, где жила Маринка Князева. Больше ему ехать в этом районе было некуда. Понимая, что он покатил к ней (придется праздновать дальше вдвоем), Маринка побежала за машиной вслед, на бегу кутаясь в платок.

Василий Тюрин, симпатичный и веселый мужчина, так вот и исчез из их компании. Все сочли, что он слишком уж оскорбился: меж своих всякое бывает. Маринка Князева поплакала, но Тюрин, как она знала, так или иначе все равно собирался через две-три недели вернуться в семью, что жила где-то в Юго-Западном районе, — Маринка только одна и знала об этом. Она плакала, потому что хотела вернуть его хотя бы и на две-три недели. Но все решилось, когда Василий еще раз приехал за чем-то, у Маринки забытым, они провели ночь, долго говорили, — и он ушел совсем. Кто-то — кажется Алик Зимин — звонил ему, звал, но Василий не появлялся.

2

Позже стало известно, что, когда Василий Тюрин помчался в машине, а Маринка побежала следом, когда все, обсуждая драку, стали подыматься к Зиминым, чтобы как-никак продолжить веселье, Куренков с ними не поднялся. Он, правда, махнул им рукой — сейчас, мол, приду. «Чуть остыну...» — крикнул он им, прихватывая снег дрожащей рукой и прикладывая к разбитым губам. Однако и остыв — не пришел.

Почти бегом пересек он улицу. По улице катил совершенно пустой новогодний троллейбус и лихо промчались два такси, когда Куренков пересекал широкую проезжую часть, присыпанную снегом. Он бежал, ежась в пиджачке и в белой рубашке с чуть замаранным кровью ворот-

ником. Перейдя дорогу, он сам собой напал на прерывистую на снегу нитку следов Маринки Князевой. Он машинально ступал след в след, пока не вышел к ее подъезду.

Когда Маринка открыла, он разом втиснулся в дверь, не давая ей не впустить, после чего кинулся на кухню — к Тюрину, где они тут же замахали вновь кулаками, а потом сцепились, выкручивая друг другу руки. Со стола поехала скатерка, упала посуда, и Маринка Князева закричала на Куренкова, хлеща его по лицу: сейчас, мол, зову милицию!..

— Зови! — огрызнулся Куренков, а сам нападал, он все еще был в напоре, в то время как Василий дрался уж без азарта, устав прежде всего от шума и криков. На минуту они расцепились — стояли, стиснув кулаки и дыша как загнанные. — Деньгами соришь, уб-бирайся! — мрачно выцеживал Куренков. В нем кипела такая ярость, что и Маринка вдруг чего-то испугалась, отошла в сторону, притихла и не рвалась к телефону.

Тюрин наконец сник — он прошагал с кухни в комнату, раскрыл там свой чемодан и, покидав туда белье, щелкнул замком. Собрался. Он надел дубленку, шапку и ни слова не сказал Маринке. Зато у выхода он приостановился и сказал Куренкову, криво улыбаясь:

— Не знаешь ты, как сорят деньгами, Толик. И не хамил я — наговорили тебе... — и ушел, а Маринка Князева всхлипывала.

— Не ной, — сказал Куренков. — Не я, так другой бы его выставил...

Изгнавший любимца Куренков возвращался; он пересек широкую дорогу, пропустив теперь в обратную сторону катящийся пустой троллейбус. Разбитое лицо ныло. Он уже видел веселые окна, где продолжалось гулянье. Из приоткрытого окна Шурочка, высунувшись, грозила ему кулаком.

Некоторое время Куренков ходил виноватый — самое постыдное — это, конечно, перепить и подраться на Новый

год. И ведь человек тридцати лет, не мальчишка. Особенно же он виноватился перед Шурочкой; смирный и кающийся, он лишь изредка пытался в свое оправдание что-то сказать.

— Ну Шура, — говорил он негромко, — ну почему же одному все можно — и деньги и похвальба. А его еще любят, унижаются...

Такая у него была манера объяснять и оправдываться, но Шурочка быстро его прижала: это кто же перед Тюриным унижался? Чего это ты выдумываешь?.. Василия Тюрина любили, верно, но никто не унижался. Тогда Куренков завилял: мол, выпил лишнего и не знаю, мол, как получилось, но от его виляньья Шурочка, как всегда, вошла в еще больший гнев. Она даже ударила его своей сильной рукой по шее. Она хлестнула, он, как всегда, стерпел и смолчал.

— Да что ж ты за выродок такой! — говорила Шурочка в гневе, а он сидел напротив нее притихший.

Объяснение было долгим.

— Поверила бы, если б не знала тебя!.. Но ведь не первый, не первый раз! Ведь я-то тебя знаю! — вскрикивала Шурочка, а он помалкивал и все кивал головой: да, виноват.

Когда Шурочка говорила: вправьте же ему мозги! — друзья ее не понимали. Шурочка даже вышла из себя, напомнив им кое-какие случаи, происшедшие с Куренковым, но для них эти случаи не стояли в одном ряду. «С кем чего не бывает?», «Да ты спятила — чего ты Толика тиранишь?» Друзья детства не придавали значения его срывам, очень к тому же редким. «Нельзя уж и выпить мужику». Они и впрямь считали, что он попросту выпил лишнего, бывает же.

Более того, жена Алика Зимина назвала Шурочку занудой. Время от времени они все жаловались друг дружке на своих мужей — жены и есть жены, но в жа-

лобе надо знать меру. Шурочка, на взгляд жены Алика Зимина, перегибала.

— Да живи ты спокойнее! — говорила она.

Но Шурочка не могла жить спокойной, зная из рассказов Толика, как возникает в нем жгучая неприязнь к человеку и как он ничего не может с собой поделать. В прошлом, что ли, году или в позапрошлом он озлобился на какого-то удачника до такой степени, что сам своей злобы испугался: ночью, в постели, он вдруг сел и говорит Шурочке:

— Завтра не пускай меня туда, Шура... Не пускай! — И она не пустила.

Шурочка позвонила свекрови.

— Мама, — так Шурочка называла свекровь. — Толик опять подрался.

— О господи!

— Мама, раз ему сошло с рук, два сошло — но ведь в конце концов он попадет в тюрьму!

Свекровь жила за городом. Она пообещала приехать и поговорить, но не приехала. Даже и она, мать, судя по ее вздохам, думала, что случилась обычная драка по пьянке, советовала не давать пить, особенно же не давать опохмеляться, а про себя полагала, что годам к сорока у сына это пройдет. Никто не понимал Шурочку. В телевизионном ателье Шурочка сидела на приемке, место ее считалось бойким и модным, но ведь с клиентом не поговоришь. Наконец народ схлынул. Мастера, удалившись в бытовку, в глубине ателье застучали в домино. Шурочка расслабилась. Слева от длинного приемочного стола стояли три телевизора напоказ (в центре цветной — мол, какова работа!), по всем по трем гнали вчерашний хоккей, и свист был, хоть зажимай уши.

Но если выключить было нельзя, убрать звук на время было можно.

Старый мастер, когда Шурочка рассказала о муже, покачал головой:

— Н-да. Он у тебя самолюбивый.

— Да нет же! Нет! — И Шурочка в который уже раз объяснила, что Куренков вовсе не самолюбивый и не обидчивый даже.

И разумеется, как только представилась возможность, Шурочка примчалась к любимому человеку — к кинокритику Панову; это был интеллигентный мужчина лет сорока пяти, когда-то давным-давно принесший к ним в ателье телевизор и сразу же познакомившийся. Кинокритик женился поздно и, как он сам говорил, еще не до конца растворился в своей семье. Он частенько отправлял жену с маленькими детьми отдохнуть к морю или к теще в деревню и сам тоже, как он говорил, отдыхал душой, если Шурочка к нему приходила. И конечно же, Шурочка ему больше и чаще, чем другим, рассказывала про своего Куренкова.

Так, мол, и так, опять подрался, сообщила Шурочка, едва поздоровалась, и заплакала, на что кинокритик Панов промолчал. Затем он погладил красивые усы с сединой и сказал:

— Да он же дегенерат у тебя. Сдай его в психушку.

— Но-но, — сказала Шурочка, вспыхнув, — уж прямо сразу и в психушку!

Кинокритик поспешно вздохнул:

— Извини.

Разговор у них не всегда получался сразу. Помолчали, после чего Панов покурил и ласково прикоснулся к Шурочке, он вообще был человек ласковый и добрый. Но Шурочке сейчас не ласки хотелось, хотелось поговорить, и Шурочка решительно сказала ему про кофе — хочу, мол, кофе, и когда он пошел на кухню варить, она по любимой своей привычке забралась в постель. Разговаривая, оба они с некоторых пор пили кофе в постели. Он принес две чашечки на красивом подносе, на котором был нарисован город Рига, и, прихлебывая обжигающий сладкий напиток, Шура напомнила:

— Он у меня не какой-нибудь чудик, с идиотом я и жить бы не стала. (Она напомнила, что у ее Толика особый характер.)

Кинокритик Панов иронически хмыкнул, однако ничего серьезного сказать или подсказать в этот раз не сумел — буркнул лишь общие слова, с возрастом, мол, все проходит. Это Шурочка и сама знала. И потребовала, чтобы он вник, а не отмахивался. Тогда Панов сказал ей другое — может быть, ей не тащить крест до самой горы. Может быть, Шурочке, если уж она так боится, развестись да и выйти замуж за кого другого, за сверстника. Пока она молодая, добавил он ласково, и на это Шурочка вновь рассердилась и напомнила ему, непонятливому, что боится она не за себя, а за Куренкова, она Куренкова любит и едва ли на кого-то променяет.

— Ведь сам по себе он человек смирный. И дочку любит. И между прочим, как ты — музыку любит.

— Музыку?

— Да... — И Шурочка в десятый, кажется, раз повторила, что ее Куренков месяц-другой, бывает, пьет, но сантехник он хороший, не пьяница и не калымщик, вымогающий у хозяев рубли.

Кинокритик Панов проводил Шурочку, как всегда, до троллейбуса, он постоял и посмотрел ей вслед. Она из троллейбуса махала ладошкой, хотя ее толкали. Панов подумал о ней и о Толике Куренкове, которого никогда в жизни не видел: он подумал, как хороши драмы в кино и как нехороши в жизни, когда они в двух шагах от нас.

Дома Куренков только-только покормил дочку ужином, после чего он и дочка вместе мыли посуду. Сам Куренков был такой покладистый, смирный, что сердце у Шурочки подтаяло. Смуглота с его лица сошла, и худым он не казался: он казался обычным. Шурочка кинулась было сказать ему что-то ласковое, но передумала: новогодняя драка была еще слишком свежа в памяти, надо было выдержать строгость, и Шурочка сказала:

— Ты, Куренков, смотри мне!

Он кивнул. Он мыл посуду и кивнул ей: ты, мол, Куренкова, за меня не бойся теперь. И улыбнулся, тихий.

Однако прошло месяца три, ну четыре, и вот ясным весенним днем Шурочка позвонила с работы кинокритику Панову и сказала, что, кажется, началось опять: ее Куренков копит злобу.

— Ты не скучаешь в жизни, — ответил Панов, уже привычно вздохнув. Он как бы тоже нес часть ее креста. Говоря с ней по телефону, он не забывал, что иногда Шурочка сидит у него в постели и в обнаженных руках держит чашечку кофе.

Панов предположил: слушай, а ведь возможно, что твой Толик ревнует вашу компанию к новеньким. Возможно, что он (даже и неосознанно) оберегает друзей детства и саму память о детстве — такое бывает, есть даже особая разновидность психического смещения (он не сказал — заболевания). Но Шурочка возразила. Шурочка сказала: нет. Это верно, что они дружны, можно сказать, с детства, однако же компания — год от года — расширялась, и не ко всем же Куренков ревновал.

Шурочка вспомнила, как в детстве они ездили за грибами. Шурочка поссорилась тогда с Анькой, будущей женой Алика Зимина, — а Алик и Генка Скобелев их, девочек, мирили. Вдруг все заохали: Толик в кустах распорол ногу ржавой консервной банкой. Толик пытался отсосать кровь, но никак не мог попасть пяткой себе в рот. Все корчились от смеха. Пятку тщательно промыли, после чего Алик Зимин и Шурочка отсасывали ему кровь попеременно. Другие не захотели.

Ранка была похожа на темные выпятившиеся губы. Толик без передышки кричал, что ему щекотно. Он сидел возле пня, голову свесил набок — она у него лежала на правом плече, а длинные белые волосы ниспадали. Он тогда редко стригся.

3

— ...Разве этот Сыропевцев лучше всех? — спрашивал Куренков и сдувал пену с кружки. Он хотел выговориться.

Они пили пиво у палатки, где определилось с годами любимое их место, лучшее, как они считали, в районе и вообще лучшее в огромном городе место. Это было естественное возвышение, покрытое отчасти декоративной зеленью и кустами, да и сама палатка была чиста и опрятна. В придачу был вид: внизу растекалась широкая, с размахом, площадь, где троллейбусы делали круг и где люди, с их авоськами и портфелями, четко видные, шли туда и обратно. Люди, если на миг их остановить, были как на картине.

— Разве этот Сыропевцев лучше всех?.. Он и то. Он и се. Всюду лезет, хоть его не просят.

Алик Зимин усмехнулся:

— Ну любит мужик показаться, ну и что?

Улыбнулся и Гена Скобелев, прикончив кружку:

— Чего это ты взъелся на него — неужели завидуешь?

Алик добавил:

— Как только возле нас появляется мужик с «Жигулями» — он тебе как кость в горле!

Куренков от такого ответа даже растерялся: он мог поклясться, что «Жигули» тут ни при чем. Бывало, что Куренков не любил человека, но он никогда никому не завидовал, чего-чего, а этого дерьма в нем не водилось.

— Не завидую я — просто смотреть противно, как вы ему зад лижете.

Они не обиделись, они посмеялись, а Алик Зимин похлопал Куренкова по плечу. Тут подошла сзади Шурочка, которая приближалась к ним медленно, чтобы их разговор услышать, пусть обрывки. И кажется, она услышала. Шурочка сказала ему — иди-ка домой, хотя и знала, что он любит вот так постоять с друзьями. Она повысила го-

лос — иди домой!.. И Куренков, конечно, пошел, но сначала Шурочка заставила его пойти с ней в магазин, пусть потащит сумки.

Дома он молчал, и тогда Шурочка прямо спросила:

— Уже взъелся — на Сыропевцева?

Он не ответил; погремев посудой, Шурочка уткнулась в телевизор. Перед сном Шурочка любила посмотреть фильм, поза у нее была излюбленная: она наваливалась большой своей грудью на стол и подпирала голову рукой. Женщина она была крупная, и как только принимала любимую позу, на их маленькой кухне делалось тесно. Фильм был о войне.

— Дай же пройти... — сказал Куренков сердито, вставая и протискиваясь сзади Шурочки за чашкой чая.

— И ведь не с кем-нибудь, а с Олькой Злотовой гуляет...

Это у него вдруг вырвалось (про Сыропевцева), и Шурочка тут же забила крыльями:

— Да что ж ты на него взъелся, зараза! Красивый же мужик, хочет — и гуляет! Она ж разведенная!

Куренков замолчал, прикусил язык. Досмотрев фильм, жена легла спать. И дочка легла. А он все думал о том же, растил злобу, пока не спохватился: вот ведь несчастье!.. Он лег, но не спал, ворочался и все трогал свою несильную грудную клетку: жжение начиналось в области живота, но Куренков знал, что теперь оно будет подыматься, день ото дня забирая все ближе к сердцу. Он вдруг заныл как от зубной боли.

Утром, когда они выходили из дома, возле почтовых ящиков их как бы приостановил сосед Туковский, человек пожилой и умный. Звали его Виктор Викторович. Когда-то по молодости Туковский дважды отбывал в заключении срок. Известно было, что он насмотрелся там разного и что глаз у него наметанный. Нет, сначала он просто вынул из своего почтового ящика газеты. По-со-

седски поздоровавшись и немного с Шурочкой поговорив, он буквально ни с того ни с сего обратился к Куренкову — хороший, мол, ты парень, Толик, однако по твоему поведению (прости меня, старика) и даже по лицу твоему я читаю — сидеть тебе в тюрьме.

— Почему это? — спросил Куренков, и Туковский смутился, а потом (отвечать было что-то нужно) невесело и как-то неохотно добавил, что судьбу, мол, не объедешь, хоть и будь вдвойне осторожен.

— Ни мать, ни отец у меня не сидели — и я не сяду, — отчасти даже с обидой и вызовом бросил ему Куренков, а тот только покачал головой.

И уже для Шурочки заметил:

— Следи за ним, Шура...

— Не ваше дело! Пожилой человек, а такие вещи говорите!.. — огрызнулась тогда и Шурочка, хотя разговор шел вполне спокойный и добрососедский.

Виктор Викторович Туковский настаивать, конечно, не стал. Он тут же кивнул — разумеется, мол, дело не мое, и, пожалуйста, извините. Туковский с газетами даже и заспешил, ушел. Он поднялся на свой пятый этаж и, может быть, уже забыл, что сказал, ведь утренние разговоры зачастую бывают лишь от настроения. Но именно после того, как бывалый сосед так нехорошо накаркал, Шурочка сделалась неспокойна, она позвонила своему любимому человеку Панову и сказала, что волнуется и что Куренков, кажется, опять копит зло; тогда-то кинокритик, вздохнув, ответил:

— Да, Шурочка. Ты не скучаешь в жизни...

Сговорившись, она пришла к кинокритику домой. Они немного выпили, а помиловались и того меньше, после чего Шурочка сразу же заговорила о своем и наболевшем: боюсь, мол, Толик мой сядет в тюрьму. Как быть и что тут можно поделать, если бывшие зеки его уже сейчас за своего принимают. Боюсь, что сядет, повторяла она. Голос ее дрожал, а Панов неделикатно спросил:

— Как — он не сидел еще?

— Никогда!

— Разве? — переспросил кинокритик, и тут они с Шурочкой поссорились. Она даже обиделась. Не раз и не пять она рассказывала ему от самого детства чуть ли не всю свою жизнь, он же ее слова и рассказы забывал, или не помнил, или просто путал: он как бы любил не разговоры с Шурочкой, а ее саму. Шурочка же разговорам с умным, тонким человеком придавала большое значение и, можно сказать, за них-то Панова и полюбила. Правда, и одевался он замечательно, со вкусом. Против этого она тоже не могла устоять.

Шурочка вновь напомнила: ее Куренков человек смирный, спокойный, но иногда (раз в год, раз в два года) он как бы ревнует и вдруг начинает копить зло на человека, который излишне выделяется. Если кто-то над другим возвышается — он его не любит. Если Василий Тюрин выделялся, скажем, модной болтовней, беспечностью, а также некоторым излишком денег, которые бросал направо и налево, то еще более ясно выделялся появившийся в их компании инженер Сыропевцев: он был красив. К тому же Сыропевцев тоже был с машиной.

— Того он не любит, этого не любит — скажи, а не много ли он себе позволяет?

— Ты у него это спроси.

Закурив, кинокритик сказал:

— Думаю, что он завистник.

— Э, нет.

— Он просто умеет это скрыть...

— Вот и нет! — рассердилась Шурочка (Панов к этой минуте разместился на тахте, покуривая и свесив ноги, а Шурочка полулежала.) В гневе Шурочка вскочила с постели и, взмахивая рукой, рассказывала про равнодушие Куренкова к деньгам, к тряпкам, про его безразличие к машине.

Объяснила она и про жжение в груди: средоточие скапливающейся на кого-нибудь злобы. И про то, как он худеет и заболевает.

— А ведь он у тебя антилидер! — воскликнул на этот раз Панов.

— Что это такое?.. Психопат?

— Что-то вроде. — Панов кивнул. И тут же Панов спросил: а в детстве, мол, и в школе не поколачивал ли Куренков отличников, а также красивых мальчиков, нравящихся школьницам. Не был ли он в детстве обдуманно драчлив? Есть, мол, такой печально известный (даже и страшноватый) человеческий тип, проявляющийся с раннего детства. Шурочка, не споря, сказала бы: да, да! — однако и тут Панов не угадал. Куренков и Шурочка росли вместе, в одном дворе, Толик был мальчик спокойный, не драчливый и уж точно, что к смазливым отличникам не приставал. Она бы заметила. Она и девочкой была наблюдательна.

— А все-таки это связано с детством, — стоял на своем Панов.

Шурочка взволновалась, ее била дрожь; на улице она натыкалась на старушек. Вернувшись домой, сказала:

— А знаешь, Куренков, что говорят про тебя умные люди — антилидер ты.

Он сразу и сник.

— Кто говорит?

— Ну уж кто говорит, тот знает.

Шурочка специально припугнула его незнакомым словом, чтобы он следил за собой.

А до встречи с Пановым Шурочка ездила за свиными ножками для холодца по случаю дня рождения у Маринки Князевой. Ножки она купила неожиданно быстро. И морковь купила — времени оказалось много, и вот тогда-то Шурочка отправилась к Панову, чьи мягкие разговоры успокаивали ее лучше всякой валерьянки. Она примчалась к нему как на крыльях, она уже на пороге была в слезах:

— Душа болит...

Она предчувствовала плохое, она жаловалась ему —

а Панов, намекая, договорился до того, что ее Толик чуть ли не с детства был подпорчен и плох.

— Ты прямо счастлив записать его в психи.

— Счастлив я или несчастлив — не в этом сейчас дело. Когда этот день рождения? (Шурочка боялась, что именно на дне рождения Куренков сорвется.)

— Послезавтра...

Панов попивал понемногу коньяк; выпив очередную рюмку, он усмехнулся:

— Глупенькая ты, Шурочка. Чем скорее его упекут, если он и правда такой, тем лучше. Для тебя же лучше. Сколько можно жить на вулкане?!

Но тут и Шурочка взвилась:

— Упекут? — сказала. — Ишь, какой быстрый!.. Люблю я его, он мой муж — ты не забыл это? Семья — это семья, нам еще дочку на ноги ставить!

Он помягчел, стал успокаивать:

— В каком классе у тебя дочка? — Он был забывчивый, одно и то же она ему рассказывала по многу раз.

— В каком, в каком — в шестом!

Панов помягчел, вздохнул, сочувствуя Шурочке, а потом включил магнитофон; он хотел послушать и музыкой немного отвлечься, а на записи неожиданно оказалась та самая песня, какую любили петь ее Толик вместе с Аликом Зиминым, Шурочку тут же прошибла слеза. Шурочка села на постели, уткнула лицо в ладони. Панов решил, что растрогала песня, стал говорить, какая Шурочка чуткая к музыке, какая она нежная и женственная. От его ласки Шурочка растрогалась еще больше, слезы так и лились, а пора было идти, она уже засиделась. Одевалась она наспех, она одевалась, а он, неловкий, ее целовал. Он тоже, в общем, расчувствовался. Когда Шурочка вышла, выяснилось, что она забыла у него в холодильнике свиные ножки. Она вернулась уже с улицы. Она запыхалась.

И вот тут, увидев ее вновь, Панов, как бы осененный, сказал ей — поговори, мол, Шурочка, со своим Толиком в открытую. Панов рассуждал так: Куренкову, быть мо-

жет, не хватает именно участия. Пусть-ка он откроется Шурочке, пусть доверится.

— Что? — переспросила Шурочка. Она поняла не сразу; она запихивала сверток в сумку и тяжело дышала.

Но разговор в открытую пришлось отложить, пришел Алик Зимин с женой, от Ани Зиминой пахло дорогими духами. Вчетвером они выпили водки, посидели, посумерничали — две семьи, это всегда чудесно. Сначала Алик играл им на саксофоне, потом на гитаре, — Куренков любил вот так послушать, Шурочка и сама обожала такие минуты, она сидела в обнимку с женой Алика, и мужья захмелевшие сидели рядом. Надвигающаяся беда забылась. Шурочке стало хорошо: казалось, что завтра будет утро, и небо совсем очистится, и брызнет голубизна, что хоть глаза закрывай.

Когда проводили припозднившихся гостей, Шурочка, вся еще в настроении, легла и приластилась к нему, Толик, Толик, говорила она, а он отвернулся к стене. Такого никогда не бывало, и Шурочка вспылила. Такой-сякой, кричала она (шепотом), наелся где-то на стороне, а теперь на жену не глядишь?.. В сердцах Шурочка столкнула его с кровати. Он ушел на кухню. Он ушел и курил там до желтизны. Но Шурочка и туда пошла за ним: сознайся, мол. Она еще раз толкнула его в спину. Он молчал, курил, и тогда Шурочка стала бить посуду: она хлопала об пол одну за другой чайные чашки, пока дочка, допоздна в своей комнате зубрившая басню, не вбежала с криком: «Мама! мама!..» — «Ложись спать!» Та ушла, что-то вскрикивая. И только тут Шурочка наконец успокоилась, утихла. Скрыв вздох, она замела в угол побитое. К счастью, дочка скоро уснула. Они тоже легли. Они лежали, отвернувшись друг от друга.

Они долго молчали, потом, вдруг повернувшись, Шурочка прошептала ему прямо в ухо: «Смотри, если Сыропевцева хоть пальцем тронешь! Не хочу быть замужем за

зеком!..» — И Куренкова передернуло от того, что Шурочка прочла его мысли, как свои. Он весь сжался в комок. Молчал. Потом его забило мелкой дрожью. Он повернулся к Шурочке, стал говорливый и ласковый, но Шурочка уж и не хотела, какая там ласка, когда пора спать. И тут она вспомнила совет Панова. Она стала мягкой, нежной, зашептала:

— Толик... Скажи, скажи, что задумал... Доверься.

Она целовала его в шею, нежно гладила, и он открылся, что да, опять жжет грудь и что он боится срыва, особенно же когда они пойдут на день рождения. «Ах, Толик...» — шептала Шурочка, пораженная тем, как правильно работало предчувствие и как дорог совет любимого человека. Панов был умница. Но до чего ж Толик оказался скрытен (ведь она как просила обойтись без стычки, умоляла)...

— ...Я уж собрался завтра париться, и чтоб ты спинку мне потерла.

— Толик!

— Не трону его, не трону! Обещаю. Я ведь рассказываю тебе, чтоб знала...

Они оба обрадовались, она — его доверию, он — ее готовности его понять. Они называли друг друга ласковыми словами. Они долго и сбивчиво говорили и даже вдруг проголодались — полуголые выскочили из постели, пошли в поздний тот час на кухню, но и там, поставив чайник, нарезав колбасы, говорили вперебой: «Не пойду я на день рождения...» — «Скажись больным». — «Ну да — так и сделаем!» — «Как же я люблю тебя, Толик, когда ты добрый. Как же я люблю!» — всхлипывала Шурочка, сбросившая с плеч беду, счастливая, и он, счастливый, ей отвечал: «А я?.. Я тоже люблю».

Марине Князевой удалось отправить дочь к бабке, и без дочки можно будет погулять вволю, хоть допоздна, о чем Марина и сообщила звонком. Шурочка, купившая свиные ножки, взялась сварить холодец. Она, мол, холодец, но Маринка пусть спечет свой замечательный пирог

с капустой, она умеет. Если Маринка расстарается, пирог будет замечательный, а помогать ей сделать стол придет жена Алика Зимина, ну а выпивку, конечно, организуют мужики. В их магазине водки может не оказаться, пусть тогда Сыропевцев с Олькой Злотовой съездят в центр, запасутся, деньги сочтем после. Сыропевцев на машине, и, стало быть, логично, что за водкой поедут они. Тем самым они с Олькой тоже примут участие. Шурочка хлопотала, советовала, а сердце у нее все сжималось: сердце ныло.

Толик сказался больным уже с утра, как ни уговаривали его друзья и как ни обижалась Маринка. Толик держался хорошо, однако день был длинный — день еще не кончился. Шурочка Куренкова варила холодец, отвлекая себя суетой, и пила валерьянку, прибрав уже к обеду весь пузырек. К вечеру она была предельно взвинчена — приходил упрашивать Алик Зимин, но и тут Толик, молодец, удержался! Отчасти помогло то, что Толик и впрямь заболел. Лицом потемневший еще больше, он вдруг плохо себя почувствовал. Его знобило. И температура, как бы тоже с ним сговорившись, скакнула к тридцати восьми.

Он обрадовался, когда узнал про температуру. Он сказал, как у них водилось:

— Ты, Куренкова, теперь не бойсь... — и стал раздеваться. Он лег в постель в ранний час.

Он велел дочке поужинать, а сам ужинать не стал. Он лежал в постели, посмотрел по телевизору футбол, и то не до конца, слишком знобило. День рождения у Маринки тем временем шел полным ходом. Там были и Оля Злотова, и Сыропевцев, и Алик Зимин с саксофоном и с гитарой, и Гена Скобелев, который всегда являлся со своей косенькой женой. Шурочка отнесла им холодец, посидела там час, махнула несколько рюмочек — и домой. Нет, сначала все вместе они позвонили оттуда: пьем, мол, твое здоровье, Толик, поправляйся без промедления. Они услышали его голос, а потом в трубке была тишина. И мигом Шурочка помчалась домой, — благо все они жили

близко, старая и нераспавшаяся московская компания. Когда Шурочка прибежала, Куренков в постели бредил, бормотал какую-то чепуху. Он говорил о своих прошлых загулах на стороне, о каких-то женщинах. Он весь горел.

В ночь случился кризис, температура упала, и утром Куренков лежал в постели весь слабый, но уже улыбающийся. Шурочка в телеателье не пошла, она сидела рядом, подавая Толику чай и рассказывая, как вчера у Маринки Князевой пили за его здоровье. Его интересовало, как там было и кто был. Шурочка рассказала обстоятельно, со вкусом.

— Да, — вздыхал он, — не повезло мне.

А Шурочка думала — тебе-то, может, и не повезло. А ей, Шурочке, уж точно повезло. И Сыропевцеву повезло, и Оле Злотовой — всем им, можно сказать, повезло.

И все же он сорвался, и Шурочка впервые тогда подумала, что, может быть, и правда, судьбу не объедешь (для Шурочки случившееся было слишком внезапным). Скопившийся в Куренкове и как бы неисшедший заряд зла дал себя знать: не прошло и недели, как он, слабый еще, ввязался в автобусную драку, которая затем, скатываясь по ступенькам, превратилась в драку уличную. Куренков никого там не знал, и зачем он ввязался — непонятно. Когда его сбили, он упал на асфальт и, пинаемый, пустил в ход какой-то жесткий предмет, оказавшийся под рукой. Такая вот случайность.

После выяснилось, что на асфальте лежала ножка изящного журнального столика, кем-то в сутолоке выроненная или утерянная. В зале суда изящная ножка, будучи поднятой, гляделась как палица. Суд был скор и справедлив. В числе других подравшихся Куренкову дали два года тюрьмы, но с отбыванием по смягченной системе: один плюс один.

На суде он выглядел потерянным: он никогда не дрался в автобусах и не понимал, как это с ним случилось.

Народу было немного, пришли только друзья. Шурочка ревела чуть ли не в голос: она досидела до конца. Опухшая и некрасивая, когда им разрешили свидание, она без конца спрашивала:

— Толик! Толик!.. Ну как же так?!

Он неуверенно разводил руками; остриженный, он таращил глаза: не знаю, мол, как вышло — он тоже коротко всхлипнул, когда заговорили о дочке.

Панов утешил Шурочку, был к ней очень внимателен, и в частности он объяснил, что случившееся — к лучшему, как это ни горько. Все равно однажды кончилось бы тюрьмой, так что Шурочка может считать, что мелкая уличная драка могла быть кровавей, а исход — хуже, и пусть-ка в тюрьме Куренков, пока не поздно, определит себя и поймет. Он неглуп: ему есть о чем подумать. Надо радоваться еще случаю. Могло быть, что в конце концов он изувечил бы какого-нибудь интересного, яркого человека, он же именно таких людей не любил и на таких именно копил злобу — это ли лучше?.. «Получается — туда ему и дорога?» — спросила Шурочка. «Я так не сказал». — «Получается — туда и дорога», — повторила Шурочка с горечью и с болью, не умея никак смириться с мыслью, что лучшее место для ее Толика — тюрьма.

Она написала ему письмо в Восточную Сибирь, полное разных ласковых слов и принятых меж ними, и новых, которые она сочиняла, глотая слезы. Завершалось письмо главным, а главное сейчас было — вернуться живым и здоровым. Это значило, что уж теперь, там, он должен, наконец, вести себя сдержанно. «Ты, Куренков, смотри...»

Он ответил, что, конечно, привыкнуть ему здесь непросто, а все же и здесь люди, и он привыкает. А вот плохо спит, и беспокоится она напрасно, в том смысле

все хорошо, и тоже закончил письмо обычным у них выражением: «Ты, Куренкова, не бойсь...»

Свидание им не разрешили, так что Шурочка писала ему письма и отправляла посылки. И конечно, она передавала ему приветы от друзей, Туковский Виктор Викторович, сосед, посмотрев обратный адрес Толика, сказал Шурочке, что да, пусть она не волнуется, таков режим — свидание им разрешат на следующий год.

Когда Толик и она, дружившие с детства, поженились, это было так просто, так естественно, что Шурочке подумалось, что ничего не произошло. Они даже и свадьбы не устраивали. После загса выпили у Зиминых, потом у Гены Скобелева. А потом пошли в кино. Они посмотрели потрясающую французскую кинокомедию, Шурочка много смеялась и была счастлива. Она и тогда обожала кино. Когда фильм кончился, Шурочка на обычном их повороте улицы сказала Куренкову:

— Ну, пока.

— По-моему, ты кое-что забыла. — Он засмеялся.

— Ой! — Она спохватилась.

И тут они оба громко засмеялись.

4

Свой второй год Куренков отбывал уже как бы на воле — в трехстах километрах от ИТК, в маленьком сибирском городке. Он и там был работящий и старательный. Он и там был смирный. Он работал по своей же специальности слесарем-сантехником и без всякой охраны. У него лишь не имелось права выезда из этого городка, где каждую неделю надо было отмечаться в отделении милиции.

Можно было и повидаться. Уже было ясно, что свидание дадут. Уже и Алик Зимин спрашивал с нетерпением в голосе:

— Чего это ты, Шура, к нему не едешь?

Посылка, которую они, друзья, собрали, была замечательной.

И Гена Скобелев, и Маринка Князева — все они говорили: поезжай, передай привет, навести его, но Шурочка все не ехала. Она ждала. Дело в том, что Туковский, который больше понимал в Толике, советовал использовать право на свидание не сейчас, а попозже — когда возникнет необходимость.

— Когда же она возникнет? — спрашивала Шурочка.

— Сама почувствуешь, — отвечал ей бывалый сосед. (Это же советовал и Панов, повторявший, что свидание не для того, чтобы повидать, а для того, чтобы помочь. Они с Туковским как бы сговорились, хотя даже и не знали друг друга.)

И точно: однажды письмо Куренкова пришло вдруг сухое и короткое, и сердце у Шурочки стало знакомо ныть.

Испросив себе тут же отпуск и оставив дочку под присмотром Оли Злотовой, Шурочка пустилась в долгую дорогу. Сердце не обмануло: Толик заметно похудел и лицом был темен. При встрече у Шурочки стучало в висках, она плакала.

Жил Толик в бараке, с соседом по комнате, и на те три дня, что Шурочка приехала, начальство переселило Тетерина к кому-то другому, чтобы Куренковы чувствовали себя лучше и проще, — но Шурочка не чувствовала себя лучше. Верно, что и здесь были люди как люди, но именно ее Толик почему-то оказался в отвратительном окружении, где главенствовал и куражился некто Большаков. (За грабежи отсидев, Большаков тоже ожидал теперь выхода на волю.) Это был здоровенный мужик, с крупными волосатыми руками и мохнатой грудью, встретившийся Шурочке в коридоре барака и без особых раз-

думий сказавший ей игривое словцо. Шурочка тогда же назвала его хамом. Она назвала его хамом и даже замахнулась.

Грабитель средней руки, Большаков перед выходом на волю хотел казаться бандитом и для того помыкал окружающими его людьми, пугал их и с особым удовольствием чинил всякие мелкие расправы. Он умел внушать страх. Чуть ли не с упоением бил он неуплативших или, скажем, задержавших денежный долг, бил он и попрошаек, и просто забредших в барак, клянчащих двадцать копеек на пиво — именно что куражился в последние свои дни перед волей. На воле Большаков (он охотно говорил об этом) собирался быть гражданином вполне честным и исправившимся. Более того, он собирался навсегда забыть прошлое. У него была хорошая жена, взрослеющие и умные дети. Так что шли последние деньки. В ресторанчике «Восток», единственном в городишке, Большаков и вовсе держался хозяином. Лариса, старшая официантка, была его сожительницей.

Ресторанчик оказался дыра дырой, и оркестр плохонький, так что Шурочка, когда они все туда пришли, сказала, поморщившись, что не танцует вообще: не умеет. Но все прочие были веселы, взвинчены. В скором времени их ожидала воля и возвращение к родным — в паршивеньком ресторанчике, к вечеру, это особенно чувствовалось. Ели они хорошо, много, даже и ее Куренков ел, как никогда не ел дома. А вольготно развалившийся Большаков наслаждался жизнью: глядя поверх бутылок и закусок, он повелел своему подлипале Рафику:

— Станцуй с Надей, Рафик. Официантка тоже человек, и ей тоже хочется.

Затем он и Куренкову сказал:

— А ты, Толя, мою обслужи — потанцуй, она это любит. Я сегодня что-то отяжелел.

Рафик ушел танцевать. И Куренков станцевал с Ларисой, с сожительницей Большакова, хотя Шурочка чув-

ствовала, что Толику такое не нравится. Не могло ему нравиться, и ей ли не знать. Рядом с Шурочкой сидел за столом Тетерин — крутолобый, лысеющий и сильный мужчина, а ведь тоже поддакивал Большакову, как юнец или прихлебатель. Шурочка их всех разглядела. Куренков, станцевав, вернулся, однако оркестр играл и играл не переставая, и, вероятно, чтобы Большаков не послал его вновь, Куренков, опережая, сказал:

— Больше танцевать не буду... Чего это ты, Вячеслав Петрович, пахана из себя строишь?

Большаков глянул на него лениво и недовольно — тебе, мол, что? Большаков хмыкнул, а Куренков (он вдруг потемнел) уже раскрыл рот, чтобы сказать что-то ядовитое, но Шурочка была начеку, Шурочка так двинула его ногой и так зыркнула глазами, что ее Толик мигом смолк. Вот и хорошо. Вот и ладно... Смолкнувший, он выпил стопку, сидел смирно, и все же Шурочка уследила, как чуть позже он держался за живот, унимая там свое жжение.

Когда после ресторана вернулись в барак (и едва пришли в комнату и остались одни), Шурочка сказала Куренкову напрямик: терпи! Вернешься домой, дело другое, пусть жжет, если уж ты без этого не можешь. А здесь терпи, потому что Большаков — это тебе не Сыропевцев и не прочие... Шурочка уже не расспрашивала, как и что. Она уже вполне знала мужа. Шурочка и Куренков лежали на жесткой казенной постели, было тихо, и она увещевала мужа, не жалея ни слов, ни времени:

— Смотри мне. Я, Толик, твою коварную натуру знаю! — И, приподнявшись на подушке, она грозила крепким своим кулаком.

Когда на следующий день Большаков, куражась и пьянствуя, кликнул Куренкова к себе в комнату, чтобы выпить вместе винца, Шурочка и тут была осторожна — зовут, надо идти, и нечего морду кислить. Тем более что близко: пять шагов по коридору. Шурочка даже настаивала. Не зли, мол, его, Толик: посидишь, выпьешь стоп-

ку и уйдешь потихоньку. Шурочка подкрасилась, пошла с ним: одного его она не оставляла, не за тем приехала. Они пришли. Большаков уже пил, и, конечно, бахвалился, и заставлял Рафика плясать лезгинку, которую тот никогда в жизни не плясал. В их поселение вино и водка практически не привозились. Но здесь было и то и другое. Шурочка не спускала с Куренкова глаз. Она как бы учила его: если хочешь вернуться живым, стерпишь, не маленький, не надо было сюда попадать. И верно: попили у Большакова и даже попели, провели время.

Уже хотели расходиться, когда Рафик, возбужденный и от очередной лезгинки весь мокрый, пожаловался. Он ныл, что жизнь здесь ограниченная и милицией скованная, а к тому же местный парикмахер отбивает у него, у Рафика, любимую женщину. Кажется, он говорил о Наде, официантке. Жалоба была принята. Большаков, вальяжный и сытый, решил навести порядок; он поднялся с места. И все они поднялись и тоже как бы пошли приструнивать здешнего фигаро. Парикмахер жил недалеко.

Шурочка не пошла бы и Куренкова бы не пустила, посидели два часа за винцом — и довольно, но Большаков как-то очень мирно, даже интеллигентно, всем им сказал:

— Ну что, друзья, продышимся пять минут на воздухе — и заодно с фигаро поговорим.

Они пришли в какой-то чистенький и богатый домик. И действительно, дорогой шли они не спеша; и так сладко дышалось сосновым терпковатым духом. А едва вошли, Большаков стал бить парикмахера в собственном его доме, притом сразу же, не помедлив и минуты, — он лишь поздоровался. Онемев, Шурочка так и вцепилась в плечо Куренкова. Все молча смотрели на расправу. Они вошли и стояли у самых дверей. Большаков их для этого и привел — любил, когда видели его силу. Кулаки у него были огромные.

Жена парикмахера убежала в другую комнату, чтобы не видеть, и, закрывая ладонями лицо, ойкала там с

каждым слышным ударом. Когда парикмахер уполз под фикус, Большаков его вытащил, ударив так, чтобы в ту сторону больше не полз. Ногами Большаков не бил. Вероятно, он знал, что может убить; он и руками-то бил вполсилы. «Хватит, Вячеслав Петрович», — взмолился даже и Рафик: красивый его вражина и соперник валялся на полу в самом жутком виде. «Хватит, Вячеслав Петрович...» — «Погоди — немного его кольну», — и Большаков несильно ткнул лежащего в ягодицу ножом, который он как-то очень быстро и ловко извлек из кармана. Красавчик парикмахер лежал на животе. Руками он обхватил голову. Когда кольнули в зад, парикмахер взвизгнул, однако не повернулся и голову не приоткрыл, как не приоткрывают уязвимое место. И опять держал руки на голове. И ждал, когда насытившиеся расправой и его унижением, они уйдут. Они ушли.

В бараке, как бы продолжая вечер, они все вместе вновь сидели у Большакова; Шурочка все еще была как онемевшая — она и пришла машинально, и машинально села за стол. Сидели кружком. Выпивали. Расчувствовавшийся Большаков пустил по рукам фотографии, присланные ему из дома: там всюду был его младший сын, только что женившийся. Похожий на Большакова молодой человек, в полупоклоне и нарядно одетый, надевал своей молодой жене колечко на палец. Была фотография с шампанским. Была с родней. Была фотография, где молодые, покинув наконец загсовскую территорию, садятся в машину с лентами. Эта и впрямь понравилась Куренкову, на фотографии был виден кусок московской улицы — вроде бы очень знакомые дома и палатка вдалеке, кажется, пивная. Разглядывая, хвалили парня, хвалили и невесту, даже и родню одобрили, когда Куренков, остро вдруг затосковавший, вдруг сорвался:

— Ну хватит, хватит, — чего это вы зад ему лижете?

— Кому? — спросил Рафик.

— Кому, кому — обезьяне этой. — Куренков произ-

нес негромко, но четко и в тишине. Большаков слышал, как слышали все. Не сдержавшийся Куренков тут же и вышел, бахнув дверью в гневе то ли на себя, то ли на весь род человеческий, а Шурочка, конечно, помчалась за ним. Она нагнала его здесь же, в коридоре барака: он открывал дверь в комнату.

Шурочка не спала ночь. Подрагивающая, она вся была в тревоге, а назавтра ей было уезжать. Она целовала его, губы тряслись. Лежа рядом, Шурочка то приказывала ему, то слезно просила:

— Толик, сдержись... Ради дочки нашей, слышишь, Толик?!

Он обещал. Он говорил — ладно, ладно. Шурочка то ласкала и нашептывала, то грозила. Она вдруг кричала в тишине спящего барака:

— Смотри мне!..

Утром перед отъездом Шурочка пошла по начальству. Она просила перевести Куренкова в другой барак или даже в другое поселение, пусть совсем глухое. Она не сглупила: она ни на кого не капала, лишь объясняла, что ее Куренков томится на одном месте, томится, мол, и нервничает, возможен срыв. Те удивлялись: да что вы — он, мол, у нас такой смирный, лучше не бывает. Но Шурочка стояла на своем. Шурочка не знала порядков, но знала, что она хорошенькая, и что мужикам нравится, и что одета она по-столичному, а не как-нибудь. Она поулыбалась, она и слезу пустила. Короче, ей пообещали.

Но когда она вернулась, окрыленная, чтобы с Куренковым поговорить и дать ему последний наказ, там, в бараке, уже произошла драка, в которой ее смирный Толик и Большаков обменялись ножевыми ударами. Это было утреннее мгновенно вспыхнувшее и прекратившееся столкновение, оба шли по коридору барака навстречу друг другу, и Толик ударил первым. Можно сказать, что они ударили одновременно. Их растащили. Сразу же выяснилось, что Куренков отделался легче — удар пришелся в плечо, притом что рукой он более или менее

свободно двигал. Большакову, хотя и неглубоко, попало в живот. Их не очень-то и оттаскивали, они разошлись сами, боясь шума и огласки. Каждый сидел в своей комнате.

— Как ты мог! Как ты мог, Толик?! — корила его Шурочка, а он сидел на постели, виноватый, притихший. После срыва он сразу ослабел: и физически и нравственно. Он жалобно каялся: да, мол, случилось. Он бормотал что-то вроде того, что, не ударь он первым, было бы хуже.

Шурочка плакала:

— Ты же обещал, Толик.

Удалось скрыть. Куренков вышел на работу, а Большаков отлеживался в своей комнате, где бывший фельдшер Тетерин промыл ему рану, перевязал и три-четыре дня поколол антибиотиками. Шурочка нервничала: она уезжала и не могла знать, чем все кончится. Задержаться она была не вправе, ей уже предъявили пропуск на выезд.

Вылежавший три дня будто бы с простудой Большаков переменился. Он размяк, все время просил через других передать Куренкову, что никакого зла он на Толика не держит, да и не держал никогда, неужели же Толик этого не знает. Куренков, вкручивая медные краны и гремя ключами, когда ему передавали, сплевывал, пусть, мол, не трясется, не трону я его больше, очень он мне нужен, дерьмо такое. Обошлось и дальше. Все вели себя тихо и осторожно, всем хотелось домой. Было ясно, что за ножевую драку им бы всем добавили без разбору. Отмечаться в отделение милиции температурящий Большаков ходил сам, без провожатого, выказав изрядную волю.

Какой-то слушок о драке все же просочился, а может быть, подействовала просьба Шурочки, так или иначе

Куренкова и впрямь вскоре перевели. Его поселили в совсем уж захудалый сибирский городок. Переведен он был без порицаний. Это могло быть и простым совпадением: из захудалого городишки пришел запрос на нескольких квалифицированных слесарей. Расставшийся с Большаковым и его компанией Куренков написал Шурочке с нового места письмо; он написал, что здесь куда лучше. Место было ему по душе. Он написал, что барак такой же и работа та же, но место красивое, совсем тихое. Была приложена и фотография: Толик округлился, поправился, что было для Шурочки главной теперь приметой. Фото подтверждало.

И все же она написала ему: ты, мол, у меня смотри, Куренков!

Шурочка написала ему также о том, что Галя, их дочка, подросла и что ей предстоит по окончании восьмилетки первый выбор — может быть, она будет кончать десять, а может быть, пойдет в вечерний техникум. А если уж работать, не пойти ли ей в телевизионное ателье, где и Шурочка; работа неплохая, чистая. Письмо становилось бесконечным. Шурочка написала и про друзей, которые передают приветы и ждут его возвращения, теперь уже скорого. Она написала, конечно, про Алика Зимина, у которого родился второй сын. Она написала про Гену Скобелева и даже про Маринку Князеву, у которой денежный новый сожитель.

Не написала Шурочка про другое: про то, что она подурнела. Женщина пухленькая, аккуратная лицом и чистая, Шурочка не была красавицей; она была из тех миловидных женщин, что в тридцать четыре — тридцать пять лет вдруг стареют, иногда по необъяснимой причине. Возможно, сказались заботы. Как-то разом утратив свой игривый облик, Шурочка и подурнела и растолстела излишне. «Обабилась», — говорила она, проходя мимо зеркала в прихожей. Любовь с Пановым тоже закончи-

лась. Можно было считать, что они расстались. Шурочка часто плакала.

Панов хотел с ней видеться все реже, а в последнее время уже с постоянством повторял о своей занятости, хотя Шурочка знала, что его жена с детьми сейчас в отъезде и что удобнее и лучше времени, чтобы поговорить о последнем письме Толика, не будет. И разве она не ценила в Панове прежде всего умного человека? В конце концов, она привыкла с ним советоваться, больше ей не с кем. После нескольких упорных ее звонков кинокритик поговорить согласился, но не иначе как сидя где-нибудь на скамейке в одном из сквериков. А была весна; скамейки едва-едва просохли после капели и мокрых дней. Скамейки еще помнили снег. Слушал Панов Шурочку нехотя, письмо прочитал без интереса, только глазами поводил по строчкам. И сказал:

— У него своя судьба... — И добавил: — Ты напрасно, Шура, так переживаешь и мучаешься за него.

Задушевного разговора не получилось. Шурочка не выговорилась и была как больная, а пойти было не к кому. С друзьями своими, с компанией Алика Зимина и Маринки Князевой, общение было слишком привычное и бытовое, да и не было в них умения вести проницательный разговор. Не умели они вникать в психологию — в тот или иной поступок. Они позвали бы к себе, сказали бы «плюнь на все» и выставили бутылку водки. В лучшем случае Маринка сходила бы с Шурочкой в кино. Это Шурочка могла и сама. Этого ей было не надо. За Шурочкой многие были не прочь поухаживать и в дружбу лезли, но ведь она любила того, кого любила. Она привыкла к его седеющим усам, к его голосу, — и однако же с Пановым был уже конец, был итог, и в горечи Шурочка думала, не сойтись ли, скажем, с журналистом Тереховым — он был тоже интеллигентен и, кажется, умен. В последнее время, без конца принося и унося свой телевизор «Электроника», Терехов вкрадчиво улыбался Шурочке, в глазах было знакомое, вполне понятное — да

и не он один, были другие, разные, работа в ателье давала не только возможность общаться с интеллигентными людьми, но и выбрать из них. Но будет ли с Тереховым так же? Шурочку смущала сама перемена. Шагнуть в сторону непросто. Еще больше смущала перемена в ней самой: утратившая внешность, она утратила былую в себе уверенность. Этот умный Терехов побудет с ней раз-другой, на том и кончится.

— ...Пойду я. Жарко что-то сидеть, — с обидой сказала Шурочка, забирая из его рук письмо и вставая со скамейки.

Панов согласился:

— Да, парит. Весна жаркая.

На дне рождения у жены Гены Скобелева без повода и, что называется, на ровном месте Шурочка вдруг разрыдалась. Друзья детства все повскакали с мест и утешали ее: кто совал валерьянку, кто говорил, хлобыстни полстакана беленькой. Они не любили, когда свои плачут. Они было даже скомкали празднество, но она твердо сказала: нет-нет, будем продолжать. Застолье продолжалось, но теперь пили за Толика, за его возвращение, за Шурочку, будто день рождения был ее днем, а не жены Гены Скобелева. Апельсины, лежавшие горкой, потускнели. И песни, когда Алик Зимин заиграл на саксофоне, пели грустные. Пели о том, как скучают, как тоскуют, как ждут любимого человека и тому подобное.

Возможно, слезы на дне рождения были как бы предчувствием, потому что на третий, что ли, день она получила от Толика письмо, которое ей не понравилось. Письмо было совсем коротенькое и сухое. Шурочка тут же послала ответное письмо, где после многих ласковых слов вывела крупно их обычный возглас: «Ты, Куренков, у меня смотри!..» — и был это слезный крик через расстояние, мольба.

5

Предчувствие продолжало мучить: ночами Шурочка просыпалась от стискивающегося сердца или стремительно вскидывалась вдруг с постели неясно зачем. Поговорить было не с кем. Днем в ателье было одиноко до слез. Она стояла на приемке, народ после обеда пошел вялый, совсем неинтересный, а то и склочный. На трех крупных телевизионных экранах, из которых в середине цветной, показывали приручение дельфина и объясняли, что этот дельфин уже понимает человека. Дельфин прыгал через обруч. А так как три телевизора стояли рядом, получалось, что сразу три дельфина (в середине — бело-голубой) слаженно и четко прыгали через обручи. Казалось, что сразу три дельфина уже понимают человека.

Со слов мастера Шурочка записывала поломки. Она выписывала квитанцию за квитанцией. Народ шел. Народ нес. К горлу подкатила тошнота, и Шурочка поняла, что ей уже невмоготу. Улучив минуту, она ушла, по ту сторону прилавка среди клиентов возникло недовольство, которое скоро перейдет в крики. Но Шурочка решила, что пусть покричат.

Шурочка пошла к старшему мастеру: попросила отпустить. Она заплакала и рассказала про предчувствие — попросила дать ей съездить навестить мужа.

— Но ты ж совсем недавно ездила. И охота тратиться — туда и обратно, дорога какая!

Мастер поворчал, но согласился:

— Поезжай.

Вечером Шурочка зашла к бывалому соседу Туковскому Виктору Викторовичу, который когда-то сам был зеком. Он жил двумя этажами ниже. Шурочка зашла просто так, от слабости, а получилось вдруг хорошо, хотя ничего хорошего в конце такого тоскливого дня она уже не ожидала. Седой Туковский и его жена, тоже седень-

кая, приняли Шурочку тепло и дружески, в них оказалась определенная интеллигентность. Они напоили чаем с печеньем, и она просидела у них весь вечер, то плача, то с жаром рассказывая о Толике. За долгое время она впервые выговорилась.

Она упирала на свое предчувствие: сердце ее никогда не обманывало, она точно знает, что Толику сейчас плохо, и потому хочет поехать. Она уже собралась.

— Выпейте еще чашечку чая, милая Шура, — ласково ухаживала за ней жена Туковского.

Туковский же, выслушав ее до конца, сделался мрачен:

— Не так важно, что он опять с кем-то сцепился, а важно — с кем именно.

— Да, да, — поддакивала Шурочка.

— Важно, чтобы он не напоролся.

Туковский пояснил: даже, мол, удивительно, что с таким своеобразным характером он до сих пор умудрился остаться живым и невредимым там, среди всякого рода блатных, сявок и паханов. Там ведь не так, как на воле. Там проще. И как только он на настоящего напорется — конец. Ему раньше просто везло. Эти Большаков и Рафик, про которых она рассказывала, это шушера — это, мол, обычные дурачки, нестрашные и куражливые. Туковский закурил.

Когда жена на минуту вышла, чтобы заварить новый чайник, Туковский тихо и как дочери сказал:

— Несчастливая ты, Шурочка. Боюсь, не вернется он живым.

Он сказал как в воду глядел. Он еще спросил:

— Сколько ему быть там осталось?

— Четыре месяца и десять дней.

Он даже присвистнул — ого, мол.

Дочери Шурочка сказала — еду, мол, к отцу, что передать? — и дочь, как и в прошлый отъезд, покраснела и промолчала. Она вытянулась за этот год и стала неуклюжей. Она уже все понимала. Покрасневшая, она бы-

стро ушла в свою комнату: уже и второй год шел, а она все стеснялась отца-зека.

Оформить отъезд Шурочке удалось быстро, но, поскольку отпуск был у нее израсходован, ее отпустили на десять дней за свой счет. Восемь дней в пути — это туда и обратно. И два дня там.

Туковский не ошибся: Шурочка в эти два дня видела своего Толика в последний раз.

Этот глухой городишко лучше было назвать поселком. Впрочем, барак был как барак, обычный, разгороженный на небольшие комнаты, а за перегородкой, как и в прошлый Шурочкин приезд, кто-то шумел и нет-нет бранился. Точь-в-точь и кровати стояли, и даже серое одеяло с двумя поперечными полосками было будто снятое под копирку с тех одеял, — так что удивить могло только одиночество Куренкова. Оно и удивило. Ее Толик жил в комнате один, в то время как все остальные жили по двое, а то и по трое. Когда Шурочка, показывая на вторую кровать, спросила, где же сосед, Куренков отмолчался, потом он бубнил, городил что-то невнятное и, лишь когда Шурочка насела, признался:

— Да вот. Не захотел со мной жить.

— Почему?

— Не знаю...

Куренков был подавлен, и лицо, конечно, худое, темное, и Шурочка, конечно, знала все наперед. Опыт как привычка. Шурочка не стала терять времени. Сказав Толику, что заглянет в их магазин, она быстро вышла на улицу. Там огляделась. Ей пришлось спросить и, узнав, пришлось пройти улицей вверх и снова спросить — и вот она пришла. Ей предложили сесть. Ей дали чашку хорошего чая и спросили, как там, в Москве, погода. Все было даже и приятно, кроме главного: приглядеться к Куренкову здешнее начальство не успело, и не понимали они Шурочку. То есть совсем не понимали.

— Тихий, — сказали они. — Ну, ваш-то тихий. Зачем его куда-то переселять?

Второй человек из начальства, что сидел слева, был совсем молоденький, чуткий. Он предложил ей чаю и сказал, чтобы она не волновалась. Опасений нет. Он добавил с улыбкой: вот если б у нас все были такие, как ваш. Да, подумала Шурочка, тихий. Да, подумала, если б у вас все такие были... Она вернулась в барак ничуть не успокоившаяся. Душа ныла, потому что в бараке что-то, незримое, уже надвигалось на ее Толика. В бараке что-то происходило. И Шурочка чувствовала через стены.

Сам же Толик молчал — нет, мол, ничего особенного. Да, поссорился. Да, как обычно, какая тебе разница с кем.

В прошлый приезд столкновение тоже нарастало исподволь, но хотя бы внешне люди вокруг были видны и были понятны. Здесь он был один. Более того: в бараке его сторонились. Он был словно бы уже меченный чем-то — или кем-то. Против Куренкова было не только задумано или замыслено, но уже и решено, так что даже и подойти к нему или просто закурить с ним — тоже было как клеймо. Он был отгороженный: отделенный. И когда Куренков шел по коридору, с Шурочкой ли, один ли, — шедшие навстречу смотрели мимо, будто Толика вовсе не было. Шурочка все видела сама. Ни один не поздоровался. Ни один не кивнул.

Вот уж точно, что весь день они провели вдвоем. Они несколько раз выходили пройтись. А затем опять сидели в комнате.

— Толик, — просила Шурочка, — я же тебя хорошо знаю, расскажи, что и как вышло...

И еще просила:

— Толик, не первый же раз.

Он лишь рукой махнул — долго, мол, и нет смысла рассказывать. Помолчав, Шурочка заговорила сама. Она вдруг оживилась. Она рассказала о друзьях, о том, как собирались недавно у Скобелевых. Она рассказала о покупках и тратах и рассказала о дочке, у которой появился паренек, в кино ходят, девица-то подрастает, глядишь,

будем с тобой дед и бабка. «Я, Толик, сильно подурнела за этот год, так что уж вполне в бабки гожусь». И тут Шурочка, как это умеют женщины, вновь ласково и внезапно попросила:

— Толик — расскажи...

Но Куренков молчал.

Она попробовала слезой, попробовала нажимом — ругнувшись, он в конце концов прикрикнул:

— Отстань же!

— Завтра уезжаю, — сказала она. (И напоминание, и последний нажим.)

Он не ответил.

— Завтра, Толик...

А он сказал:

— Давай в кино сходим.

Клуб размещался в маленьком сером бараке, людей было мало; массового зрителя составляли в основном мальчишки, что гоняли на закате футбольный мяч. Высунув голову, киномеханик закричал: «Эй, люди, вали на сеанс!» — «Сам вали!» — откликнулся кто-то, но затем с ленцой собравшиеся пятнадцать-двадцать человек все же побрели на фильм, и Куренков с Шурочкой в их числе. Зал оказался совсем паршивый (никакого, конечно, сравнения ни с их районом, ни даже с тем сибирским городишком, где Куренков отбывал прежде), и Шурочка вдруг затосковала. Шурочка подумала, как же живет здесь Толик.

Любившая кино, Шурочка сумела отвлечься лишь к середине фильма. Отец там ездил на яхте, потом отправлялся осмотреть плантации — неожиданно он узнал своего ребенка, прижитого на стороне; в свое время он ребенка не любил, а теперь вот полюбил, — Шурочка даже слезу пустила. Шурочка не отрывала глаз, она расчувствовалась бы еще больше, но ей мешали. Какая-то девка, сидевшая сзади, лузгала семечки, сплевывая шелуху как бы специально Шурочке за ворот. Зал был почти пуст. С семечками можно было сесть поодаль. «Вы

ведь не в сарае!» — негромко заметила ей Шурочка, а девка, сидевшая с парнем, огрызнулась. Ее парень засмеялся. Плевки прекратились, но чуть позже, среди музыки и в минуту самой лирической сцены, к девке пришло, видно, забытье, шелуха вновь полетела на плечи, на голову и за ворот Шурочке. Шурочка осердилась. И вдвойне осердился Куренков: откинувшийся резко назад, он ухватил малого за грудь: «Да объясни ты своей дурынде — я сейчас так харкну, что она год не отмоется!» Он не то прошипел, не то прохрипел, и Шурочка не узнала его голос. Шурочка притихла. Ее Толик, такой деликатный, стал груб. Тем временем старушка билетерша засвистела в какой-то свисток. Включили свет. Появился милиционер. Девка с парнем нехотя пересели в левую половину зала, почти совсем пустую. Свет погас, и механик, чтобы люди не упустили содержания, закрутил фильм с начала; Шурочка раз или два все же оглянулась — девка опять плевала шелуху, но уже в пустоту; перед ней никого не было, и в лучах проектора семечная шелуха летела непрекращающимся фонтаном. И все же из зала Шурочка вышла в общем довольная и размягченная; она любила кино.

— Толик, — сказала она, — неплохая ж картина. Ты чего молчишь?

Он сказал, что да, неплохая. Он как-то слишком быстро согласился. Они шагали рядом и молчали. А ведь раньше Толик очень любил порассуждать о фильме.

Они вернулись в барак; казенная и неуютная комната порадовать не могла, но они выпили бутылку хорошего вина, которое Шурочка привезла, погасили свет и легли. Они легли рано. Они хотели побыть друг с другом: долго-долго лежали рядом. Но и тут Шурочку вдруг доставал страх. «Толик, а у нас дверь заперта?» — «Заперта». За перегородками (и с той стороны комнаты, и с этой) был слышен шум, голоса. По коридору барака тоже кто-то шастал, был слышен скрип ботинок, и Шурочка, обмирая, нет-нет и малодушно думала, что ходит тот неиз-

вестный человек. Тот, который так страшен, что люди вокруг не только не хотят помочь ее Толику, а даже и подойти боятся, даже поздороваться, как бы не прогневить. Она пыталась представить себе его лицо. Ей казалось, что тот человек живет в самом конце коридора напротив умывальника, в комнате с некрашеной дверью и с номером семь; ей хотелось хотя бы что-то знать. «Толик, а как он выглядит?» — спросила она вдруг. Куренков не ответил. Он мягко тронул рукой ее губы и сказал: «Тише...» Он закурил.

— Толик, мне зябко.

— Здесь осталось. Допьем? — Он ощупью, но ловко разлил в темноте вино. Осторожно найдя рука руку, они чокнулись стаканами. Он покурил еще. Он ласково поглаживал Шурочке висок, а она, молчащая, стала припоминать людей — их лица. Тех, кого видела мельком, когда они шли к умывальнику с полотенцами на шее. И вот в повторе памяти они шли и шли, как в кино, а Шурочка рассматривала: лица были неотчетливы. Под мельканье этих лиц и покачиванье при шаге полотенец она заснула.

Проснулась без причины. Она открыла глаза — было темно, было мрачно (не сразу поняла — где она), но Толик был рядом, Толик не спал, и она, млеющая, зашептала: идем, Толик, походим по улице, идем...

— Как походим? — спросил он. — Ночь ведь.

— А ничего, — шептала она ласково, — гуляли же мы в молодости ночью.

Они стали одеваться. Было не холодно. В самом деле, думала Шурочка, уж завтра уезжать, времени у нас мало, а погулять — значит побыть вдвоем. Она хотела, чтобы Толику было хорошо. Лес начинался почти сразу за домами. Фонарей не было — темные улочки и ряды домиков с заборами едва угадывались в свете луны. Шурочка вновь заговорила о друзьях, которые его там, дома, помнили и ждали, но Куренков все молчал, так что Шурочка даже рассердилась вдруг.

— Да что ты, — сказала, — вареный какой-то!

Голос ее стал мягче:

— Встряхнись, Толик. Всего-то три-четыре месяца — и дома будешь. И пивка с ребятами попьешь в палатке!

Он кивнул: да, мол, всего четыре месяца.

Они шли и шли, и Шурочка чувствовала, что ноги уже устали.

На опушке они повернули и вновь в прогале темных кустов увидели домик, окно там горело, а за занавеской кто-то играл на гармошке. Подошли. Толик предупредил, что народ тут серьезный, крепкий, на поселенных зеков косятся, даже и берданку в доме держат, будто бы для охоты. «О господи», — вырвалось у Шурочки. «Их можно понять...» — сказал Куренков. Но ночь была тихая, и сам же он подошел к домику совсем близко. Он облокотился о забор, слушал тоскливую гармошку. Шурочка прижалась к нему. Куренков закурил. Но небо тут очистилось, луна висела как апельсин, и, вдруг почуявшая, взлаяла собака. Она проснулась от луны: она лаяла неудержимо и зло. Игра прекратилась, после чего бросивший гармошку вышел и гаркнул грубым голосом, так непохожим на печальную мелодию: «Кто тут?!» Тишина повисла долгая, и только шелестели листья. Чувствовалась прохлада. Куренков и Шурочка шли, не отвечая.

Когда подошли к бараку, Шурочка почувствовала, что усталость отступила — и сон отступил. Она обрадовалась. Она стала шутить, а едва легли, она уже ластилась. «Толик, я не хочу спать ни на грамм!» Она решила: пусть ему будет приятно, не каждую же ночь она здесь. Шурочка так расстаралась и вошла в азарт, что они уснули совсем уж усталые.

Когда Куренков вышел прикупить хлеба, Шурочка впала в задумчивость. Она вдруг поднялась и быстро обыскала казенное его жилье, искать было проще простого, и конечно, она скоро нашла нож, завернутый в тряпицу. Она охнула. Она смотрела на серую тряпицу и не

знала, как быть. Она хотела сразу же выбросить, но подумала: а если к нему придут, если нет выхода, а он будет искать по всей комнате, искать и метаться. Не сделать бы хуже. Она женщина, что она понимает... Вновь завернув нож в тряпку, она положила на место. Она сидела, плакала, и вернувшийся с хлебом Куренков сказал:

— Ну-ну, перестань. Чего ты?

Выплакавшись, Шурочка снова задумалась. Она стала просить его. Она ни разу не повысила голос:

— Толик, прошу тебя, не связывайся с ним — обойди, уступи, ты же не мальчишка, Толик...

— Ладно. Я постараюсь, — пообещал он.

А получасом позже попросил:

— Я тут... насчет баньки договорился. Потрешь мне спину?

У Шурочки так и екнуло — она опять заплакала. Конечно, Толик, сказала она, конечно. Времени было в обрез. Шли обеденные часы, а уже вечером Шурочке было обязательно сесть в автобус, который бесконечно долго будет ее трясти к поезду.

Насчет бани Толик договорился в одном частном домике, за все дела там давался рубль. Шурочка похвалила — и как-никак баня отдельная, и недорого. Старую бабку, которая для них баню свою уже протопила, Шурочка тоже похвалила за чистоту. Шурочка дала ей не рубль, а два, после чего старуха ушла. Банька и верно была опрятная, пахнущая забытыми запахами хвои вперемешку с березой. Шурочка обрадовалась, и даже на нее напала игривость, какая бывает после долгих, унылых раздумий; когда раздевались, она пошутила: а нет ли, Толик, наколок каких? Не обзавелся ли красивыми женщинами на ягодицах, сейчас, мол, проверю. И Шурочка оглянулась. Он сидел на лавке уже раздетый, безучастный.

— Толя.

Он не пошевелился, он словно продолжал тяжело думать.

— Толя...

Сердце у Шурочки сжалось. Он был худой-худой, он никогда таким не был. Лицо было темное. И тело темное. Шурочка почувствовала, что больше его не увидит. Она уже тогда почувствовала.

— Горе ты мое... горе мое! — заплакала, запричитала она. Такая была банная минута: худющий, весь какой-то маленький, он сидел на лавке, а поодаль, заливаясь слезами, стояла Шурочка, раздобревшая и белая. Она всегда была полной, теперь она была толстухой, и вот с плачем она кинулась к нему, всем своим большим белым телом стараясь словно бы пригреть его, огородить и защитить. Пар был густ. Стало жарко. А Куренков все сидел, будто бы замерз. Он сидел не шелохнувшись и коленки стиснул, как стесняющийся. Руки — худые — он держал на коленях.

Шурочка помыла его, он был как задумавшийся ребенок, как ребенку она и помогла ему, потерла спину и дважды промыла голову. Затем она помылась сама. Когда вышли, Шурочка вынула гребень и расчесала ему волосы. Ветер колыхал их, подсушивая. Ветер был несильный. Волосы у него сделались шелковистые, он шел рядом с ней чистый и распрямившийся. Теперь он улыбался.

В барак он забежал один, взял Шурочкины вещи и пошел ее проводить. Они сразу пошли к автобусу, потому что времени оставалось не более получаса.

ГДЕ СХОДИЛОСЬ НЕБО С ХОЛМАМИ

1

Георгию Башилову хотелось домой; ему хотелось тишины и очень хотелось в свое кресло-качалку и чтобы покачиваться и покачиваться в комнате, что звалась его кабинетом. Но были в гостях; окружающие вновь затягивали под хмельком песню, обычную, примитивно-грубую, давай, давай, когда хочется поорать, пошуметь, — и Башилов вновь начинал морщиться, кривиться, а после и обхватывал руками голову: не зажимал ли он уши, ушные раковины, дабы тонкий его слух не ранился пением случайных людей? С падением роли кантилены в музыкальном тематизме развились, что и логично, многообразные формы *речевого начала* в музыке. А едва мелодика стала на грань меж выпеванием и выговариванием текста — хватит, хватит насмешек, это уж, знаете, слишком!.. Однако нет: жена композитора объяснила, что Георгий Башилов вовсе не оскорбился их пением и не поранился, а, напротив — чувствует себя виноватым. Да, да, представьте, композитор чувствует себя виновным за то, что в поселке, откуда он родом, в некоем далеком поселке за тысячу километров отсюда, люди, то бишь его земляки, совсем не поют.

— ...Ему кажется, что он виновен. — Жена говорила, понизив голос.

— Но почему? — спрашивали гости шепотом. Некоторые продолжали орать песню.

— Не обращайте внимания. Прошу вас...

И оглядывались: он сидел за общим их столом, обхва-

тив голову и впав в длительное молчание. Ему было сильно за пятьдесят. Еще полчаса назад он смеялся, шутил, был общителен и в беседе не лишен обаяния. Кто-то пощелкивал ногтем по полупустой бутылке. Окружающие отчасти полагали, что музыкант в гостях малость перепил: бывает же. И действительно, если Башилов выпивал, муки усиливались и лицо его поминутно кривилось, в то время как общий стол гудел и горланил веселые песни. Однажды он стал всхлипывать, и жена сразу увела его домой; он так именно и уходил, придерживаемый ею и обхвативший седовласую голову. Оказывается, он вовсе не зажимал уши. Когда он выпивал, ему казалось, что вина его перед поселком не только видна, но и огромна, и за вину свою он ждал некой кары, может быть, с неба, и потому как бы пытался прикрыть голову — от удара.

С одной стороны он, с другой — песенники, таков процесс, где и он и они — соучастники. Но я хоть мучусь этим, — повторял себе Башилов, загадывая, как ночью прозвучит в тишине и в темноте высокий чистый голос ребенка. Тот поселок был совсем невелик, был весь доступен, и ничего не стоило обойти его кругом, особенно летом. Назначенный для нормального хода крекинг-процесса, а также для ликвидации случавшихся пожаров, поселок, казалось, был мал. Первый, второй и третий — там было всего три дома, расположенных буквой П, притом что открытая часть П была обращена к видневшемуся на пригорке заводу. Если сравнивать, три дома были как бы ловушкой, и одновременно это было чуткое открытое ухо, вбирающее в себя шумы и звуки заводских неполадок: поселок был аварийный. С тылу трех домов располагались невысокие горы.

Небольшой городишко, не видный, за горами, находится от поселка километрах в двадцати пяти — тридцати, так что его как бы и не было вовсе — город был для

маленького Башилова долгое время мифом, чем-то существующим и несуществующим, вроде географического юга или, скажем, запада. «Город?.. Где это?» — спрашивал Башилов-мальчик, и ему отвечали: «Там». И указывали в сторону невысоких гор.

Завод был в значительной степени автоматизирован, но старого образца, так что пожары случались и, более того, были предусмотрены. Обслуживали завод два десятка рабочих, техник и инженер, а также один аварийный техник и один аварийный инженер — в силу малого числа людей и взаимозаменяемости все они, в сущности, были аварийщики. Женщины работали тоже; с детьми и стариками в поселке жило около ста человек.

«Не породили горы, ой, не породили ж горы ничево-ооо...» — поселковая жизнь на отшибе определила, как водится, тягу к старинке, к былым денечкам и к замшелым уральским песням, от которых сильно пахло болезнями, рудниками и чутким, если не волчьим, трудом искателя, а часто и прямым разбоем. И пили, и пели аварийщики за длинными столами, и конечно, детство окрасило и сделало их в глазах мальчика великанами, громадными людьми, хотя были они, надо думать, обычны и плохонько одеты, в маслах и в саже, беспрерывно курящие и плюющие заводской копотью, набившейся в легкие за вахту. Башилов был мал, а они были огромны. Огромны были и горы и дома. *Междомьем* звалась внутренняя часть П, всегда солнечная и жаркая, но клены давали тень, и там-то, в тени, вкопанные в землю, стояли три общих длинных стола и к ним скамьи.

Два городских учителя, приезжавшие в поселок на месяц-другой, учили сразу всем предметам: «Перепиши, мальчик, это...», а другому и третьему: «Прочитай, мальчик, это...» — отчеркивая от и до, так что Башилов и сейчас помнил ногти своих наставников, здоровенный, как лопата, ноготь мужчины и тоненький, изящный, с ка-

кой-то молочной подсветкой изнутри ноготь женщины. Разнокалиберным поселковским детям втолковывали вопросы второго класса, а тут же вдруг пятого, третьего и даже седьмого. Но учение не было самым худшим. К тому же в детях было довольно упорства, а Башилов был сиротой, что придавало его упорству оттенок особый, — да, отец и мать сгорели в одной из аварий, когда ему было лет восемь, да, восемь лет, а жил он у дядьки, где кормили, поили и одевали, да, да, у дядьки его кормили, поили и одевали и еще платили за него в музыкальную школу в их городишке, — все так. Однако же едва он разорвал тихое кольцо Уральских гор, это тихое, мягкорукое на горле и по-своему нежное, едва уехал в столицу и стал учиться на стипендию, пусть крохотную, он от их помощи отказался. Он не хотел. Он уже не брал от них ни копейки. Дядька к тому времени тоже сгорел, а всем прочим поселковским, кто интересовался его судьбой, в редких письмах он каждый раз отвечал просто и твердо, что он при деньгах, так как в музыкальном училище получает *стипендию;* он повторял нажимное слово, пока слово не сработало и не убедило, а письма не иссякли.

Его ровесник Генка Кошелев тоже брался в расчет; Генка Кошелев всегда был шалопай при родителях, и никто не должен был его с Башиловым сравнивать. Песенный заряд поселка казался велик, но только двое их и стало музыкантами. Да и хотел ли поселок их отпускать? Двое были не как уехавшие, они были как вырвавшиеся. И в вагоне поезда он не ощутил отсутствия пения. Он ощутил тишину. А стук колес оставался ритмом.

Схожим оставался в памяти звук ножей, ритмичный звук-скрежет, когда женщины скоблили общие три стола, когда поливали водой из медной полуведерной кружки и когда по столу бежали ручьи, а Башилов был слишком мал. Он тянулся, но не дотягивался до поверхности стола и не видел стреловидный мощный разлив этих ручьев вширь. Он видел лишь струйки внизу, как они пада-

ют: бегут и падают со стола в пыль. «Жи-жисть! жи-жисть!» — тетка Алина, поставив нож ребром и прижав двумя руками, скребла доску за доской, пока стол не станет для поминок чист и бел. Стол не покрывали скатерками. Башилов-мальчик тоже будет сидеть за этим столом — его окликнут — его и Генку Кошелева, всегда обязательных и званых, и к ним еще двоих, чтобы детские их голоса вплетались во взрослое пение.

У поющего — дело; и может быть, из детского профессионализма он не убежал в горы, не прятался там и не скрывался весь день и всю ночь, как бывало с детьми: он знал, что поминки и что надо петь. Гибель отца и матери была сама по себе и тонкой чертой была отделена от поминок, хотя это были *их* поминки, поминки по ним. Он не затаил чистый ангельский голос. Когда было много выпито и много съедено, огромные аварийщики грянули любимые песни отца, и он вел и вел их чистым своим голоском: он не медлил и не торопился более обычного, вел ровно и, лишь задержавшийся на высокой, недоступной взрослым ноте, ждал помощи вторых теноров и подхвата. Или вдруг оглядывался: не забыли ли?.. сейчас ведь дадут ему гармонику, и если удастся играть хорошо, станут плакать. Они были *слезливы на песню,* что не считалось удивительным для аварийщиков с их ослабевшими от дыма и химии слезными железами.

В тот день к вечеру поднялся ветер, небольшой, порывистый, и над заставленными снедью столами закачался фонарь. Качающийся свет набегал на ту скамью, где сидели Кошелевы и Короли, а за ними обе Грунины — Василиса-старая и Василиса-молодая. Водка стояла там в светлых бутылях. И рядом тарелка, где красные огромные шары соленых помидоров. Картошка дымилась горой, горой же были насыпаны крутые яйца.

Вспоминали отца, но особенно шумно спорили о матери — о том, какими могли быть последние ее слова.

Отец сразу и умер, обгорев, а мать, оказывается, еще дышала. Когда ее отвезли в город, в больницу, она вдруг

пришла в себя и, возбужденная, стала быстро-быстро говорить. Разобрали лишь то, что она просила, посылала за родней, — тогда же и помчались назад в поселок за ее братом, но пока он, дядька маленького Башилова, приехал, мать скончалась: «Что? Что вы хотите сказать? Говорите, говорите!» — торопил врач, но мать, стиснув зубы, ждала человека из рода, хорошего ли, плохого ли, но родного, и не говорила своих слов ни врачу, ни окружающим.

— Теперь можно только гадать!.. И вот гадаем, — Сергей Федорович Король горестно чокался и целовался с бабкой Дарьей. Тут все они шумно чокались, после чего тянулись, чтобы поцеловать маленького Жорку Башилова, а ему был противен их запах, послепожарный запах завода, каким пахли все, особенно обожженные. Так же, конечно, пахли его мать и отец, он знал, хотя и не дали подойти к ним близко.

Завод был невысок. Он был плоско разбросан в начинавшейся здесь степи, и в плоской его неподвижности бросалось в глаза лишь подвижное и живое: восходящие клубы дыма. Солнце сияло, на столах под кленами еда, а мамку и папку похоронили — надо играть. И раннее утро, вокруг пьют и поют — надо играть. Мальчик свесил на гармонику голову, а люди, вдруг заговорившие разом, обожженные, пьяненькие, объясняли ему, что никто и никогда так замечательно не играл, как он. Они объясняли, что игры своей он и сам не знает, они целовали его, тискали, а если поднять глаза, над плоским заводом стелились живые красные клубы дыма.

В непогоду или, скажем, холодной осенью, а также зимой аварийщики сидели у Ереминых, что жили шумно, неприхотливо и в комнатах без перегородок, отчего там просто и быстро составлялись столы взамен тех, что на улице. Если Башилов вместе с поющими мальчиками сидел лицом к ряду окон, то и отсюда были видны шевелящиеся клубы дыма. Один раз на поминках он видел все еще не унявшийся пожар. Дым был черный, дым стелил-

ся. Сложная трансформация фольклорных элементов начиналась уже тогда, а дальше сработало время: настойчивые межжанровые вплетения сами собой определили синтез с выразительными средствами *современной ему* музыки...

2

В последние годы, говорила жена, он стал похож на человека с причудами, да, да, и возраст тоже, да, да, особенно когда перевалило за пятьдесят и когда кресло-качалка стало любимым местом сочинения музыки. Если под окнами пьяные вдруг орали песню и если хотя бы один из них был *с голосом*, Башилов кидался к окну, распахивал, слушал дурацкое пенье — и взвинчивался. Он менялся, как меняется вдруг погода. Пьяные уходили своей веселой дорогой, а композитор уже весь день нервничал и совершенно не мог работать: ни сочинять, ни даже слушать музыку. «Они не поют... Они не поют даже на поминках», — повторял, бормотал Башилов самому себе. Если же родные, сын, скажем, пытались с ним заговорить, он огрызался, вдруг на них кричал, хрипел, а потом запирался в свою комнату, в кабинет. Он садился в кресло, но не качался. Он мог сидеть так очень долго, обхватив голову руками как бы в страшном горе, как бы в беде. Иногда, по счастью редко, он уносил с собой в комнату бутылку водки и там, мрачный, пил. Иногда же родные слышали, как после водки или, может быть, *среди* водки он плакал.

Жена рассказывала, что весь такой день уже был отмеченным, а среди ночи Башилов непременно подходил к ней, лежащей в постели, прижимался головой и говорил, шептал:

— Ты ведь знаешь, я виноват перед своим поселком, я виноват.

— Знаю, милый...

И жена ласково гладила его по голове. Она его успо-

каивала: напоминала о музыке. Ведь плач ушел из поминок, но остался в его виолончельных сонатах. Плачевое качание мелодической линии всегда было его сильным местом, не только же он давал музыке — музыка давала ему.

Аварийщики пели не только на поминках — они пели и при рождении ребенка, пели на редких своих свадьбах, пели на праздниках, пели по воскресеньям и пели просто так, от скуки, долгими вечерами. Это верно, что вечерами и от скуки пели, как правило, женщины; у них не было такой уж нужды в его ангельском голоске. Но когда Башилову-мальчику было три года и когда под скоблеными столами он ходил пешком в самом прямом смысле, аварийщики пели, в нем тоже ничуть не нуждаясь. Они пели и прежде, вовсе не зная о нем, когда ему было два и когда был один год. И когда его не было совсем, они пели.

Голоса в поселке были замечательные; и единственный, кого бог заметно обошел, был дурачок Васик — антипод маленького Георгия, чей голос сравнительно с поселковскими был слишком хорош. Приблудный и никому здесь не родной, Васик жил у Груниных; его там жалели, кормили, поили, и жил он при поселке как птица небесная, не работающий, оберегаемый и счастливый человек. Единственное, в чем ему отказывали, — в пенье. И оттого, что в поселке у всякого встречного был голос, больший или меньший, едва аварийщики запевали, несчастный Васик тотчас испытывал муку. Шаг за шагом он подходил к поющим все ближе. Мало-помалу пенье очаровывало, душа разрывалась, и вот он открывал рот, но тут же закрывал: знал, что петь безголосому нельзя, не велено. И не столько мучимый, может быть, желанием петь, сколько желанием быть как все и соединиться со всеми, Васик подходил наконец совсем близко: с протяжным своим мычаньем, с грубыми утробными звуками он вдруг подскакивал к столам под кленами, где сначала поющие грозили ему пальцем, а затем кулаком:

«Заткнись!.. Эй, да гоните же его — раз молчать не может!»

Его отгоняли, а маленький Башилов пел и пел, набирая голосом силу, — глаза его были раскрыты широко, ясно; пенья не прерывающий, он вновь видел всю последовательность перемещений, в начале которых Васик приближался тихими шагами, затем приостанавливался поодаль, а затем, подкравшийся, пытался немо, беззвучно петь. Он только открывал рот. Но от внутренних сил сдерживания и торможения руки Васика начинали дергаться, выворачиваться в ладонях, гнуться, затем тик перебрасывался выше, на лицо — по лицу проносилась целая гамма трепета, мелких судорог, гримас. Немая душа, имея чем поделиться, не имела способа передать. Башилов-мальчик пел, он пел, как и все в поселке, о дурачке не думая. Когда же в дождь или в холода сидели у Ереминых, мычащего Васика с первого же раза прогоняли совсем и больше уж в дверь не пускали.

Голос мальчика звучал чисто и неколеблемо, а если кто-то подходил ближе или кто-то уходил, это не имело значения. Пенье лилось легко и естественно, как будто мальчик просто дышал. Он мог при этом улыбаться или даже прозаически почесываться, лицо оставалось ясным, и голос звучал чисто. Позже, войдя в современную музыку, он стал сложен и скрыт за зрелостью выучки, но в детстве естественность оставалась самой видной, если не самой сильной стороной его музыкальности. Если он долго играл на гармонике, казалось обычным, что люди приходят есть и пить водку, уходят, а потом приходят вновь, садятся около и, оттаяв, плачут; дело было не только в их разрушенных слезных железах.

Они возили его в город и платили в музыкальную школу, а когда дядька сгорел, они же собрали ему деньги для поездки в Москву, в музыкальное училище, и Ахтынский, первый силач, красавец и прекрасный низкий

голос, повез мальчика в столицу. Петь Ахтынский начинал всегда низко-низко, издалека: *Ночь наша на улице те-тее-оомная...* — ведущий и признанный в распеве, он задыхался на верхах, зато был раскован, смел в вариациях. Он был из незримых создателей песни: из безымянных. Физически очень сильный человек, он не все умел, не все удавалось, и потому в поезде он много говорил и учил подростка Георгия жизни: он учил *московской* жизни, которой не знал. Он вез с собой сколько-то поселковских денег, чтобы сберечь и дать их Георгию впрок, когда придется снять для него угол у какой-нибудь зажившейся, дряхлой бабки. Ахтынский не знал, что при училищах есть общежитие для иногородних: общежитие оказалось для него неожиданной и большой радостью.

Он вез подростка в купейном вагоне, чтобы можно было не озираться и спокойно говорить о жизни: «В Москве, Георгий, нищают и разоряются в основном на мелочах: на газированной воде, на мороженом. Человек никак не может себе отказать, и вот денежки текут и текут. Не позволяй себе этой слабинки — смотри!» — Ахтынский на станциях из вагона не выходил и традиционно боялся, что в пути их куда-нибудь втянут и облапошат. Он наотрез, вызывающе отказался сесть за карты с вполне мирными пассажирами, которые и играли-то не на деньги.

В Москве Ахтынского потрясло пиво; не мог он прийти в себя от его вкуса и особенного, мягкого хмеля, тем не менее больше одной кружки сразу он тоже позволить себе в пивной никак не мог. Вскрикивая от восхищения, он уверял — ты, Георгий, вырастешь и поймешь! ты поймешь, ты пиво оценишь, гадать не надо, обязательно оценишь!.. — а Георгий его поддерживал плохо и в пиве не понимал: молодой! Срывы на вступительных шли у Георгия один за одним, но выручал слух, выручала музыкальность и еще то, что экзаменаторы были не прочь взять человека из той глубинки, о какой и не слышали. Он сдавал экзамены долго, упорно, цепко, и все эти дни

Ахтынский восхищался его баллами, а также пивом, которое пил в ближайшей пивной. Пивная была с музыкой, с автоматом, из первых, автомат играл вальсы, что тоже Ахтынского восхищало.

Узнав, что общежитие дается не только на время экзаменов, но и на весь срок учебы, Ахтынский понял, что дело сделано и что гора с плеч, после чего и загулял на излишки денег. Он не вылезал из пивной с музыкой трое суток кряду, а когда вылез, оказался безголосым. Лицо у него было сильно удивленное. Он разводил руками. Он стал сипеть, к тому же стал заметно гундосить и очень надеялся, что это пройдет.

Через год-полтора в вялом письме, в одном из писем *оттуда*, сквозь просеянные временем поселковские события к Георгию дошла, пробиваясь, весть и об Ахтынском: оказалось, силач навсегда потерял свой голос. То был чистый низкий голос с чарующей кантиленой, наводившей на слушателя мысли о неменяющихся временах, о мерцании золотой утвари и о рослых непьющих дьяконах. Прочесть было горько, но Георгий жил уже своей жизнью, далекой от них, новой. Он принял известие близко к сердцу лишь как память, как укол детства, от которого, хоть и невеликая, возникает боль. Боль удержалась. Двумя днями позже старенький преподаватель сольфеджио спросил: «Что ты загрустил, Георгий?» — и подросток, выйдя из задумчивости, рассказал несколько сбивчиво об осипшем земляке. Старичок слушал и кивал маленькой мудрой головкой. Старичок заметил:

— Это печально, что за все надо платить.

— Да, — поддакнул Георгий.

— Он привез тебя, устроил, помог — и, в сущности, заплатил своим голосом. Это печально.

Слова показались самолюбивому подростку не вполне дружелюбными. Слова и удивили и задели, так как, поддакивая, он ожидал к своей грусти лишь слов сочувствия. Георгий даже и засмеялся, после чего, не мешкая, молодо и быстро ответил, что счет неточен и что Ахтын-

ский ведь заплатил своим голосом не только за его устройство в столице, но и за пиво — за «Жигулевское», кажется.

Старичок сольфеджист тронул его за плечо:

— В тебе прорезывается язвительность, Георгий.

И молодой Башилов тут же смутился: разве он язвил?..

А старичок продолжал философствовать:

— ...можно видеть, можно не видеть. Но если обобщать — это ведь поселок заплатил его замечательным голосом за твое образование. За тебя. Они заплатили, сами того не зная. Вот что печально.

Так к Башилову пришла та мысль впервые. Она пришла вроде бы надуманной и совсем случайной — разговор был как разговор, а слова о незримой связи с поселком казались лишь философствованием, причудливым выпадом старенького болтливого сольфеджиста. Минута, впрочем, была запомнившаяся — на выходе из класса Башилов стоял с нотами в руках, отчасти той мыслью смущенный, но в общем легкий, улыбающийся, молодой, а старичок чего-то там разглагольствовал: слушать старичка было нужно, но вникать необязательно.

— Да, — говорил молодой Башилов. — Да, да. Как интересно подмечено.

В первый раз Башилов поехал в поселок, когда ему исполнилось двадцать два года; пока молодой музыкант учился, желания навестить и глянуть не возникало: бывало, конечно, что он тосковал, однако же тоска не доходила до той степени, чтобы подойти к кассе и купить на поезд билет. Но вот он поехал, что объяснялось, возможно, душевным равновесием после окончания консерватории. Столбы мелькали. Стук колес пьянил. (Консерватория не далась ему просто, и в середине учебного процесса он перешел, к счастью, достаточно гибко, с фортепианного отделения на отделение композиции: произо-

шло самоопределение. Зато теперь композитор Георгий Башилов уже не колебался в своей однозначно нацеленной жизни.)

Он был одет вполне скромно: ничего бросающегося в глаза, ничего бьющего. Был чемодан. Был серый ладный костюм и обычные московские полуботинки тех лет. Он был без шляпы и без кепки, с непокрытой головой, он щурился — стояла жара.

Не без волнения подошел он к трем домикам буквой П — сердце затукало, и Башилов даже споткнулся, когда проходил в междомье к дощатым столам, где под кленами как раз сидели старухи и пили чай. Чайник старухи заварили липой; стоял запах. Первым поздоровался кто-то из Ереминых, шумный, веселый, и вот люди подходили, люди узнавали, и Башилов здоровался-здоровался-здоровался, а они знай били по плечу: молодец, Георгий, вспомнил, Георгий!.. Молодой композитор беспрестанно улыбался. Его зазывали к себе, звали и те и другие, но на воздухе, за чаем с липой было шумнее, роднее, да и увидеть можно было сразу многих. Были и совсем незнакомые — из окон второго этажа они, чужие, смотрели, как некий приезжий человек сидит в окружении старух и как один за одним, с радостными возгласами приостанавливаются возле него проходящие люди.

Тогда-то, на вершине, можно сказать, его возвращения, на вершине и на самом пике его молодой улыбчивости и общего радушия произошло нечто нелепое и тем более запомнившееся. Василиса-старая, по старости уже и сошедшая с ума, проходя мимо с тазом стираного белья, приостановилась в шаге от пьющих липовый чай и внимательно вгляделась. А запах липы кружил голову. Не сводя с Башилова глаз, она медленно и раздельно проговорила:

— У, пьявка... высосал из нас соки!

— Какие соки, бабушка? — спросил он с улыбкой. Спокойный, он спросил — какие соки? — уже вперед

Василису прощая, так как сейчас в ней, очевидно, говорило старческое и неладное, что и положено прощать. Улыбающийся и еще более помягчевший, Башилов ожидал, что бабуля тоже смягчится и, быть может, как-то поправит свои слова.

Но бабка завопила во всю свою скрипучую глотку:

— Соки высосал! души наши высосал! — И тут уж к ней пошли, метнулись другие старухи, чтобы успокоить: ее уговаривали, потом увели. А люди, конечно, подмигивали молодому Башилову, чтоб не обращал внимания, чего, мол, не бывает от долгих лет! Они улыбались, как улыбаются хорошему приезжему человеку, и опять подмигивали: спятила, мол, зажилась наша старушка, не дай бог, столько прожить...

Уже и уведенная в первый из трех домов Василиса-старая где-то там, в гулком подъезде, вопила: «Высосал соки! Паразит!.. У него глаз черный!». Голоса там прокатывались, гудели, потом стали потише, а потом стихли, после чего старуху вновь вывели на белый свет наконец успокоившуюся. Ее подвели к гостю, посадили на скамью совсем близко, и молодой композитор ласково ей сказал: «Это же я — не ругайтесь, бабушка». Она молчала. Башилов тронул пальцами ее коричневую высохшую руку. Перед древней старухой был вкопанный в землю древний дощатый стол, на который так удобно было выложить локти или даже навалиться грудью, но клены стояли прямые, стол бы прямой, и старуха, не опираясь, тоже сидела прямая. Липовый чай в ее чашке был как янтарный. Старухе объясняли про Башилова заново — это, мол, наш Георгий. Неужели не узнала?.. «Жорка?» Она и видела и не видела. Она все вглядывалась подрагивающими глазами, мелко трясла головой, сидела прямо, а ее сын, сын Василисы-старой, уже и сам седой старик, говорил ей, подсказывал, помогал: «Ну скажи, скажи доброе слово парню — ишь напугалась как!»

Коснувшийся коричневой руки, музыкант улыбнулся и простил, разумеется, старой ведьме пустые, не заслу-

женные им слова. Лишь за ужином, где хорошо покормили и где он хорошо выпил водки, среди общей разговорной суеты мелькнула вдруг быстрая, гибкая мысль — а так ли они пустые, ее слова, после чего был один шаг и до сути — а так ли они незаслуженные? Башилов растет год от году; а разве ячменный колос, взрастая, не истощает почву? — так подумалось, и красивое это сравнение, про колос, задело и зацепило молодой ум, который, как известно, излишне раним, а иногда и излишне совестлив. Разумеется, вспомнился и Ахтынский. Стоило словам старухи обрести какой-то смысл и хоть какую-то непустоту, как непустота означилась, а смысл тут же обрел острие. Но больно пока не было. Застолье шумело, и молодой человек мало-помалу отвлекся: его все больше волновало присутствие Галки Сизовой, той Галки, что помнилась девочкой, а теперь была молодой крепкой женщиной, сияла глазами и пила водку. Она много смеялась, а он был в той самой поре, когда хватаются за всякое чувство жадно, радостно, с охотой: он только-только обнаружил, что любит женщин, всех, всяких, и что особенно ценит любовь в дороге, на случайном ночлеге, пусть даже совсем кратком. Одно вытеснило другое, и старух за столом Башилов не замечал. Мысль пришла — мысль ушла. Он чокался только с Галкой, она чокалась с ним, они смеялись, но потом Галка вдруг заторопилась домой. Она ушла, довольно выразительно и опять же со смехом пожелав *спокойной* ночи...

А он остался со старухами.

Ему постелили у Чукреевых; и когда Башилов погасил свет — когда зажег, войдя, и погасил снова, — из четырех стен и из поселковской густой тишины возникла ставшая от времени чуть узкой спальня его детства. Он не спешил заснуть: лежал, улыбался. Он вспомнил, что он композитор. (А ведь, став пианистом, всегда бы чувствовал недостаток лет, отданных инструменту: сравнительно с другими он поздно начал.) Он улыбнулся... Весь пестрый день посещения родного места пронесся

перед ним кинолентой, в самом конце которой, раз уж она пронеслась перед глазами вся, вновь мелькнула старуха с тряской головой и с злобным выкриком. Была тишина, были стены. Глухо забормотав, как бывает перед самым засыпанием, Башилов повернулся на другой бок и негромко ответил. Он ответил вроде бы старухе и вроде бы не старухе, а кому-то еще, третьему и стороннему, кто мог бы их рассудить:

— Не вытягивал я соки...

Засыпая, он слышал через открытое окно редкие летние ночные звуки, а также цикад, которых помнил с детства. Был за окном и фонарь, что помнился с малых лет, — фонарь светил не меняясь.

3

Генка Кошелев был певец слабый, там и тут подрабатывающий, но своей полупьяной судьбой, впрочем, гордящийся, как это у совсем слабых подчас бывает: он-то и сосал из поселка соки, в том смысле, что тянул и тянул со своих родителей, с Кошелевых, деньги. Он тянул из них, когда учился, а когда ученье закончилось, тянул по-прежнему, еще и поторапливал их в письмах. Он пил, что сильно увеличивало его запросы. Позже он понял, что пить вредно, однако же пил — и все с меньшей надеждой пробовал пробиться вокалом, ища удачи на эстрадных площадках города Пскова, куда его забросила судьба. Лишь в самый последний год у него, бросившего эстраду и теперь кочевавшего по ресторанам, деньги появились, и наконец-то у родителей он не просил. Дожили, слава богу. А спятившая, мол, Василиса-старая увязла в стершейся своей памяти и спутала — ей все едино, что и кому кричать.

«Ну ясно, ясно! Не придал я никакого значения! Ни малейшего!» — Георгий даже и засмеялся, открыто и широко засмеялся, показывая, что не станет же он вести счеты со старой бабкой. Он вновь пил с ними липовый

чай. Он улыбался. Здесь, а не в другом каком месте убегал он в горы, и здесь, а не в другом месте его едва не убило молнией... Но чем больше Башилов отмахивался и чем старательнее отодвигал, тем цепче слова ее удерживались в памяти: конечно, спутала, однако ведь не только о деньгах она кричала. «Соки вытянул наши! *песни* вытянул!..» — вот ведь что кричала старуха Генке Кошелеву, вот ведь что кричала она и ему, Башилову, пусть даже спутав, пусть случайно. Спятила, несла вздор, не кричала, а выла, о «дурном, черном глазе», но ведь не все так просто, и ведь, помимо вздора и суеверных намеков, она кричала, каркала, что эти двое, вышедшие из поселка, уносят *их песни и их музыку* дальше и дальше — высасывают. Чем больше музыки уносили эти двое, тем меньше ее оставалось здесь, вот ведь что кричала старая ведьма, опять же напоминая о ячменном, о хлебном колосе, истощающем почву. И так ли уж случайно, что он, Башилов, вдруг засовестился, а засовестившийся, старался это скрыть, отчего утешения земляков не облегчали, а только ложились камнем. «Ну ясно, ясно. Не придал я никакого значения, ни малейшего!.. И не сержусь я на нее!» — Башилов даже и засмеялся, говоря с ними, широко засмеялся, открыто.

В середине жаркого дня он и Галка Сизова отправились к озерцу, что в трех километрах. Они скоро пришли. Тропа помнилась. И спуски помнились. Но если Галка каждую минуту казалась молодому композитору выросшей, озерцо казалось маленьким, мелким. «И горы стали меньше...» — сказал он Галке о своем наблюдении, а Галка в плане как бы всеобщего оскудения, хотя и вполне равнодушно, поддакнула:

— Сейчас и поют меньше.

— Почему?

— Не знаю... Ахтынский с каких еще пор безголос, а дядя Петя сгорел. Женщины, правда, поют.

Галка сказала, что Василиса-старая ничуть никого не удивила, да ведь она частенько воет! С того дня, как

уехали Башилов и Генка Кошелев, бабуля совсем свихнулась; выйдет на дорогу, сядет на обочине и вдруг как подхватится там в лунную ночь, воет и воет вслед уехавшим, ломает руки, иногда и догнать велит, а матюгается так, что проходящая с завода вахта оглядывается на сидящую и хохочет — мол, дает бабка!..

И Галка, поддразнивая, засмеялась:

— Нехорошие вы!

И еще засмеялась:

— Смотри: у бабки глаз черный!..

И сказала:

— Они стали меньше петь, еще когда ты на гармонике играл: ты так играл, что им петь не хотелось. («Ты разве не замечал?» — «Что?» — «Ты так играл, что петь не хотелось...»)

Башилов придвинулся к ней, меняя разговор: он обнимал, а Галка уворачивалась. И он и она смеялись. Она была ладная, крепкая, вся начеку, если ее обнимали.

Когда вернулись, время оказалось послеобеденное, притихшее; Галка ушла; Башилов без цели бродил меж домов. Одинокий, он натыкался на воспоминания там и тут. Холмы (их линия) рождали смутное беспокойство, а когда он отводил от холмов глаза, беспокойство только усиливалось. Услышав детские голоса, он втиснулся в красный уголок, тот самый гибрид школы и детского сада, где обучался и где сейчас по случаю лета сидели лишь малыши: бросали кубики. Тишина. Грубо сколоченные школьные парты пустовали. Башилов сел за одну из них — за ту, где он решал задачку про пункт А и про пункт Б, когда раздались крики. Он уткнул тогда голову в тетрадь, а крики продолжались. Он помнил, как он рванулся, пихая на ходу в холщовую сумку школьные принадлежности, и как на него, выскочившего с сумкой, сразу же закричали: «Почему он тут? Зачем он... Уведите его!» Мальчика стали уводить, потащили, прихватив за плечи так грубо, что холщовая сумка взметнулась. Башилов-мальчик ронял учебники, тетрадки, сыпа-

лись карандаши, он ползал, подымал, а его тащили за плечи. Уводя, они еще и зажимали ему лицо, закрывали глаза, хотя инстинктивно внявший беде и испугавшийся, он и без того не смотрел в стороны, а только в землю, в землю, где собирал руками потерянное, собирал, совал в сумку. Их пронесли в десяти шагах. Отец обгорел очень сильно, мать меньше, но ему и мать не показали.

Вечером пришла отработавшая смена, и вечер был обыден, и они уже не были великанами в робах, а он не был мальчиком: взрослый человек, автор фортепианной сонаты, которую очень скоро будут почтительно называть Первой, Башилов стоял в сереньком простом пиджаке и смотрел, как они приближаются, как проходят мимо. Шли по трое, по двое, но только через полчаса, когда они помылись и сели за эти столы, он увидел их вблизи, — помывшиеся и в других рубашках, аварийщики расселись под кленами, где им уступили часть мест, а вокруг сразу захлопотали; была им и бутылка перед едой; они закурили, задымили. Башилов был среди них гость. «Это — Георгий. Это он *уже совсем выучился...* Музыкант уже», — говорили они друг другу про него одобрительно. А он отвечал с готовностью, и это было как повторение, потому что говорили они теми же словами, какими только что говорили с ним и про него старухи. «Ну как жизнь в Москве, Георгий?» — спрашивали они. Они спрашивали про фильмы. И про метро. И про членов правительства. Тогдашних лет разговоры. А он улыбался. Он отвечал.

А те, что подросли в его отсутствие, сидели за скобленым столом неохотно, недолго: младое племя. Едва пожав руку и мельком на «музыканта» глянув, они уходили. Зато старые знакомцы, старики и дядьки, хотя и сильно поредевшие — кто сгорел, кто умер, — сидели за дощатыми столами в точности как прежде и, медлитель-

ные, говорили о пожаре, что случился не так давно. Сережка Король — вот ведь кто сгорел на последнем пожаре, человек — не кошка, сгорел, и нету, а для него, для Георгия, он был, конечно, Сергей Викторович, пожилой, крепкий еще мужик — разве не помнишь? — так говорили и спрашивали они.

Считалось, что Сергей Викторович Король, обгоревший, мог бы и выжить, однако вот в больнице, в городе, он сильно затосковал. Возможно, что после пожара у него что-то случилось с мозгами; в больнице он днем кричал, безобразничал, а ночью, затосковавший, решил сбежать: вылез из окна. Он был в бинтах, он был обгоревший и плохо видевший. Но вот с третьего или с четвертого этажа упал Сергей Викторович Король? Городская больница была в четыре этажа, нет, нет, больница в три этажа, возразил Чукреев, и тогда они немного поспорили, медлительные и раздумчивые: с четвертого, мол, этажа — это понятно, а можно ли человеку разбиться с третьего? Они редко бывали в городе: они не помнили, как выглядит больница. Оказывается, упав, Сергей Викторович Король умер не сразу — его сращивали, резали, сшивали, его паковали в гипс, разгипсовывали, опять резали, и лишь спустя месяц он еле-еле помер, задал работы, крепкий был!.. Они продолжали обсуждать, когда сиповатый Ахтынский приволок гармонику. Сильно постаревший и тощий, с красотой, выродившейся в длинный удивленный нос, Ахтынский приволок из дома — из чьего? — ту самую гармонику, тоже постаревшую, и держал ее на коленях. Ахтынский уж давно не пел. Он терпеливо ждал минуту, когда гость сыграет, не теребил, но оказавшийся до поры среди женщин, приотстал от общего разговора о сгоревшем Короле. Женщины спрашивали, дергали, и он негромко сипел им, что сейчас Георгий сыграет, *а мы ж с ним в поезде вместе ехали, а какая толпища народу в Москве, но мы с ним пробились, а какое пиво!..* — доносилось до молодого композитора сиплое бубненье. А аварийщики говорили о последнем пожаре.

Аварийщики спели *Выходили двое,* затем *Напылили куры,* затем *Чистоган,* затем долгую и бесконечную *Жизнь прошла* — на ней они и выдохлись, устали, но затем они пили, они ели, они пели еще, все смешалось, рюмки, стойки, полустаканы, и совсем не скоро подошла та минута, когда Георгий Башилов, словно спохватившийся, отметил, что самые удававшиеся ему в детском исполнении на гармонике песни, скажем, *Конь твой и Осень, осень* они и правда не поют. Он в ту минуту сидел, подавшись вперед и поедая кружки жареной колбасы, а отметил мельком, кажется, сам он и попросил спеть *Коня:* кто-то начал, но не смог. Было удивительно, но старые аварийщики не пели: они не пели, не помнили, словно бы песню в их памяти стерли и вытоптали, как стирают подошвами и вытаптывают траву у входа в дом. «Да затягивай же!» — кричали женщины на мужчин, и кто-то попробовал, но вновь прервались. В тишине стало слышно, как засипел, тщась, Ахтынский. Раздался смех, и тогда-то Ахтынский протянул гармонику — давай, мол, музыкант, давай! Гармонику передавали из рук в руки, ее передали через стол, а потом Георгию — он взял. Какая ж она была легкая. И какая тяжелая была в ходу!.. Он улыбнулся, давно, мол, не держал в руках. Давно не пробовал. Он начал с забытого ими *Коня,* но и с сопровождением *Коня* не подхватили, и опять женщины закричали: «Затягивай!..» — но опять впустую: это была песня, которую уже не пели. А музыка просилась теперь с такой силой, словно бралась объяснить в людях все и сразу, хотя объяснить не могла.

Смекив тональность, Башилов сращивал мелодию песни с довольно далекой музыкальной темой. Он перешел вдруг на куплетный строй, отчего родился забирающий шлягерный мотив; шлягер возник быстро, мелькнул и умер, но Башилов еще раз вернулся в вариации и скользнул по нему, как бы дразня. «Сильно! Сильно!..» — закричали они, чуткие, но он вновь свернул и ушел в едва ли узнаваемые ими глубины. Держась сонатного принци-

па, он обыграл мелодийку *Коня* не спеша, дал столкновение и развитие, после чего разработка сама собой подарила несколько удивительных всплесков. Он улыбался. Клены стояли не шевелясь. В нескольких шагах слева слушали гармонику Галка Сизова и болезненная ее мамаша — Галка мигнула, освобожусь, мол, от мамы и подойду, играй.

Он играл — и поверх гармоники смотрел на бледно-желтый факелок завода, где вяло сгорали отработанные газы.

Было — как раньше, и, как раньше, пение величаво затормозилось, когда сзади замычал дурачок Васик, на которого тотчас прикрикнули. Но он уже попал в поле зрения, и Башилов успел увидеть лицо своего одногодка: безусое, детское лицо слабоумного. Как и раньше, Васик страдал, боясь, что прогонят, и потому, остановившийся в пяти шагах, застыл там и немо шевелил губами: пел. Когда принялись вновь за еду, он сел наконец за стол, уже непрогоняемый. Ему придвинули горячей картошки. Башилов погладил Васика по голове, тот расплылся в улыбке, а кругом слышно было движение по столу тарелок, стук ножа.

«Ты разве не замечал?» — «Что?» — и тогда же, в застолье он не удержался, *вытоптанность* песни поразила, а пьяному нет кощунства, как нет запрета, чтобы убедиться вполне и проверить. Когда после обильной выпивки он вновь заиграл, хмель куда острее нацелил его игру. Умышленного или, скажем, показательного эксперимента не было, а все же пьяный про себя знает, и пальцы музыканта знали, что́ он тогда играл, хотя бы и на пыльной, дрянной, старой гармошке. Он играл *Венули с полудня*, звавшуюся также *Венули ветры*, знакомую и уже певшуюся сегодня в застолье песню — он играл ее, прячась, выставив совсем уже простеньким напевом, вроде как отложит сейчас гармонику да и выпьет стоп-

ку, а там еще стопку, а вы, подхватившие, пойте, пойте! Однако с ленцой наиграв тему, Башилов ее не бросил: это было как бы фортепианное вступление, когда виолончель или, скажем, альт молчит, а пианист вырывается несколько вперед. Явив форму, он уже второй вариацией вдруг придал старой песне задора и жизни, буквально растворив мелодию в потоке триолей. Он звенел, он баловался, он видел, что слушают уже с удивлением, отчего еще и добавил звонкости, в то время как басы нарочито и несколько иронично притопывали за жаворонковой ладовой спешкой. Третий взлет он сопроводил пышными и чуть холодноватыми фигурациями, а-ля фортепиано: немножко роскоши не помешает. И лишь в четвертой, в минорной, вариации он дал им, слушавшим, впасть в непосредственное чувство: оживив тревожную ноту, скрытую в песенной теме, он без оттягивания, сразу и с маху выпустил мелодию на свободу, давая ей поплакаться, а им поплакать. Нет, криков восторга не было. Он и не ждал криков. Они замерли. Притихшие, они продолжали есть помидоры, яйца, хлеб, двигая руками замедленно, как расслабленные: мелодия с ее рыданиями сидела уже в самом их нутре: две женщины беззвучно плакали. И конечно, никто из них не мог бы сейчас подхватить или даже просто подпеть эту песню. Они не смели. Хмельной Башилов еще и *прошелся по мелодии,* потоптался на ней, а затем, ясно и широко оповещая об убиенной песне, завершил светлой лаконичной кодой.

Меж первой и второй вариациями у них все же была возможность, когда возник крохотный просвет, промельк, соломинка, за которую могли бы схватиться: в тот особенный миг *отрыва* показалось удивительным, что итогом всей этой музыки, если не считать саму музыку, явился легкий мотив, мотивчик, который захмелевший Башилов и стал вдруг наигрывать двумя пальцами, отчего их глаза оживились. Они как бы воспряли. И конечно, они бы запели, но он не дал. Вероятно, так бывало и в

детстве: он выхватывал глубинную народную мелодию, брал *из куста,* мелодии не живут в одиночку, — брал и выпячивал, вынимал ее нутро на обозрение всем, а потом доводил до такого блеска, что им не одолеть, не справиться — открыть рот и закрыть. Их голоса как бы угасали один за одним. Они смолкли. И раз от разу переходили на песню, которую он еще не играл. Конечно, иногда они смирялись неохотно и пробовали, сопротивляясь, петь с ним в параллель. Башилову было восемь, кажется, лет. Но мальчик уж тогда был нацелен. Инстинктом, пальцами, нежной кожей щеки он уже верно чувствовал опасность, когда уступить им значило быть личностно задавленным, и оттого-то, сталкивая меж собой голоса женщин и вроде бы хитря, как хитрят дети, мальчик сам переигрывал и заигрывал вторы. Мужчины молчали ожидая. Женщины сбились. А Башилов-мальчик все дурачился на своей певучей гармонике, и как затягивание времени, как продление баловства возникло подспорье мелодии — тогдашние детские его вариации, хотя бы и робко, ребячески, но они засверкали, заискрились, тесня и и не давая женским голосам ни пяди, ни кусочка музыкального пространства, на котором песня могла бы заново выкрепнуть и выжить. Он уже в детстве *забивал* их пение. «Ты разве не замечал?» — спросила Галка тогда, у озера, а он переспросил: «Что?..»

Казалось, поселок отпускает легко, и потому тихо уйти было здесь проще простого: только за дом, а уж дальше никого не встретишь. Они пошли в ту сторону, где горы — горы были невысоки, из долин пахло влажной травой. Он скрывал, что женат, и, когда Галка спросила, он ответил ей:

— Нет.

— А вроде сказали — женился...

По неясной какой-то причине он упорно скрывал первый год, скрывал второй и только на третий, наконец

осмелев, стал признаваться сторонним людям, что женат. Возможно, это был безотчетный страх перед поселком: страх сознаться в личном. Галке, женат он или не женат, было не так уж важно — она не строила планов, и он это знал. Сидя в ковыле, они все смеялись тому, что руки аварийщицы оказывались ничуть не слабее рук музыканта, хотя у него были достаточно сильные руки. Пахло степью. Жить казалось просто, как траве расти, а ковылю выпрыгивать над травой и покачиваться. И сумерки были легки. Они возвращались усталые — медленно шли, удивляясь, как далеко забрели. Поселок обладал особенностью: сколько бы мало ни ушел от него, казалось, ушел далеко.

— Уеду я, — сообщила Галка. — Скучно здесь становится...

Он спросил:

— Куда?

— Посмотрим.

У Чукреевых его ждала та же опрятная комната. Постелено ему было чисто и у открытого окна — через окно, припозднившийся, он и влез. В чистоте он чувствовал себя как пух в воздухе. Чукреевы были без детей: сын Андрейка, одногодок Георгия, шести лет от роду был убит молнией, когда шел с Башиловым-мальчиком рядом и когда в долинах невысоких гор было полным-полно тюльпанов. Тогда он не увидел молнии и, кажется, даже не услышал, а Андрейка просто споткнулся, упал, лицо у него стало серое. Детей у Чукреевых больше не было, и любили они Башилова, переместив с сына частицу любви на того, кто шел рядом во время удара беззвучной молнии... Завтра Башилову было уезжать, он лежал в чистой постели и у окна, усталые ноги гудели, он лежал и улыбался: родина.

«Конечно, ты ляжешь у нас. Слов нет!» — сказал Чукреев в первый же день и в первый же час, когда Башилов-музыкант приехал.

И жена Чукреева тогда же сказала: «Ну ясно».

4

Боялся взрыва снизу, а удара сверху — и повторение этих сложившихся слов не было пустым, так как к этим словам и картина была, житейская картинка, почти что факт.

В какой-то мере это уже однажды было, пояснял он. Был взрыв на том самом заводе, когда шел к поселку, шел мимо, и после взрыва взлетевшая доска вдруг упала рядом, в шаге, с грохотом; эта рядом, а следующая доска попадет точно, то есть могла же она попасть и ударить в висок, и, стало быть, вот он, *удар сверху,* от которого он, музыкант, погибнет немедленно. И немедленно же в замену ему закричат дети, маленькие или даже новорожденные, красные, разинутые, крохотные рты. Они закричат, а воображение, разумеется, дорисует, что это уже не просто писки и крики, а хор, они поют, да, совсем малые, да, в пеленках, да, новорожденные с красными крохотными разинутыми ртами, они поют, и получается, что он, камерный музыкант, искупил: получается, что *он не боится, а хочет* этого удара сверху, удара доской, как бы беззвучной молнии, чтобы упасть как споткнуться и зарыться серым лицом в землю...

Сын Башилова, молодой инженер, довольно красивый и, разумеется, заехавший перед Новым годом к родителям, чтобы их поздравить и поклянчить деньжат, рассказывал, что воображение отца не ограничивается поющими младенцами — а кстати, нет ли там прокравшихся в подкорку и потихоньку поющих ангелов? Он рассказывал, что возле дома и на улице было тихо, совсем тихо, но начинающему стареть композитору показалось, что на улице только что пели. Стареющее воображение, увы, скачет как хочет. «Там только что пели песню, да, да, я слышал: там проходили люди, совсем простые люди, маляры, кажется, и пели!..» — настаивая на своем, композитор Башилов уже сильно нервничал. Дергаясь по квартире туда и сюда, он наконец подходил к окну в своем ка-

бинете. Он осторожно открывал окно и выставлял голову. Он стоял и вслушивался.

Сын тем временем тоже нервничал; сын, который приехал поклянчить деликатно денег и ждал под просьбу удобной минуты, теперь уже разъяренный, взвинченный, выскакивал на лестничную клетку и стучал к тем соседям, что любят во всякий народный праздник широко погулять: «Эй вы?! Опять у вас кто-то орал?!» — «Никто не орал». — «Что?» А из-за двери вновь: никто не орал, было тихо, клянусь тебе, мертвая тишина! — и верно: тишина... тишь... и часы на руке тикают.

И тогда сын, молодой и довольно красивый инженер, возвращался, пил холодной воды и обнаруживал начинающего стареть отца в кабинете, у приоткрытого окна. Отец выставлял в окно сильно поседевшую голову, вслушивался.

Сын подходил ближе и спрашивал:

— Ты что, отец?

— Ничего...

Сын трогал ладонью стены; кабинет был обит звукопоглощающей губкой. Композитор, что и понятно, хотел тишины.

Кабинет Башилова был мал, фортепьяно умещалось с трудом, но, по счастью, имелись две глубокие ниши, в одной стояла дорогая проигрывающая система, в другой — фонотека, пластинки классической музыки. Небольшое кресло было креслом-качалкой, покачивалось оно мягко, а все же нет-нет и протирало ковер, за что жена не раз выговаривала — и однако же он любил качаться именно на мягком ковре, а не на жестковатых паркетинах, которые в отместку иногда неприятно похрустывали. Башилов любил сочинять в кресле. На коленях стопка бумаги, в руках — ручка. Так он и сочинял — рисовал ноту за нотой и бесшумно покачивался. За фортепьяно он лишь импровизировал ближе к ночи, усталый.

Когда шло постепенное и не очень-то легкое признание Башилова-композитора, отчасти ради этого признания Башилов-пианист много концертировал. Написанная музыка должна играться. И понятно, что сонаты для скрипки, а также обе для виолончели, из которых впоследствии особенно ценилась Вторая, исполнялись с кем-либо в паре прежде всего самим Башиловым; игрой убеждал он как скрипачей, так и виолончелистов, убеждал долго и настойчиво, пока сонаты не стали говорить сами за себя. Но и когда сонаты обрели жизнь, он исполнял их. Не числясь в ряду известных пианистов, Башилов все же, несомненно, обладал определенным исполнительским почерком. Ему было лет тридцать пять, но не больше, когда однажды во время концертирования в Пскове, в перерыве после первого отделения, к нему подошел, точнее подскочил, некий человечек.

— Здрасьте, — радостно пискнул он; небольшого роста, с резкими преждевременными морщинами, он был из тех, кто все повторяет: *здрасьте*, и вновь: *здрасьте*, — умиляясь и заглядывая в самые глаза, какой, мол, артист рядом. Он умилялся, млел, а Башилов отметил, что руки его дрожат.

— Помните меня? — спрашивал он, но Башилов, конечно, не помнил, пока не было сказано, что это и есть Геннадий Кошелев, малоудачливый певец, притча во языцех в поселке. И конечно же, Кошелев тоже узнал пианиста не по лицу, узнал по фамилии, по афише. «Такие вот наши судьбы. Вы уже большой музыкант, а я ничто, совсем ничто», — торопился сказать Кошелев, подбежавший, подскочивший в перерыве концерта, и Башилов ожидал, что он попросит сейчас, сию минуту денег.

Но он не попросил денег. Он попросил о разговоре, и Башилов подумал, что уж там-то, в разговоре, он их точно попросит — Башилов даже и взял с собой сколько-то, когда отправился поужинать; но вновь ошибся. Кошелев и в разговоре попросил о другом — он хотел петь в ресторане, в скромном ресторане, и это не прихоть, не

временная блажь, а итог размышлений, это итог, и, значит, он нашел свой путь: малому кораблю малое плаванье. Он был бы счастлив петь в небольшом ресторане, да, да, счастлив, он при музыке, и ничего в жизни ему больше не надо, он именно что нашел свой путь. Но в том-то и закавыка, что жизнь сложна и что, пока нашел путь, он со всеми уже перессорился здесь, в небольшом Пскове. И потому хочет поменять псковское жилье на Подмосковье, — нет, нет, он знает, что поменяться на Москву — это трудно, дорого, сложно! он бы и просить не стал! — он будет вполне счастлив в подмосковном ресторане, даже и в небольшом.

Он просил композитора и пианиста Башилова заехать в Одинцовский райисполком Московской области, где и замолвить слово, чтобы не были они слишком суровы и чтобы помогли обычному человеку по фамилии Кошелев с обменом и с пропиской. Там, в Одинцовском, нужно чуть-чуть подтолкнуть. Лучше всего прихватить с собой на полчаса какого-нибудь, скажем, чиновника, влиятельного дядьку из композиторского Союза, а уж дядька сам в лучших словах скажет о Башилове, а в связи с ним — о Кошелеве...

Башилов пообещал; Башилов не только пообещал, но и все сделал, так как не сумел выбросить из головы маленького певца и его слов, сказанных тихо, просительно: «Нас только двое из Аварийного. Кто же поможет мне, если не вы, Жора...»

«Георгий», — поправил тогда Башилов машинально, хоть и не чурался прежнего своего имени.

«Да, да, конечно, Георгий, я и на афише видел: «Георгий Башилов», — заторопился исправиться тот.

А через год Кошелев, поменявшийся в Подмосковье, в знак благодарности пригласил Башилова в ресторан, в котором теперь пел: как водится, композитора хотели напоить, накормить, ублажить, Башилов же долго отказывался, кивал на занятость. Однако и тут щемящая память об Аварийном поселке пересилила, Башилов отве-

тил согласием, выкроил время и посетил этот далекий загородный ресторан, кажется «Петушок». Против ожидания композитору там понравилось. С женой и сыном-школьником Башилов жил в каждодневных трудах, однообразно и, пожалуй, скучновато, пресно, а тут, расслабившийся, он посидел за убранным столиком, вкусно поел, а также и выпил. Гремящий лабудовый оркестрик и поющий Геннадий с галстуком-бабочкой ему тоже в общем понравились, хотя не обошлось без привкуса пошлости, особенно же в процыганских этих объявлениях, видно, вошедших у ресторанных людей в моду:

— Для нашего гостя, известного композитора Георгия Башилова, исполняется песня *Ехал на ярмарку...* — выкрикивали с пятачковой эстрады, отчего слюна у гостя делалась во рту кисленькой и гнусной, однако оркестр гремел, Геннадий пел, а все новые и новые люди шли танцевать, толпа входила в экстаз; было шумно.

Выбравшийся из кислого самоощущения Башилов увидел этих людей поближе: одни подпевали и веселились, другие танцевали, притихшие в объятиях, счастливые и музыкой и минутой. Он не обольщался. Он видел и тех, что совсем не вязали лыка, жестикулировали, мычали и даже плохонько выявить себя не могли, не умели, чем вдруг остро напомнили Башилову безголосого и страдающего дурачка Васика. Один из них все лез в глаза; в конце он сполз со стула под стол и там, под столом, плакал. Про него забыли. Вокруг него были только ноги, мужские и женские. Эти вот горькие, застольные или даже *под*стольные слезы, хотя и были, разумеется, второго сорта, но ведь тоже слезы, тоже человеческие. И еще: как ни мало было в гремящей песне, как ни ничтожно мало, крупиночка ее, музыки, все же таилась; расплюнутая в угоду тексту, распятая, невнятно повторяющаяся на припеве и гоняемая туда-сюда, она все же жила, и не было это лишь голым ритмом аккомпанемента, не было сплошным свинством. Башилов сидел за столиком, курил. Он уже ограничивал себя в куреве, это была *третья за*

вечер. Башилов думал: музыка—это музыка, и разве я такой уж высоколобый? или сноб?.. Он как бы пинал себя все усиливающимися пинками: а разве, мол, я не хочу написать песню или музыку к лирическому фильму? Разве я не хочу *сделать тепло* простому человеку, который устал, наработался, который настоялся к тому же в очередях и которому недосуг искать и находить изыск в моих сонатах и трио?.. Так или почти так думал тогда композитор.

Песни были написаны в течение полугода. Башилов не перешел в ряды приспособленцев фольклористского толка, не стал он, разумеется, и песенником, но несколько он написал; среди них были удачные.

Конечно же, истинные музыканты судачили в тот год о том, почему, порывая с традицией (что еще вчера была модой), Георгий Башилов вывел из нового своего квинтета сопранный саксофон, заменив его еще более традиционным фортепьяно: да, музыканты судачили, спорили, восторгались, но куда большее число людей, неизмеримо большее, пусть даже совсем не музыкантов, восторженно приняло в тот год новую появившуюся песенку *Тополя меня помнят мальчишкой*. Эстрадники подхватили сразу же. Радио распевало *Тополя* беспрерывно, и уже студенты пели в электричках ее под гитару. Совестясь, да и просто на всякий случай, Башилов загодя все же взял себе псевдоним.

Две из них, из песен, как знак землеческой привязанности и любви, он подарил для первого исполнения Геннадию Кошелеву, когда же обе они произвели впечатление и, что называется, прозвучали, Геннадий с ними впервые в жизни попал на радио; он их там спел, записал, а единожды просочился даже и на голубой экран в специальную передачу о новых растущих певцах: это было счастьем, нечаянным счастьем! Больше его никуда не приглашали, но Кошелев уж и тем был потрясен. Теперь он знал, что жизнь прошла не напрасно. Он твердо знал, что как бы ни опускался, у него до конца дней

будет теперь что ответить знакомцам и знакомицам, тычущим в его сторону пальцем. Он долго не мог прийти в себя. («Нет, — говорил ему Башилов, — не могу, никак не могу...») Ошалевший, он беспрерывно в те дни звонил, зазывая композитора в ресторан, где его будут угощать каждый день и где каждый день ему будут петь песни, а если шлягерная музыка противна, он Георгия Башилова и тут вполне понимает: он приглашает Георгия Башилова в понедельник или, скажем, в среду, когда оркестр не работает и когда в ресторане совсем тихо — можно просто посидеть покушать. Башилову приглашения стали в тягость, он и слышать не хотел про «Петушок».

За окнами тогда кропил дождь. После одиннадцати в пустом и полутемном ресторанном зале, при одной лишь несильной люстре, его угощали Геннадий и два его лабуха с гитарами и саксофоном, немножко пьяненькие и сильно счастливые гостем. Рядом с ним, крутясь, подсаживались и тоже пробовали хрипленько подпеть молоденькие официантки, иногда вдруг милые. С улицы в окна заглядывала, даже тарабанила, какая-то молодая пара без зонта, умоляя, чтобы пустили внутрь. Пустые столики и емкая полутьма ресторана создавали настроение, время не двигалось, было тихо, и Геннадий, сидя за столом, пел совсем негромко.

Чуткий, он не надоедал, не лез с башиловскими, с *теми* песнями, и лишь в ряду прочих он как-то спел одну из них, спел вдохновенно. Башилов был под хмелем, спросил: знает ли Геннадий, как эта песня возникла?

Расслабившийся, он повторил:

— Знаешь ли, откуда она?

— Конечно, — с готовностью ответил Геннадий. Он как бы выдернул из рук лабуха гитару, побренчал, а затем, аккомпанируя, чистым и без хрипа голосом пропел маршеобразное вступление Второй виолончельной сона-

ты. Он совсем неплохо выявил соотношение тональностей, а ведь они несли характер. А затем — что было куда более удивительно! — он пропел отдаленный прообраз этого вступления, мелодию поселка, которую Башилов отчасти уже и забыл.

— Молодчина! — похвалил Башилов.

Слово упрощает, и если Башилов говорил, что «использовал мелодию поселка», это не означало, что он и впрямь вплел некую мелодию в ткань музыки: речь не шла о некоем заглядывании в сборник поселковского мелоса, ни даже в память, речь шла о довольно сложных фольклорных усечениях, когда, репризно усиленная, вдруг возникала завораживающая, заклинающая башиловская музыка; не без пышности в статьях писали, что музыке присуще то долгое раздумье, которое прежде всего мучительно, какому бы веку человек ни принадлежал.

— Молодчина!..

От похвалы просиявший и молниеносно опрокинувший в рот стопку, Геннадий запел теперь сохраненные памятью поселковские голосовые ходы той же темы: он пел и ясно наслаждался ускользающей, отмирающей полифонией; Башилов же, покуривая, думал о чуткой его музыкальности, о том, что голос простенький и несильный, а жаль. Башилов расслабился, выпил еще; кажется, он выпил много, и уже с подробностями он рассказал вновь о посещении поселка, в частности, о крикливой Василисе-старой, по мнению которой оба они, музыканты, сосут из родных мест соки.

— Это про меня ведьма кричала. Про меня. — Геннадий смеялся, а Башилов покачивал головой — не только, мол, про тебя.

Вспомнив больше, Башилов сказал:

— А знаешь, Гена, они перестали петь именно те песни, которые я хорошо играл... Удивительно?

И вновь Геннадий поразил: он ответил, что это совсем неудивительно, что вот сейчас, к примеру, он только что спел праоснову башиловской песни — и что же? — а то,

что рядом с башиловской она как-то потускнела, постарела, и петь ее как отдельную песню теперь, конечно, не хочется.

Башилов спросил, уже больше доверяя его музыкальности:

— Почему, Гена?

— Был бы певцом, сразу бы почувствовал.

— Я пел мальчиком...

— Написав песню, ты собрал с молока самые легкие сливки. Мужики и бабы начинают петь вроде бы свое, поют, но твоя-то удобнее для пения, мастеровитее: она встает им поперек горла — сбивает, заворачивает в свое русло...

— И что же?

— Они или немеют, или поют твое...

Разговор прервался, так как Геннадия позвали попробовать шашлыки, да, в ночное время шашлыки уже второй раз готовились специально для гостя. Гость же (напомнили!) неожиданно впал в мрачность: в сущности, Башилову было неприятно, что Геннадий так легко понял и тем более так легко и просто отнесся к тому, что болело: когда выхватываешь из пьяных рук гитару, пой, но не поучай. Кругом Башилова в полумраке стояли пустые столы. Тихо... Музыка не подымается ступенькой выше, если заигрывает с формами, из которых ушла жизнь. Мысль Геннадия ясна и не без глубины, но распорядился он давней башиловской болью, как шашлыком, как девицами. Башилов недовольства не выказал, но слова маленького певца сделались той каплей, что точит и точит.

Он слышал их голоса — да, древесный уголь, да, привезенный!.. а глаза для чего? а чтобы мясо не сгорело, кропите водой!..

Известность Башилова в музыкальном мире к этому времени заметно выросла, давались авторские концерты, а уж камерные ансамбли за композитором следили неотрывно и уже в год написания спешили дать жизнь его сонатам и трио. И начавшееся расхищение его музыки песен-

никами было также своеобразным признанием. Но ведь так или иначе его музыка шла к людям. Популяризация вовсе не презренна, а даже необходима, и Башилов, сын двухэтажных облупленных домишек, это вполне осознавал. Так было, так будет: более всего композиторы-песенники черпают из классики, но если современник чего-то стоит, как не взять у него. Он вспомнил: в поезде, за чаем, когда он ехал в Киев, — он тогда же, за чаем, исполнявшуюся по радио песню узнал и улыбнулся. Сложными ходами искусства он, Башилов, создал на основе поселковского мелоса квинтетное скерцо, из которого, в свою очередь, предприимчивый и талантливый песенник сотворил свой маленький шедевр. Песня и впрямь была неплоха, и в поселке грузную глубинную песню-праматерь, надо полагать, петь больше не станут, зато начнут петь именно эти вот куплеты песенника; круг замкнулся. Башилов давным-давно не играет на гармонике, он больше не сочиняет песен, но его музыка все равно бьет и бьет по поселку.

— Я поеду, пора.

— Геннадий сейчас же придет...

Но гость с неожиданной посреди ночи твердостью повторил, что поздно, что ему пора, и, не дождавшись вторых шашлыков, отбыл.

Когда несколько лет спустя Башилов решился навестить поселок, он предвидел, что первородных песен уже не услышит, и сказал жене: «Еду на песенные руины». А она: «Скучно не будет?» Он не сразу ответил, думая как раз о музыке, выпорхнувшей из его квинтета и опосредованно, через эстрадников и радио, несомненно, уже добравшейся туда. Ласковый и чувственный шлягер уже зазвенел, зазвучал в двухэтажных домишках, расположенных буквой П, зазвучал, и запомнился, и остался в ушах их надолго, иначе что это за шлягер. Песенник — это миллионное тиражирование, с которым не может тягаться

живое пение. Техника добралась, они не пели, а заводили пластинку, *они врубали на всю громкость*, после чего чужой и сладкий голос певца заливал пространство междомья.

«Скучно не будет?» — и тогда Башилов зазвал с собой жену, быть может, именно потому, что ехал на песенные руины. Ему стукнуло сорок, он был в самом соку и ехал показать ей *следы былого*. Они отправились на машине, отчего еще более их поездка с самого начала стала похожа на туристическую: в пути много фотографировали, осматривали, заодно же бросали своим приятелям открытки в каждом месте, где ни случился ночлег, — от столицы до Урала на своих колесах!.. Едва появились отроги гор, Башилов уже рассказывал жене, как странны бывают эти горы зимой или в дождь: сточенные, смягченные в вершинах Уральские горы. Погода обещала быть устойчивой. За машиной хвостом тянулась жаркая белая пыль. (А песен, конечно, не будет.) Жена разглядывала, как ближе к югу горы делались плоскими и высились вовсе без гребней, холмы как холмы. «А в долинах весной, конечно, тюльпаны! А воздух самый целебный!..» — восхищался Башилов, стараясь притом восхищение не испытать, но передать ей. Левой рукой он удерживал руль, правой показывал. Отстраняясь рассказа ради от родства с местом, он был, в сущности, гидом, нет, нет, скучно не будет.

В трех домах по-прежнему шла жизнь, люди ходили, здоровались, выглядывали из окон.

А под кленами было опустевшее место — один скобленый дощатый стол исчез совсем, другой свалился набок, растеряв половину досок, и лишь третий, последний стол кое-как стоял, стар и трухляв.

— Здесь они пели, — говорил Башилов жене, неожиданно для себя продолжая держаться туристского тона, который и впрямь легче и быстрее давал смириться

с уходом былого. Башилов словно бы знал все наперед: знал, что столы ветхи, что скамьи гнилы и что песен здесь больше не поют, но словно бы не ветхость и не отсутствие поселковского пения были сейчас главным, а та простецкая возрастная истина, что все проходит и уходит. Мудрость, но не горечь. Башилов явно спешил показать жене, и было понятно, почему он спешит, не печалящийся, но словно бы спохватившийся, что и трухлявые-то они, эти столы и скамьи, не вечны, что и шаткие, прогнившие, они тем уж хороши, что как-то устояли и стоят. Башилов трогал рукой — ведь стол, ведь стоит и ведь без обмана, есть чего коснуться ладонью, и ведь совсем скоро приедет, может быть, другой человек, придет, притащится, пыльный, но ни коснуться, ни показать ему будет нечего. Время от времени Башилов просил, чтобы и жена коснулась стола ладонью.

— Вернувшись с вахты и помывшись, вот здесь они садились... Огромные люди, они ели, они пили чай, чашку за чашкой неторопливо и долго...

— Ты рассказывал, что на поминках пели — тоже здесь?

— Здесь! Всё здесь! — И Башилов широко развел руками, приглашая жену представить себе, домыслить сидящих за столами, за длинными вот этими столами, там и тут людей. Он тотчас же и рассадил их. Он пояснил, что мальчик с гармоникой сидел обычно тут, а там — мужчины, а там — женщины с высокими голосами. Покойник? — он переспросил, — а покойник в это время был, разумеется, на кладбище. Ты думаешь, что поминки — это когда покойник на столе? Нет, нет, дорогая, поминки сразу же после похорон. Он, Башилов, с детства пел на поминках и спутать никак не может — ты уж извини. Нет, нет, факельщик — это из кино, никаких факельщиков у нас не бывает — у нас просто много пьют, много едят, ну и поют тоже.

Клены также состарились; при такой жаре их чахлая тень не защищала святого места. Но Башилов и Башило-

ва не уходили — жена была под широкополой шляпой, а он держал над головой от солнцепека газету, другой рукой он взмахивал, поясняя свои слова, свои чувства. Их не разделило. Как бывает в доброй семье, утраченное одним утрачивает и другой; жена Люба на глазах теряла эти столы, эти скамьи и постаревшие клены с чахлой тенью.

А из дома, что слева, показалась неторопящаяся старушка: шла к ним.

Острым глазом Башилов признал в ней тетку Чукрееву, правильнее было бы говорить «бабку Чукрееву», так сильно она постарела; все же это была она.

— Чьи будете?

— Баба Алина, а ведь вы не узнаёте — это я, Георгий.

— Ой! — Она всплеснула руками.

Узнав, бабка Чукреева быстро-быстро заговорила, предлагая пройти к ней в дом. «Ой, да какая ж у тебя жена! Ой, да прямо красавица!..» — причитала она и опять звала к себе в дом, но Башиловы не шли. Они объяснили старушке, что они закоснелые путешественники и что приехали они на машине, как будто это снимало разом и гостеванье, и вопрос о ночлеге. Они сказали, что совсем ненадолго, проездом. Старушка не поняла. Но кивнула. Будем ли, спросила она, пить чай? — и кликнула.

Она еще раз кликнула высоким голоском, по-птичьи, после чего из дома выползла на солнцепек и подошла к кленам вторая старушка — с чайником в руках. Солнце ровно жгло и старушек, и чахлые клены, и горы вдали. «Но чай здесь все-таки пьют!» — подмигнул Башилов жене. Он все отмечал, такой наблюдательный. И когда бабуля Чукреева принесла на всех стаканы, Башилов, тут же воскликнув, отметил очевидное отсутствие размаха и упадок — четыре стакана, что за скудный чай?! — на что они, старушки, закивали, да, да, и с чаепитиями уж все кончается, жизнь кончается, чай тоже. Вдвоем-то они, старые, и чаевничают. Обе вздохнули. Обе сказали, что

старики сгорели да померли, а ведь у молодых все по-своему, по-иному.

— Столы повалились, — сокрушался им в тон Башилов.

— Энтот вон пока не повалился, мы за него осторожно и садимся — *с краешку...*

С краешка все четверо и сели, жена Башилова обмахнула, прежде чем сесть, шаткую старую скамью от пыли. Чай пили медленно. Чай был вприкуску.

Пересекая междомье, изредка проходили поодаль обитатели домов, жильцы, сильно обновившиеся временем — незнакомые или совсем молодые; некоторые поднимали на приезжих глаза. А бабка Чукреева, бабка Алина, все рассказывала — вдвоем, мол, пьем чай, так же вдвоем и песню иной раз, старушечьи песни слушать слушают, но только уж никто не подтянет. Чай вдвоем, песни вдвоем... Старухи пустились вспоминать о том, что за люди были в прошлом, как и при каких пожарах сгорели они, а Башилов, возбуждаясь все больше, словно бы подкидывал и подкидывал старухам имена:

— А Король?.. А Ахтынский, какой же силач, какой же мужик был!

— Сгорел, — кивали старухи; обе они не знали, зачем он явился вспоминать столько лет спустя, но знали, что, стало быть, такое ему уже нужно: явиться... Припоминая, они теперь взаимно подстегивали друг друга забытыми именами и незабытыми датами, а башиловская Люба слушала их восклицания с блуждающей рассеянной улыбкой.

Обернувшись к жене, тронув ее за локоть, Башилов шумно вздохнул:

— Да-а, не застала... не повезло тебе.

И старухи понимающе закивали — да уж, не застала, времечко-то *идеть и идеть.*

Стариков совсем мало, сообщили они, а Галка Сизова вышла замуж и куда-то уехала; *и она тоже,* подумал Башилов. Он допил чай. Его вдруг поразило, что без

изъятия и пропусков уже все здесь было осмотрено — так много, а так оказалось мало!

Он даже смутился отчасти. Он подумал, что жена, вероятно, тем более уже давно скучает: горы невысоки, междомье, чахлые клены да две старухи за чаем — что еще тут смотреть?.. Жена Люба как раз и взглянула на Башилова, нет, нет, чуткая, она ни в коем случае не поспешила сама и не поторопила его, не встала из-за стола. Она только взглянула — помоги, мол, и подскажи, как и что полагается делать дальше, если *все осмотрено?*.. Башилов и сам был удивлен не меньше: он считал, что здесь всего было так много. Он не понимал, каким образом *оно* целиком уложилось в час-полтора времени.

— Эй! — крикнула бабка Чукреева.

Из левого дома на солнцепек вышел старик Чукреев, тот, что в прошлый приезд, почти двадцать лет назад, стелил Башилову постель и укладывал его спать как родного. Башилов встрепенулся. Башилов немедленно встал и уже заранее улыбался встрече, но бабка Алина тут же и при том решительно предостерегла — не ходи, мол, за ним и не трогай. «Почему?..» — «Не надо». Башилову дали еще чашку чая. Оказалось, что старый Чукряй впадает в детство. «И нервный очень, — предостерегла бабка Алина, — а в эти дни прямо-таки кусается, подлый, если его тронешь...» Стелили постель, ставили на стол молоко, укладывали спать у открытого окна, — в облике старика все это теперь проходило мимо и дальше, дальше...

В некотором раздумье, не поехать ли, не пуститься ли в обратный путь сейчас же, пока не сделалось тоскливо, Башилов стоял и трогал рукой ствол клена. Чаем он напился по самое горло. Жена Люба разговаривала со старушками.

Она разговаривала с ними оживленно и с некоторым

интересом, но, конечно же, дай Башилов знак, она тут же изготовилась бы с ними проститься. Выискивая хоть что-то, Башилов прошагал к дальнему поваленному столу и присел на его старые доски: тут он сидел мальчиком и пел. Башилов поднял голову чуть выше и чуть завалил набок, как делают все мальчики в детстве. Небо было голубое, без единой морщинки облака. Он смотрел на пригорок-холм, смотрел на степную траву — что-то высвобождалось в душе, но высвобождалось тускло, немо.

По мысли же, куда ни воткни взгляд, должна была возникать музыка: пространство должно было легко и само собой отзываться. Уподобляясь, он не только заваливал голову набок, но и щурил глаза, чтобы они были меньше, *моложе*, вот холмы, трава, вот сейчас должен вступить мужской хор, потом женщины, а тогда и взовьется над ними всеми голос мальчика. Башилов всматривался: он как бы цеплялся за шероховатости пространства, взывал, но перед ним расстилались онемевшие холмики. Он только и слышал, как стучит в висках.

— Георгий! Ты что там? — позвала жена.

Она сидела в десяти шагах за ветхим, единственным здесь столом. Теперь было видно, что ей скучно со старухами.

— Сейчас...

Он смотрел туда, где сходилось небо с холмами. Эта врезавшаяся в память волнистая линия жила в Башилове постоянно. В больших городах и в малых, в Бухаре и в Киеве, стоило закрыть глаза, линия холмов рождала мелодию еще раньше, чем он успевал о чем-либо подумать. Но, кажется, волнистая эта линия плодоносила именно в воспоминаниях и только в воспоминаниях. Он ее унес. И здесь, наяву, эта местность уже ничего не рождала. Она была выпита, как бывает выпита вода, водица, которой и было-то немного. Духовная пыльца облетела тогда еще и как бы переселилась, перешла в мальчика Жору, где и жила, объявляясь в музыке и музыкой, — сами же холмы, и рисунок горизонта, и дорога, и тем-

ные купы шиповника музыки больше не рождали. «Все высосал...» — подумал Башилов; ему было жаль и не жаль этот онемевший пейзаж.

— Георгий, — позвала жена.

Башилов встал с досок. Отряхнулся — да, да, он готов ехать. Когда он встал, доски старчески скрипнули.

Они оба были готовы ехать, но задержались еще, так как на заводской территории вдруг начался пожар, не самый большой, а все же настоящий аварийный пожар, остро напомнивший детство. Огонь и вода опять стали значащими, время скакнуло для Башилова вспять, а жена Люба смогла увидеть то, о чем не раз слышала. Их и здесь не разделило. Они досмотрели до конца — Люба взволновалась, сделалась очень возбужденной, а было уже поздно, темно. Составив из сидений плоскость, они заночевали в машине. И ранним утром уехали.

5

Что он там успел, что высосал-выпил, два-три глотка? Но тогда шлягеры — это же насосы, откачивают сотнями кубов и разрушают, корежат, богатеют, держат голову высоко, подменяя собою суть и себя же невольно за суть принимая. Мы хоть мучимся своей долей вины... Глаза знающего сами собой смотрели туда, где вертикальные линии труб оттенялись длинным строением, одноэтажным, вытянутым, с металлической серебристой крышей: там начинались пожары. Считалось, что раз в год возле компрессоров воздушная струя своим напором ударяла мелкие камешки друг о друга, высекая искру. «Смотри!» — говорил Башилов жене. Она не понимала. «Смотри! смотри!» — тыкал он пальцем: в одном из окон этого длинного одноэтажного строения выбивались тонкие струйки пара, что и было началом. Струйки то пшикали, то медленно курились, вроде бы невинные, восходящие к небу струйки. Фиу-фиу-фиу-фиу-фиу.

— Куда же смотреть? — Люба только и видела двух

мужчин в касках и в ватниках, тянувших белые шланги. Казалось, они были не на месте, казалось, они с шлангами топтались впустую и не замечали этих нервных струек белого дымка, похожего на пар. Струйки тем временем сгущались, стали клубиться, и одно окно в строении вдруг глухо лопнуло, после чего взамен белого пара оттуда вырвались черные угольные клубы дыма, а с ними целый рой искр. «Ой!..» — вскрикнула жена, и теперь она знала куда смотреть.

Зазвенело еще одно окно, но звук был совсем иной, так как стекло окна выбили изнутри. Оттуда высунулась башка и заорала: «Топор!..» — и опять заорала, и почти сразу подала туда топор метнувшаяся на крик женщина в робе. Женщины в робах только тут и стали заметны. Они *сидели на скамеечке* рядом с готовым взлететь на воздух вытянутым серебристым строением. Они сидели лицами к пожару, затылками к Башилову и его жене. Их было шестеро. Они сидели и как бы ждали минуты своего участия — подать, помочь.

Пламя взметнулось, и, перекрывая звуки лопающихся стекол, возник характерный рокочущий звук — пламя скрылось, затем взметнулось вновь. Огромное, оно как бы встало на дыбы. Жена не знала, но Башилов знал, что из растрескавшихся труб вылились лужи нефтяных полупродуктов и огонь добрался до них. *Ого, полыхает!.. Это левей! И вон горит! И вон! А кто ж ему мешает, когда ветер да сушь!.. Ого, как пошло! Как полыхнуло! Глянька, уж и завода не видно!* — завод было видно, но в голове Башилова звучали крики прежних лет, спрессовавшиеся в одни возбужденные мальчишечьи возгласы, а также всхлипы малосильных и неучаствующих старух, стоявших вот на этом самом пригорке: голоса прошлых пожаров.

Когда высота пламени делалась сравнимой с высотой труб, казалось, весь завод и впрямь сейчас взлетит, однако отчасти то был оптический обман: пламя было впереди и все собой закрывало.

Башилов оглянулся: обе старушки да он сам с женой — только они и смотрели.

— Смотри! Смотри! — Теперь жена дергала Башилова за рукав: ей стали понятны те двое, что суетились с шлангами сзади строения. Топоча сапожищами, яростно, мужики кинулись с шлангами к боковой линии огня: направив медные сверкающие патрубки, они разом вонзили две струи воды, смешанной со спецпеной — и, почти вскрикнув от боли, пламя выдало белые пышные клубы. Оба орали. Через жуткий гуд пламени доносились их жуткие матерные слова, которые сейчас совсем не удивляли — слова были на точном своем месте. Женщины поднялись. Теперь стало видно, что женщины вовсе не сидели на скамеечке — они сидя тянули, протягивали, продергивали застревавшие шланги. Теперь они тянули стоя. Женщины раскачивались и на рывке разом ухали.

Послышался грохот: перегревшийся, взлетел небольшой резервуар, крытый и от других резервуаров, к счастью, отдельный. Он взлетел, и доски его мостка, кувыркаясь, тоже взлетели под небо, — всегда было зрелищно; однажды Башилов *видел, как вместе с досками взлетел кот банальной тигровой расцветки.* Кот кувыркался, а потом уж не кувыркался, а просто парил — распластавшийся, вытянувший лапы и воющий в воздухе, как сирена. «Не веришь, — сказал Башилов жене. — Вот туда взлетел!» Когда Башилов коснулся ее плеча, она вздрогнула.

Из окна, где пожар начался, теперь беспрестанно вырывались багровые клубы: в том и дело, что одноэтажное серебристое строение само по себе не горело, лишь выплескивая из задних своих окон на землю разбегающийся огонь. Оно горело внутри. Там, в огне, пробивались мужчины; погасить не сумев, они сумели добраться до ворот и отперли строение изнутри. Аварийные ворота были довольно широки. В них, прихватив топоры, не мешкая устремились женщины. С закутанными в тряпье головами, похожие издали на кукол домашнего изготов-

ления, женщины принялись рубить перегородки, а оттуда, где было не продохнуть от дыма, лихорадочно работая топорами, двигались им навстречу мужчины. Мужчины задыхались, но наконец пробились. Один из них выскочил из ворот — черный, дымящийся, он заорал на женщин, после чего те послушно побросали топоры, *деревянное вон!* — и баграми — длинными баграми, держась по двое-трое за багор, вскрикивая от натуги, выволакивали деревянные переборки наружу. Женщины оттаскивали длинные горящие бруски на траву, где и бросали поодаль, а затем вновь устремлялись в ворота и вновь захватывали то, что цепляли им на багры там, в огне, черные мужчины. Отпылав, бруски на мокрой траве мало-помалу гасли. Бруски превращались в некрасивые, убогие в своей обгорелости деревяшки.

Менее мощная, но более опасная часть пожара была там, где пламя выплескивалось из окон здания на заднюю сторону и где огонь с деревянных ящиков мгновенно перекинулся на разлитые лужи масел и отходов. Те двое, в касках и с шлангами, стоя насмерть, уже совсем близко от газгольдера не давали ни пройти, ни подобраться огню, который пер и пер, сжирая на пути лужи масел и от лужи к луже взметываясь. Но и здесь уже означивался перелом. К звукам добавился ритмичный клекот — заработал насос: пена вздувалась, покрывая пламя и одевая его в белую рубашку.

Лишенный дерева, огонь внутри строения затухал. Но в самой правой части, прежде чем погаснуть, пожар на миг все же взял свое: клубы пара и дыма смешались, и правая часть крыши строения вдруг снялась, раскрылась, взлетела, после чего рванувшееся к небу целое облако искр и огня означило взлет пожара, но и одновременно его конец. Пожар кончился разом с этим своим мощным последним вспыхом. Возникла понятная длительная тишина, в которой потухшее строение стояло само по себе, смотрело пустыми глазницами окон. Тихие и несильные дымки тянулись оттуда.

Жертв не было. Грузовая, стоявшая там наготове, ушла в город пустой. Смеркалось.

Завод был обнесен невысокой стеной, в ограде была дыра, а из дыры с сильным напором бежал белый мутный ручей. Это бежала вода, погасившая пламя. Башилов пояснил жене, что вода будет течь еще долго: всю ночь. Но и иссякнув, вода оставит влажный, промытый белым след, на котором не растет трава.

После своего авторского концерта в Вене Башилов остановился у композитора С. — он прожил у С. три дня. Утратив в силе музыкального воображения, венцы тем не менее остались одними из самых тонких ценителей музыки, что в полной мере относилось и к С., талантливому и несколько меланхоличному продолжателю традиции Малера.

Когда после обеда женщины поехали посмотреть Вену и сделать покупки, Башилов и С. сначала покуривали, затем стали немного музицировать. Башилова тогда охватила идея маленького эксперимента, своеобразной обкатки новой вещи: был закончен квартет, и хотелось проверить музыку на чутком чужеземце. Первая, вторая и четвертая части квартета были написаны достаточно мощно, третья же до их силы не дотягивала, и, подстраховываясь, Башилов ввел в третью часть старинные и взаимно перекликающиеся темы Аварийного поселка — речь не о мелодии, скорее о праоснове, о том, что Башилову удалось вычленить, спускаясь в музыке в направлении ощущаемого им примитива. Тогда же возникло общее для всех частей и как бы ритуальное начало; возник внеличный, непреложный, стоящий над человеком и властно его увлекающий мелос: квартет был готов. Отчасти с улыбкой и отчасти всерьез Башилов хотел, чтобы С. выбрал на свой вкус лучшее. Точнее, вопрос стоял так: какая часть наислабейшая и какою

можно было бы в квартете пожертвовать, ибо квартет сейчас, несомненно, растянут и несколько неустойчив?

Фортепьяно, конечно же, не передаст звучания струнных, но вопрос был ясен, и Башилов сел к прекрасному роялю в огромном кабинете С. с окнами на нешумную площадь. Башилов играл несколько вяло. Эффект же был неожиданным: едва прослушав, венец немедленно указал на третью, на «поселковскую» часть, но не как на слабую, а как на лучшую. Венец взволновался. Венец даже вскрикивал от восторга. Импульсивный, он сказал, что ведь у них *есть время, пока нет жен:* он сейчас же звонит своим приятелям, и они квартет сыграют, если квартет записан.

— Вчерне записан. — И Башилов признался: — Но я и со второй скрипкой не справлюсь.

— Одну минуту, — сказал венец.

Его приятели приехали быстро, квартет был сыгран, и венские музыканты, сыгравшие музыку впервые, шумно пили вино и говорили о несравненной третьей части.

— Это музыка, западающая в душу! западающая! западающая! — повторял толстяк-виолончелист.

Башилову было лестно. Но кто-то из них опять же в похвалу сказал: «...нутро!» — или он сказал: «...глубина!» — и капля старого яда дала себя знать без промедления. Башилов сник: да, всего лишь случай, да, обкатка, а в сущности, радостный пустячок, но и они, случай, обкатка, пустячок, лишний раз подтвердили, что на поверку никакой особенной музыки в нем, в Башилове, нет и не было и что он лишь чувственная пиявка, перекачивающая поселковский мелос. Он — куст, все более пышный и зеленеющий по мере того, как скудеет почва. Куст, который вольно или невольно иссушает ее. Неужели так? Башилов сделался красен, обмяк лицом.

Возможно, в голову ударило незнакомое дунайское вино — Башилов разговорился; он вдруг рассказал, откуда и как возник переклик музыкальных тем третьей

части. Он рассказал, что с поселком существует, кажется, определенная и по-своему трагическая связь и что *там* этой замечательной музыкальной темы, увы, больше нет, так как она есть *здесь*. Он как бы признался. Он опустил голову. Но они ничего не поняли. Волнуясь, Башилов пустился тогда в подробности: рассказал о детстве в Аварийном, о скобленых столах и даже о выкриках спятившей Василисы-старой, интуитивно прозревшей, что музыкальный рост Башилова, творческий его вырост, высасывая, сводит на нет музыку поселка. Рассказ венцы выслушали с чрезвычайным вниманием. У них заблестели глаза, они оживились. Они совершенно ничего не поняли.

— Какая поэтическая легенда! — воскликнули они.

— Вы, Георгий, поэт! — объявил С. с бокалом в руках.

Смущенный непониманием, Башилов стал объяснять, что речь вовсе не о легенде: как-никак он оттуда родом, и песенное обнищание видел сам, видел последовательно, от поездки к поездке, и поверьте, лучше б не видеть, не знать, — он сказал именно о мучительности этого знания для всякого художника, о гнете, о тяжести, голос его дрожал, венские же музыканты смотрели на него любя, сочувствуя, но не понимая. Они молчали. Кто-то из них тихо произнес:

— Метафизика...

Пришли жены, и Люба, жена Башилова, увидев, какой он красный, и сообразив, о чем речь, тут же забыла о покупках и вклинилась в трудный разговор: да, да, вы правы, Георгий — поэт! что касается поселка, Георгий большой, большой поэт!.. — жаль только, что Люба говорила на немецком второй раз в жизни, а Башилов был уже сильно не в духе, чтобы ее речь поправлять. Башилов молчал. А Люба, сбиваясь в словах, теперь настаивала, что музыкант Башилов уже в грудном возрасте видел пожары, такие полыхающие и свирепые пожары. На плохом немецком она говорила об аварийщи-

ках, о взлетающих резервуарах, об обгоревших людях, и очень скоро венцы решили, что композитор родился, а также провел детские годы на линии фронта, вблизи передовой. Они сделали скорбные лица. Когда Люба закончила, толстяк-виолончелист сказал, что война — это несчастье, большое несчастье.

Грех общий, и его, башиловские, мучения даже не мера его вины, и уж, конечно, не попытка свалить на песенников, которые стократ разрушают не ведая. И, может, не сам грех, а уж следствие греха, что музыка распалась на башиловых и песенников. Что считаться!.. Когда возвращались, Люба к ночи уже крепко спала, а Башилов вышел покурить в проход вагона, где с некоторых пор ему, много ездившему, так хорошо думалось. Постукиванье скорых колес, дерганье на стрелках, но еще больше полуразмытые во тьме ночные полустанки, с их суровой обыденностью и запахом шпал, стали для Башилова некоторым замещением Аварийного поселка. Он стоял у окна. Это не было изощренностью, это было связующей ниткой. А бессонница в поезде и некоторая толика необъяснимой ночной тревоги вполне сопрягались со складом башиловского мышления: в тот раз не прошло и получаса его одиночества, как явилась замечательная мысль. Да, четвертую часть квартета он вовсе отбросит, третью же, поселковскую, усилит и углубит еще больше, — горечь горечью, а музыка музыкой. Пусть квартет станет трехчастным, что ж делать! Третья, а не иная часть выросла в сильнейшую, и было ясно, что на ней, на мощной, и надо кончать.

Как-то исполняя с Гущиным свою скрипичную сонату, Башилов своеобразно ощутил зал: вдруг показалось, что в концерте присутствует кто-то из поселковских. Было это почти невероятно: камерный концерт, притом современный, довольно сложный, да еще и в Ленинграде, но и при всей невероятности взволновался Башилов

необыкновенно. Пусть случайно, пусть билет был дан им в нагрузку, ну, мало ли какими судьбами, но они здесь, здесь, *они же так музыкальны,* вот что забилось в башиловском возбужденном сознании. Зал затаенно слушал. Скрипка вела партию, а Башилов поддакивал ей нарастающими аккордами и, готовый перейти к сольным пассажам, все думал — вон там, в средних рядах, он или она наверняка там.

Следующая вещь была также его собственная, соната для фортепиано, — Башилов несколько поспокойнел и играл, размышляя, что, может быть, не сам аварийщик, но, может быть, кто из детей его, выросший, приехавший или даже переехавший в Ленинград жить, пришел сегодня в концерт. *Они так музыкальны,* что и подхлестывало, и будто бы поспокойневшая душа Башилова вдруг выдала чувственный всплеск, который не столько окрасил по-новому мелодию, сколько придал ей неравновесие, опасный и почти виртуозный взлет. Руки музыканта заработали с предельной нагрузкой. Именно спасая вещь и сам спасаясь, Башилов сделал непредсказуемое: ввел, чтобы уравновесить, новую тему и, оттеняя, гармонизировал разработку на ходу, после чего соната приобрела еще одно небольшое анданте, а Башилов — славу своеобразного исполнителя.

— Ты, брат, как джазист импровизируешь! — сказал Кеша Гущин, который сонату знал и когда-то перекладывал ее финал для скрипки.

— Нечаянно, — смеялся Башилов.

— Буду бояться с тобой играть, — качал головой скрипач. — Ей-богу, джазист!

И чем более мерещился стареющему Башилову удар сверху, взлетевшая и кувыркающаяся в воздухе доска, которая падает, падает, падает и, наконец, ударяет его в голову, в висок, тем более подтверждалось его чувство вины; он винил и винил себя, но это не значило, что

винил только себя. Жена композитора рассказывала, что он не вылазил из кресла-качалки, но вдруг стал по субботам и воскресеньям держать окно в кабинете своем открытым. *Им лишь бы повторы,* говорил он раздраженно. Он говорил, что *им* нужно упрощение, примитив, это было всегда и всюду. Фуга в церкви и танец на улице, а значит, всегда, даже и в церкви, они хотели повторяющегося вдалбливания, едва лишь отрывались от праматери музыки. От века к веку куплеты в театрах, марши на похоронах, танцы в парках и как ослепительная белая вершина вдалбливающего развития — нынешний всемирный шлягер, — им нужны повторы, повторы, повторы...

Окно было тем не менее открыто.

— Опять! Каждое воскресенье я простужена, прикрой же окно, — говорила жена Люба, — если даже и запоют что-то, это будет пьяная жуть и такая банальщина, что первый же возмутишься...

— Если будет банальщина, я прикрою.

— О господи, — говорила жена.

Сгущались сумерки, окно оставалось открытым, и Башилов хорошо укрывался, когда ложился спать. В темноте стены сначала исчезали, а затем пропадали совсем. Мир становился беспредметен. Люба с мужем не спорила, — быть может, засыпая, он все еще ждал, что под окнами запоют, а быть может, ему казалось возле темного раскрытого окна, что весь мир вокруг — это его поселок.

Ночью делалось слишком холодно. Жена Люба просыпалась; поеживаясь и дрожа, она проходила к нему в кабинет и прикрывала окно.

6

Башилов приболел, и чувство вины достало его снова. Он тогда отравился в ресторане вареными раками, жестоко промучился, но хотя рвоты и тошнóты оста-

лись, наконец, позади, Башилов был все еще плох и лежал в постели при подскакивающей внезапно температуре. Остаточная интоксикация преследовала приступами: слышались ночные шаги, то вдруг собачий лай. К ночи обрушивался жар, а жизнь казалась малонадежной, висящей на волоске. И Башилов вновь решил, что виноват перед поселком. И что он лишь играл в прятки с совестью, но не спрятался. Опыт не утешал своей общностью, и рискованная мысль, что композиторы прошлого так же черпали и так же истощали лоно, не облегчала ноши. А счет продолжался, счет давил, и как же было оплачивать, если из собственно сочиненных Башиловым первой и второй частей нового квартета песенники не взяли ни ноты — хитрецы, какой нюх! Зато из энергической фатальной темы, что в третьей части, разными и незнакомыми Башилову людьми были сработаны искристые жизнерадостные песни, одна за одной, не менее семи штук; песни были талантливы, нравились, и уже год за годом вся эта веселуха звучала с эстрады, по радио — и возвратным обычным путем — глушила и добивала поселковскую стихию музыки. Из угла надвигалась картина-сюр. Песенники были теперь единым и многоголовым живым существом — головы их раскачивались, пели гаммы, а ночь тянулась как бесконечная. Башилов мучился. Жар не покидал.

Он не понимал, где он; думал, что он в поезде и что едет *туда,* в поселок, — больной, он подымался с постели и в темноте пытался подойти к окну. Он пошатывался. От жара шум в голове уплотнялся в тихое постукивание и возникал стук колес — темень за окном походила на ту темень, что за вагонными окнами, когда поздней ночью раздергиваешь белые занавески, а поезд на полном ходу.

Среди ночи, перемежаясь с мыслями о смерти, зародилось подозрение, что он в долгу перед людьми поселка: он взял общее, взял и, значит, надо вернуть. Но как? Возможно, что в самых разных *возвратных* движе-

ниях художников, в том числе и в толстовском опрощении и возврате к земле, тоже была тягучая нота задолженности, был долг, за которым скрыта боль. Он едва не задохнулся от откровения. Такая мысль не должна была приходить к нему. Музыка слишком автономна, и всякая острая мысль уже и рождается вместе и заодно с другой мыслью, уравновешивающей, смягчающей первую. Так что он, музыкант, захвачен именно от внезапности, он болен, он горит. Башилову вдруг показалось, что он поступит очень верно, если поедет в Аварийный и разыщет там мальчиков и девочек с музыкальным слухом, с возможностями развиваться.

Сознание оживилось: чтобы заниматься с детьми, он несколько раз в году будет приезжать к ним, а в его отсутствие в Аварийном, хотя бы помалу, с ними будет заниматься бабка Алина — бабка Чукреева, у нее такой слух! Горы будут стоять, а трава взбираться на горы. Башилов встрепенулся, он даже и сел в постели. Ведь у бабки и слух, и песни, и закваска старинного многоголосия — вот и недостающее звено, что сцепит его умозрительную совестливую идею с реальностью, бабка Алина, она! — можно ее уговорить, убедить, упросить, можно в конце концов привезти ей подарков, — Башилов лежал в жару, потел, лихорадочно говорил, все более и более обогащая замысел подробностями.

— ...Я хотел бы, — объяснял он жене Любе, — чтобы там жили своей обычной жизнью и плюс — занимались старым многоголосием. Пусть поют с детства. Даже и небольшого детского хора будет достаточно. Поселок невелик — возникнет микроклимат... Люба! Они бы подрастали и пели бы, как пели из века в век...

— Конечно, — говорила жена Люба.

— А бок о бок с поющими детьми жили бы взрослые.

— Конечно.

— Я должен вернуть долг поселку — ты слышишь?

— Конечно, — говорила жена Люба возле его постели, ночью. Она понимала, что он болен, что он в жару

и что мысли его поправятся, как только поправится он сам. Стоило ли сейчас перечить? Да и пусть бы в конце концов он съездил в поселок. После такой поездки Башилов возвращался невеселый, огорченный, даже и потерянный, но, видно, раз в десять лет эта поездка, эта огорченность и эта потерянность были ему необходимы. Люба была умная женщина. Люба была умная жена. Она понимала, что, если муж хочет куда-то уехать, пусть едет — главное, чтобы он там не простудился.

Выздоровев, Башилов едва дождался лета — наиболее благоприятного времени для поездки.

Хотелось побыстрее, и оттого ехал он невыносимо долго, дважды ночуя в мотелях и почитывая перед сном беллетристические книги, какие обычно читал в поездках. Но и читалось плохо. Когда же он пересек Волгу у Сызрани и впрямую, километр за километром, стал приближаться к Уральским горам, он и вовсе занервничал. Дороги стали неважные, мотель Башилов уже не искал, ночевал в машине, а скапливающееся недовольство вдруг оборачивалось вновь против самого себя. Он все повторял, что едет туда слишком поздно.

Когда болел, думалось, легко. Зато теперь, за рулем, Башилову казалось, что в машине он едет напрасно и что надо было ему, пожалуй, приехать простым смертным, в поезде, и чтобы добирался он до поселка пеш и прост, усталый человек, а не турист, чтобы плечи устали, ноги устали, чаю хочется, человек, отчего и пыль на нем человеческая — не туристская пыль. Он нервничал. Уже в пути был знак, Башилова остро покалывало предчувствие неудачи: вдруг исчезали слова, так правильно, так честно, так совестливо заготовленные. Была отвратительная минута, когда он уже предвидел, как пройдет эти три дома, что буквой П, как отправится к гаражам и выйдет наконец на разговор с внучатым племянником Чукреевых и как тот напрочь его не поймет, даже и вскрикнет:

— Детей в хор?! Еще чего!

Башилов переспросит — разве плохо детям учиться музыке?

— А зачем? — в свою очередь, переспросит тот, и так легко, так быстро все кончится — и слова распадутся. И подтвердится, что Башилов в ту ночь приболел, был в жару, а планы строил как бы воздушные и возрасту своему не соответствующие. Он даже обиду предвидел, когда в довершение внучатый племяш Чукреевых вдруг посмотрит на Башилова вприщур, как на хитрого человечка из столицы, который неясно, каким образом, но, конечно же, хочет обделать дельце и нагреть на том свои тонкие музыкальные руки.

Однако дорога — это дорога, и когда Башилов ехал туда, еще только подбираясь к Уралу, был и другой знак, была замечательная минута: придерживая руль, он катил не по асфальту, а утопая в белой пыли, в той самой, в которой когда-то тащились первобытные полуторки, а еще прежде возы, и, быть может, прапрадед Башилова заигрывал с его прапрабабкой, перекликаясь на медленно ползущих высоких возах, а пыль внизу клубилась. Отклик на прошлое окрылил. И сам собой пустился Башилов в представления, обычные, когда человеку за пятьдесят и когда, пройдя зенит, собственное «я» мало-помалу растворяется во всеобщей людской судьбе, а горечь неизбежной смерти исчезает. Сбавив скорость, он прищурил глаза, минута была прекрасной: ему удалось представить на изгибе дороги те высокие возы, женщин в белых платках и даже торчащие вилы с отполированными светлыми черенками. Он увидел жаркий-жаркий полдень, и шмелей, гудящих над возами, и прапрабабку, лузгающую неторопливо семечки. Композитор сладостно млел, мягко держа руль и правя по пыльной дороге.

Столов не было; на их месте в земле торчали остатки опорных столбиков, гнилых, не достававших Баши-

лову и до колена. От скамей тоже осталось мало: из шести уцелела одна, при том что была полуповалена и одним концом лежала прямо на земле. Был и бурьян. Клены вконец состарились. Башилов стоял около и курил.

Когда, пересекая междомье, незнакомые две женщины вышли развешивать белье, одна из них прошла мимо и совсем близко от Башилова — он не удержался, он поздоровался и спросил, дома ли сейчас бабка Алина, то бишь бабка Чукреева.

— Кто это? — женщина не знала. Расспросив и сколько-то подумав, она припомнила, что бабка Алина уже пять лет как померла; она помедлила и припомнила больше — бабка померла, но дед еще жив, дед еще и на завод ходит, помогает. Сейчас он с вахтой... И только тут женщина поинтересовалась, с кем она говорит. «Я здесь вырос...» — и Башилов коротко рассказал о себе, но женщина была из приехавших в поселок *всего только двадцать лет назад,* из давно уж прижившихся здесь, однако же не из старожилов: Башилова она не знала, не помнила. Так, слышала что-то. Она подняла таз с бельем. Она не пригласила Башилова выпить чаю, не пригласила и просто посидеть под крышей. Она только повторила, что старик Чукреев скоро придет вместе с вахтой.

— Спасибо, — сказал Башилов.

Здесь встал бурьян, а основная тропа шла по междомью стороной — на расстоянии, и старика Чукреева он признал лишь потому, что ждал; дед отпустил белую бороду. Вахта прошла — Чукреев шел среди последних; Башилов окликнул:

— Семен Иванович...

Башилов назвался, и совершенно неожиданно дед Чукреев, подвижный и весь живой, сразу сказал — да, да, Георгий, замечательно, что приехал, конечно, помню, видишь, какая у старика память! И добавил — сейчас, мол, заводскую грязь смою слегка да и спущусь:

поговорим!.. И как-то странно, как-то слишком легко и быстро узнал он Башилова — может, не узнал? Он назвал имя Башилова с той легкостью, с какой называют, расставшись вчера или позавчера. Башилов сидел и ждал в некотором недоумении; он ждал недолго: уже через три-четыре минуты тот появился вновь.

Дед присел на корточки, а приезжий композитор сидел на том самом обломке единственной скамьи; когда же Башилов предложил сигарету, старый Чукряй легко ответил, что курит свои, нет-нет, он всегда свои — и правда, вынул сигареты. И задымил.

— Может, заночевать надо? — спросил почти сразу Чукреев. — И пожалуйста! Хозяйка у меня померла, места много.

— Я посплю в машине: привычный...

Отчасти Башилов уже заколебался, спать ли в машине (улыбнулся: вспомнил беленую комнатушку, где спал в детстве).

— Как хочешь, — продолжал старик Чукреев. — А то — пожалуйста. И беру я по-божески: полтинник.

— Полтинник? — Башилов поднял глаза.

— Да. В городе-то рупь за койку берут. — Он цепко и просто смотрел на композитора.

Башилов даже рассмеялся, фыркнул — да узнал ли ты меня толком, дедуля, а я ведь Башилов, Жора Башилов.

— Ну правильно, — живо согласился дед Чукреев, — я и подумал, может, Георгий заночевать захочет.

Башилов медленно и как бы размышляя произнес:

— Я жил здесь когда-то. Я рос здесь когда-то.

На что дед Чукреев покачал головой:

— А это все равно.

И повторил: полтинник за ночь — это по-божески...

Докурив, дед выбросил окурок и ушел. Нет, это было удивительно, как быстро он ушел, такой шустрый, улыбчивый, такой деловой старик. Башилов не рассердился. Башилов тоже теперь улыбался — и удивленной, и про-

щающей улыбкой. Башилов продолжал сидеть на обломке скамьи; дед выкурил сигарету куда быстрее его.

Возможно, дед Чукреев все же счел, что слишком сухо переговорил и расстался с тем самым Жоркой Башиловым, которого когда-то порол крапивой. Дед высунулся из окна и крикнул:

— Если чего надо, к внучатому сходи!.. Он там — у сарайчиков!

Крикнул и исчез. А Жорка Башилов, которому было за пятьдесят и который уже был сильно сед, сидел и курил. Было тепло. Несколько мелких облаков не портили высокого неба.

Внучатый — значило внучатый племяш, племянник. Башилов пытался вспомнить лицо или хотя бы вычислить, кто бы это мог быть, но память ничего не сохранила. Докурив, Башилов отправился к сараям: сараи с некоторым даже размахом были переоборудованы в гаражи, народ был там. Стояли там три, кажется, машины, мотоциклы с колясками — намечалась и стоянка. Все это было отчетливо видно на солнце. «Разжился аварийщик!» — подумал Башилов не без местнической гордости. Но приостановился. Неудачная минута могла обернуться неудачей всего замысла. Предчувствие кольнуло, но ведь есть встречи, которые зреют задолго и которые не обойти; и более того, понять которые можно только в том случае, если идешь на их поводу до конца.

Мужчина был лет тридцати или побольше, и, разумеется, Башилова он не знал. Крепкий, ладный, он возился с мотоциклом: правил помятое колесо, а то вдруг склонялся над мотором, который обдавал все вокруг резкими звуками и едким белесым выхлопным дымом. Сначала Башилов деликатно постоял в стороне. Потом сел на бревно: наблюдал.

Молодой мужчина как раз закурил, и Башилов, уняв некоторое волнение, подсел к нему ближе, прикурил,

после чего неторопливо и как бы даже меланхолично стал рассказывать, что он, Башилов, здесь жил и бегал мальчишкой, но что теперь он музыкант, что вспомнил о родном поселке и вот приехал. «Хорошо-о, — уважительно сказал внучатый. — Родные места посетить хорошо». Он глянул на свой мотоцикл; не продолжить ли работу. Он поддакивал, он кивал, но при всем том в поддакивающей интонации голоса что-то настораживало, да и взгляд его был отнюдь не меланхоличный: мол, знаю, что приехать в родные места хорошо и приятно, но на самом-то деле — ты и правда за этим и с этим сюда приехал?

— Я ведь музыкант...

— Так, так, — поддакивал тот.

— Я музыкант, — повторил Башилов и, уже нацеливаясь в суть, заговорил о музыке, о песнях, которые здесь пели, когда он, Башилов, был мальчиком. И ведь как пели, и ведь он тоже с ними пел, маленький мальчик. Волнение прорвалось — он заговорил быстро, он рассказал о длинных дощатых столах, о старинных распевах. Отсюда смотреть — дома были как прежние! Возможно, он слишком увлекся.

Сначала внучатый племянник прислушивался, нечасто, но с вниманием поддакивал и кивал. Но вот он заскучал, завял и, скосив глаза, смотрел на красный рейсовый автобус, что подходил все ближе и в полста шагах от них затормозил возле крытой остановки. Из автобуса выходили люди с покупками: они несли в руках коробки с обувью, свертки, авоськи, где просвечивали апельсины, о которых в поселке раньше и слыхом не слыхивали, — да ведь и автобуса рейсового не было. Башилов не спешил судить относительную сытость: было бы слишком просто. Автобус развернулся и ушел. Люди проходили мимо, и с некоторыми из них внучатый племянник Чукреева перекинулся ленивым приветственным словцом.

Дождавшись внимания, Башилов продолжил:

— С музыкой в поселке сейчас плохо, совсем плохо. Не поют ведь...

— Как не поют?

— Не поют.

И Башилов пояснил, что он вовсе не упрекает. Более того: он готов говорить о своей вине, именно о своей, которую можно понимать и означить хотя бы как *вину отсутствия,* вину неучастия, — он сглотнул ком; он пересилил трудную паузу и, подступая с другой стороны, завершая, заговорил наконец о том, что в поселке растут дети, что дети к музыке чутки и что детский хор мог бы стать искуплением его, башиловского, долга. Если хотите, искуплением его вины, вины невольной, ибо если художник и высасывает соки из почвенного пласта, то явление это широкое и общее и нельзя процесс ставить в вину одному, отдельному человеку. Башилов от волнения говорил сбивчиво. Он повторил про хор. И возможно, именно тут, уставший от накручиваемых и наполовину непонятных словесов, внучатый племянник воскликнул:

— Детей?.. В хор?

И засмеялся.

К их необычному разговору мало-помалу прислушивались тем временем другие аварийщики; они ремонтировали кто мотоцикл, кто машину или просто возились в гараже. Они вылезли поближе. Был общий перекур. И как же дружно все засмеялись, когда внучатый племяш подмигнул, а потом сострил, что приезжий, мол, человек умный и потому не только детей, но, кажется, и старух поселковских надеется заманить, а то и загнать в хор. Они смеялись, а Башилов припомнил, как, подъезжая сюда, увидел кусты шиповника и как решил было, опрощаясь, спрятать там, в колких кустах, машину, а с ней и свой туризм, и чтобы пришел он к ним пеш и прост. Они смеялись, и им было неважно, пришел он или приехал. Они не понимали, о чем он говорит. А синее небо было недвижно. Ни облачка. Отсмеявшись и

перекурив, они вновь влезли в сарайки-гаражи. «Дай мне насос». — «Да потерпи. Самому пока нужен!..» Голоса смолкали, и только слышались в голубом воздухе удары металла о металл. Внучатый племяш орудовал гаечным ключом, ловко и намертво затягивая коробку на мотоцикле. Он работал. Он насвистывал. Башилов все еще сидел на том бревне — в двух шагах от него.

Неудача замысла была очевидна, но не затеять разговор вновь Башилов уже не мог: слова из него вышли, видно, не все, и, давно заготовленные, эти слова изнутри теперь давили. И уже не без настырности Башилов сказал: если бы, мол, кто-то захотел своего сына или дочку нацелить в музыку, он, Башилов, всегда к услугам, хотя бы и завтра: он готов заниматься.

Внучатый насвистывать перестал.

— Я бы приезжал часто, — настаивал Башилов, — я бы с радостью стал заниматься с ними, да, да, конечно, бесплатно.

Внучатый оглянулся на приезжего с вновь нарастающим подозрением:

— Чушь какую-то, дядя, городишь! Зачем это я в музыку отдам своего мальчика? Может, у него к музыке ничего — ни слуха, ни голоса...

— Но ведь в провинции так любят учить детей музыке.

— Ну уж нет!

Башилов настаивал:

— И дети учиться любят.

Внучатый усмехнулся, и вот тут его, внучатого, словно бы осенило, он вскрикнул:

— Музыка, музыка, без конца талдычишь — заладил ты, дядя, одно и то же!

И уверенной, не сомневающейся рукой он включил транзистор — а вот, мол, тебе и музыка.

Было как в кино, как в грубом плохом фильме, где двое в полном соответствии с заданностью выясняют отношения, два философа в обычных неброских пиджаках.

Тот, что гремел гаечным ключом, сказал: «Музыка, музыка — заладил одно и то же!» — сказал и потянулся рукой, чтобы включить под открытым небом транзистор, так что транзистор нашелся и именно здесь оказался очень кстати: возле сараев. Но так и было: транзисторный приемник находился внутри мотоцикла, который внучатый чинил, и вот, как в грубом кино, в кинухе, где выяснение отношений, внучатый племянник протянул мозолистую руку и включил. И попал. И бархатистые звуки виолончели полились тоже как по заказу, не о погоде и не футбол, а виолончель, соната-арпеджионе, соната для друга с его несуществующим инструментом, чтобы сочинить, а потом умереть. Здесь горы переходили в степь. Среди белых метелок ковыля тем прекраснее зазвучал Шуберт, и щемящее жало мелодии вонзалось в перепонки ушей тем больнее, чем слаще. Но совпадение стало совсем полным. Внучатый вновь защелкал переключателем, как щелкают своим ключом в замке, открывая, а то и распахивая богатства. Он щелкнул, и на четвертой программе, в разделе современной музыки, зазвучал квартет Г. Башилова. Композитор несколько онемел, заслышав собственные такты. Вот теперь ответ состоялся.

— Вот музыка! Сколько хочешь музыки!..

С этим именно оттенком он и щелкнул переключателем — у нас, мол, все здесь есть, все имеем.

И добавил:

— А через полчаса по «Маяку» покрасивее будет: песни!

Ответив заезжему гостю, так сказать, по высшему счету, внучатый племяш перешел в область психологии. Он неожиданно потемнел лицом и, вдруг озлившись, направил шаги к Башилову — композитор никак не ожидал этого.

Нет, подойдя к создателю камерной музыки вплотную, он не взял его за грудки, как сделал бы представитель поселка, скажем, в том плохом кино, в кину-

хе, — нет, он выражал лишь свое и личное мнение. Он только надвинулся и сказал грубо:

— Чего тебе надо?

Башилов молчал; не лезь к нам, занимайся сам своей музыкой — вот что было в потемневшем лице и в глазах внучатого племянника Чукреевых.

Внучатый племянник надвинулся еще и добавил:

— Вали отсюда!

И Башилов пошел, именно *пошел отсюда*. Башилов был так неожиданно обижен, сражен, оскорблен, возмущен — он онемел. Он встал, но ведь, встав, надо куда-то идти, и вот он шел, шел, шел, сначала прямо, а потом к тому пригорку, за которым уже не было гор, а только ровный ковыль. Он шел твердо, а земля покачивалась. Звенел жаворонок. Не в том было дело, что перевалило Башилову за пятьдесят и сравнительно был он по-композиторски хил, в то время как тот, тридцатилетний, гляделся как молодой бык, был молод, крепок и с кулаками, — дело было в обиде. Тот крикнул — и Башилов пошел. И шаги его сухо шуршали. Он был настолько обижен, что забыл, что тут его детство, что тут его родина и что тут его мать-отец. (И что он тоже вправе сказать тому: вали отсюда!.. Эти и всякие другие правильные слова придут к нему позже. А сейчас изящное строение Башилова продолжало рассыпаться, обваливались потолки, рушились стены, раскачивались и падали колонны.) Он шел степью и вновь спрашивал жалким своим голосом, особенно жалким, когда голос воспроизведен уже в памяти: «Разве плохо детям учиться музыке?» — «А зачем?» — в свою очередь, переспрашивал тот и вновь смеялся, откровенно так смеялся, и вся сценка длилась вновь, так как Башилов по инерции всех просящих не уходил сразу, а продолжал о бабке Чукреевой, о бабке Алине, жаль, мол, что нет ее в живых. Он хоть как-то хотел продлить выдыхавшийся разговор, а племянник не без ядовитости крикнул:

— Вот тут приехал из Москвы больно хитрый му-

жик — он хочет из наших старух хор сделать! — И *все* засмеялись, это была уже насмешка, передергивал племяш. Сценка в памяти длилась, и чем больнее, тем дольше длилась она возле тех сарайчиков, сараев, сараюшек, переоборудованных в гаражи, где *все* уже бросили чинить свои мотоциклы с колясками, прервались, вылезли на солнце. Краснолицые от загара, они покуривали и посмеивались: они смотрели на совершенно чужого им человека, притащившегося в самую жару и непонятно зачем, но уж, конечно, не от большого ума.

Он шел долго; ходьба не уняла боль.

Вероятно, Башилов не заметил, как повернул. Скругляя ковыльное пространство и помалу поворачивая, он уже возвращался: он только тогда сообразил, что идет вдоль заводской невысокой ограды, когда вдруг услышал тонкий, все нарастающий звук. Звук он узнал сразу. Раздался небольшой взрыв, затем взрывок посильнее. Фиу-фиу-фиу-фиу-фиу.

Звук нарастал; жаркая и знакомая с детства волна обволакивала окрестность, но Башилов не побежал, хотя ничего зазорного не было ни в страхе в предпожарную минуту, ни в бегстве прочь от заводской стены. Внятно слышался треск огня. Сверху хлестануло песком, затем упал лист фанеры, большой, квадратный, взлетевший на волне горячего воздуха. Пылающий с углов, спланировав, лист упал в трех шагах от Башилова, а уж затем грохнулась в шаге доска. И согрела вдруг мысль, что вот сейчас его, обобравшего поселковское пение, поселок же и убьет. Какой финал! И можно ли сердиться на эту череду взрывков снизу, как можно ли сердиться на ярость обобранных? Не здесь ли та сжатость, формульность упорно повторяющейся мелодической фразы, когда попевки сливаются с нагнетательными возможностями ритмического остинато? Башилов не хотел отчаяния. Его, музыканта, сейчас убьет рваным ли обломком трубы или взлетевшей доской, в висок — он брыкнется на землю, на траву, в пыль, суча ногами, и в ту же секунду, в

тот же самый миг поселок *незаметно и сам собой обретет вновь музыку.* Так родилась эта мысль, насчет младенцев. Обновляя и обновляясь, новорожденные, что только-только из чрева, попискивают и орут необычно, резко, горласто, и, уже неся в себя музыку: они попискивают, плачут, вопят, орут, превращаясь и год от года согласовываясь в поющий хор. Новый и исполинский хор детей грянет в ту же секунду, едва он погибнет. Он пошел совсем медленно. Ему было страшно, но он думал, пусть убьет, если это поможет им. Он думал, пусть меня не будет. Глаза повлажнели. Он шел медленно, совсем медленно вдоль заводской невысокой стены, ожидая очередного сотрясения воздуха и возмездия. Он опустил голову. Однако мощного и самого главного взрыва, который обычно следовал за малыми, которого ждал Башилов и которого напряженно ждали окружающие холмы, не последовало.

Когда Башилов оглянулся, не было уже и огня. Стало понятным, что взрывной очаг блокирован и что большого пожара не будет. Вот и позади заводская стена. Башилов медленно шел к кленам.

В междомье Башилов направился к машине, сел и вырулил за пределы поселка.

Через час он остыл и поехал помедленнее, дорога — не асфальт, и машину стоило поберечь. Заговорил и опыт, опыт пятидесяти с лишним прожитых лет, в свете которых и пожар был всего лишь очередной пожар, и встреча с внучатым племянником Чукреевых, лишившаяся глубины, была бытовым столкновением, стычкой, не более того. Все виделось проще. Так вздорно и с обидой уехать!.. Башилову стало совестно: ведь общался с родными местами, ведь не простился.

Он развернул машину.

Это было мудро: вернуться. Темнотой не смущаясь, Башилов вырулит в междомье и поставит, уже привычно, машину на прежнее место. Ему ведь, Башилову, никто не нужен. В сумерках, со спокойным сердцем он вы-

курит сигарету на той полуупавшей последней скамье да и поедет. Так лучше.

Уже предвкушая, как он там будет курить, Башилов вспомнил о еде: он сбавил скорость до самой малой и, правя одной рукой, другой влезал в пакеты и вытаскивал свертки с бутербродами, вареные яйца, помидоры. Он ел, он не спешил. Закат поблек. Небо делалось из синего темным. Башилов также достал и термос — и тоже справился одной рукой. Он прихлебывал кофе, который по его просьбе сварили ему еще утром в Медногорске, в ресторане. Кофе был горячий, его сварили за двести километров отсюда.

И наконец он сидел на полуупавшей скамье, на том ее конце, что еще кое-как подпирался столбом. Поселок спал. Ночь надвинулась густо и плотно, так что скамью Башилов отыскал чуть ли не ощупью.

Теперь он отключился: возникло прощанье, и возник тот мягкий душевный покой, при котором не нужно ничего более, только сидеть не шевелясь и не спугнуть минуту. Он так и сидел. Не приедет он сюда больше, а прощанье это, конечно, и прощенье.

В надвинувшейся темноте Башилов услышал, как стучит сердце: появившийся месяц придал ночи высокий тон. Месяц был на убыли, светлый. Башилов уже покурил и, расслабившийся, сидел без движенья — возможно, он напевал, да, вполголоса, да, совсем негромко тянул, кажется, песню из запомнившихся в детстве, как вдруг в тишине расслышал осторожные и боязливые звуки — Башилову подпевали.

Если Башилов был седой мужчина, то Васик был совсем состарившийся, с реденькой белой бородкой: в белесом свете месяца он выглядел старичком. Башилов узнал слабоумного, и тот, сразу смолкший, узнал Башилова тоже. Вероятно, он узнал приезжего музыканта раньше — услышав, как тот напевает, он подошел, под-

крался тихо и с мыслью, что какое-то время послушает, если Башилов его не прогонит.

Оба помолчали. Потом Васик очень робко попросил приезжего:

— Ты ндой, ндой (ты пой, пой)!

Башилов ласково тронул его за плечо, и тот замычал, довольный; а когда приезжий, как в детстве, погладил его по голове, Васик сел около полуупавшей скамьи прямо на землю; он улыбался; он стал жаловаться:

— Дододые дют. Неня наньше нидода не диди. (Молодые бьют, меня раньше никогда не били.)

Башилов еще раз погладил его по голове: бедный.

— И ненен не дадют, нидода... Дадин ня. (И песен не поют. Никогда... Один я.)

— Сейчас споем. Только потихоньку, Васик...

Они негромко запели — и тихо-тихо мычал Васик, стараясь не сфальшивить. Они спели *Выходили двое,* затем *Венули с полудня,* затем *Чистоган,* а затем долгую и бесконечную *Жизнь прошла.* Эту песню они одолели до конца лишь потому, что Васик помнил ее и, невнятно мыча, наводил Башилова на слова; он начинал, а Башилов подхватывал. Звуки были ужасны, но дурачок хорошо знал, что петь надо тихо, — из опыта длительной своей беды это было, вероятно, единственное, что он усвоил в жизни. Когда Башилов утомился, Васик продолжил петь один, но притих еще больше. Ночь млела. Месяц висел в небе ясный. Дурачок шумно высморкался, и, вглядевшись, Башилов увидел, что он плачет. Тягучим мычанием своим он и просил, и как бы настаивал, последний певец, плохой и с ужасным голосом, но ведь он пел — и Башилов, впадая в запоздалый пафос, подумал, что не все потеряно. Васик придвинулся: сидел на земле, обхватив колени, в шаге от музыканта. Башилов сидел рядом, на полуупавшей скамье. Они спели еще раз *Чистоган,* а потом *Венули с полудня.* Минута, когда прозвучал высокий чистый голос ребенка, приближалась в тишине и в темноте неслышно, сама собой.

РЕКА С БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ

1

Поколебавшись, а колебался он долго и тупо, Игнатьев вышел из метро именно на «Кропоткинской».

— Ого! — сказала Марина, открыв дверь. — Вот это гость!

И провела его длинной кишкой коридора, где он прочувствовал поворот налево, а затем направо, мимо кухни; этих запахов он не слышал сто лет. Марина улыбалась. Она шепнула, чтобы говорил Игнатьев тише, а лучше бы и вовсе пока не говорил, потому что соседи у нее склочные. Но вела она к себе Игнатьева запросто — не озираясь. По коридору следом ползли густые и сладкие запахи коммуналки.

Комната была большая, однако зачуханная и вконец запущенная — Марина тут и жила. Она была из тех, кто никак не может ни получить квартиру, ни выйти замуж, ни даже сделать скромный ремонт — она была инженер-неудачница. Так она говорила о себе. Вечерами она вяло играла на фортепьяно. Соседи ее ненавидели, она их тоже. Она была из тех одиноких, из тех, чувствующих невнятно, кто, день ото дня запуская свое жилье и свою жизнь, смутно надеется все же на случай или на какое-то чудо и... ждет. Впрочем, могло быть, что уже не надеется. И не ждет.

Марина перехватила его взгляд:

— Как видишь, по-прежнему в хоромах...

— Вижу.

Игнатьев сел за стол, выложив локти; он покачал зачем-то головой и сказал:

— Неприятности у меня...

И выждал паузу.

— Неприятности?

— А может быть, беда — не знаю.

Он рассказал. Он рассказал вкратце: у него, у Игнатьева, загуляла жена.

— Ай да Сима!..

Игнатьев спросил, спокойный, — что тут смешного, — но Марина продолжала смеяться и даже вдруг хихикать. Время, по-видимому, сделало ее нервической и смешливой; время выявило суть — Марина смеялась жестко и ясно и без излишней боязни, кольнет собеседника такой ее смех или не кольнет:

— Ай да Симочка-Сима!..

Игнатьев переспросил:

— Что смешного?

— Как что — жил, гулял, ловчил, веселился юноша, а теперь вот бац: пришел черед пострадать...

Она смеялась:

— Н-да. Уж не подумал ли ты, что я буду тебе сочувствовать и зализывать твои раны... Бедненький. Тебе, оказывается, тоже перепадают в жизни щелчки.

Марина вновь сделала вид, что посерьезнела и что понимает, мол, его состояние и сочувствует. Даже, кажется, вздохнула. На деле же она едва-едва сдерживала свой нервический хохот, что и было, конечно, заметно. Игнатьев поморщился. Он промолчал: он подумал, что не с тем и не туда пришел. Он помнил, как на выходе из метро идти к ней ему вовсе не хотелось, и ведь колебался.

— ...Бедненький. Страдалец мой. Но ведь возможно, что в Симе возродились — назовем это так — милые женские чудачества: возможно, что ничего грубого и плотского там у них не происходит.

— Возможно.

— Мало ли как... Люди увлеклись театром, люди любят искусство (она прекрасно понимала, что травит рану), люди общаются, а ты уже бьешь тревогу.

Он усмехнулся:

— Разве я похож на паникера?

— А чего же ты ко мне прибежал?

— Я не прибежал, я пришел. Просто так пришел — поговорить не с кем.

Марина сварила кофе. Игнатьев оглядывал тем временем жалкую и одновременно нагло обнаженную комнату с ободранными обоями. В комнате не было перемен; в комнате замерло и остановилось время их суетливой юности — даже кровать железная та же, даже послевоенный пудовый будильник. Наново осваиваясь, он переводил расслабленный взгляд: тут надо было хорошенько подумать и внимательно посмотреть, прежде чем сказать, что́ появилось здесь новое. Игнатьев, отпивая по глотку, держал чашку на весу. А Марина, которой было уже не двадцать лет, а тридцать пять, отставила свой кофе в сторону («люблю холодный») и вновь нервически-смешливо говорила:

— Интересно, однако, устроен человек... Я, как ты помнишь, любила нахимовца Колю. А нахимовец Коля уехал. Я осталась на бобах.

Она даже взвизгнула легонько:

— Девственницей осталась — не смешно ли!.. А ты вокруг ходил, добычу почуял легкую, верно? Проще не бывает: я была милая и слегка засидевшаяся девица, а ты петух, боец, куда там!.. Ты, конечно, быстренько меня охмурил, взял свое и уже начал исчезать, нет, я подчеркиваю: н а ч а л исчезать, помнишь?

— Да что ж там помнить? — сказал он.

Марина повысила голос:

— Нет, ты скажи — помнишь или нет?

Игнатьев промолчал. Там, где ей сладостно виделась драма, драмы не было. Но одинокой женщине в зачуханной комнате с ободранными обоями этого не объяснить,

да и объяснять нужно ли? Ей виделся соблазнитель, а соблазнителя тоже не было, был столь же глупый, как и она, двадцатилетний сопляк; был мальчишка, метавшийся туда, а потом обратно, не знавший толком, где приткнуться и где что схватить или съесть по-быстрому.

— Помнишь? — Она как бы даже счет предъявляла, то ли ему, то ли жизни, обиженная и обойденная.

Игнатьев вновь промолчал.

— А я помню. Я хорошо все помню. Я очень тогда злилась: хотела тебя вернуть и, может быть, прихватить по-бабьи, вот только совесть мучила: как-никак Симка была моя подруга...

Марина улыбнулась продолжая:

— Подруга, а я вроде как отбиваю... Скажи: Симка так ничего и не знала?

— Не знала.

Марина еще улыбнулась. Лицо было злое.

— Сейчас я думаю: а ведь надо было на подругу-то наплевать, а в тебя, милый мой, вцепиться покрепче. Знаешь почему?

— Почему?

— Потому что ты, оказывается, слабачок. Ты только с виду жесткий. Ты в роли выступаешь. А? Интересная мысль?

— Так себе.

— Не скажи. В этой мысли что-то есть. С чьей-то девицей тебе легко было справиться. И со всеми остальными, которые для тебя *чужие*, — с чужими легко справляться, а?

Игнатьев встал, он хотел уйти: он пришел говорить, а пришлось слушать. И поделом: не туда пришел.

Марина стремительно встала следом за ним:

— Ну-ну, Сережа... Не расстраивайся. И прости меня, ладно? Разговорилась — баба есть баба, верно? Может, еще кофе хочешь? Одну чашечку?

— Спасибо, не хочу.
— Нет, ты хочешь. Ты хочешь. Ты хочешь!..

Она шагнула ближе. Она нервно хохотнула. Ткнулась вдруг в него, то ли в лицо, то ли в пиджак: поцеловала.

— Не переживай, Сережа. Уверена, что там у них ничего серьезного: Симка замечательная женщина.

Она повторила:

— Симка замечательная. Я ж ее с юности знаю.

Игнатьев простился и вышел.

«Одичала Марина, — подумал он и покачал головой. — А ведь была чуткая, тонкая, и в какой только песок все это уходит...» Игнатьев, на улицу выйдя, приостановился. Он любил вот так приостановиться и, если удастся, любил эффектное словцо, как бы подчеркивающее данную нерядовую минуту. Такой он был человек, и это не было привычкой, скорее — натурой. И хотя свалившаяся беда была беда своя и больная, он не мог в словце отказать себе и сейчас: он приостановился. Он оглядел снизу вверх весь этот потемневший трехэтажный дом, в котором ожесточилась и сникла Марина; он увидел старую крышу, он увидел карнизы и окна (и себя, стоящего со своей бедой возле ее дома) и произнес:

— Это жизнь.

Была зима; было морозно. Проходившая мимо закутанная в платок старушка решила, что Игнатьев окликает и что-то ей показывает в этом доме, может быть, любопытное. Старушка была туга на ухо. «А?.. Что это, милый? — заволновалась она. Вслушиваясь, она к тому же все оглядывалась, далеко ли и не наедет ли по случаю гололеда троллейбус. — Что, что это, милый?» Игнатьев, как бы даже обязанный повторить, сказал ей:

— Это жизнь, бабушка.
— А?
— Жизнь, говорю.
— Не слышу я, милый.

Если из давних друзей, то был еще Шестоперов, но Шестоперов тоже не любит слушать. Когда перебираешь, то, уж конечно, не найдешь, и вот Игнатьев стоял посреди зимней улицы и думал — к кому пойти. Люди меняются: с этим уже давно приходилось считаться.

Знакомых и друзей было предостаточно, и, перебирая, Игнатьев меньше всего походил на одинокого. Были просто приятели и были, пожалуй, чуткие; были и те, с кем, как говорится, дружишь домами. Люди как люди. Однако Игнатьев считал, что разговор там неизбежно стал бы тягостен: неясно, о чем говорить и о чем умолчать; тягостен, а возможно, и обременителен для тех, которые еще вчера смотрели на тебя, глаз не пряча, — нет, тут нужен был именно кто-то *из давних*, из забытых.

— Игнатьев приветствует Шестоперова, — сказал он, позвонив из телефонной будки на углу, начиная опять же не без некоторого эффекта. В ответ его спросили, сразу упрекнув, — это, мол, ты, Сергей? Наконец-то объявился!..

— Хочу к тебе зайти поболтать.

— Ты уже год хочешь зайти поболтать.

— Неужели мы год не виделись?

— Может быть, два... Может быть, три.

Посмеялись. Игнатьева неожиданно и сильно резануло вдруг по сердцу — расхотелось.

— Ладно, как-нибудь на днях забегу. — Игнатьев пообещал; припертый, он еще и поклялся, что навестит, после чего повесил трубку.

Он пришел домой.

— Мамы еще нет, — сообщил сын.

— Я знаю, — ответил Игнатьев, мягко и как бы даже выгораживая жену.

Они сели ужинать.

— Как уроки?

— Сделал.

— Не скучно тебе одному?

— Не... Я на улице был, читал тоже.

Жена пришла в первом часу ночи. Разговаривать она не желала.

— ...А что такого? — Жена бросила, швырнула сумочку и сняла пальто. Игнатьев услышал, конечно, как от нее пахнуло вином.

Сын не спал — надо отдать должное, мальчишка уже давно и первым почувствовал надвигающиеся перемены, что было бы похоже на мистику, если бы не было так буднично и бытово.

— Мам, — раздался из темной комнаты его голос.

— Что, родной?

— Посиди со мной. И песню хочу.

Сима вдруг раздражилась:

— Маленький ты? Тебе что — пять годиков?

— Мам!

— И не проси. Спи!

Надо думать, она и впрямь утомилась. И была полна впечатлений. К тому же Сима не хотела, вероятно, дышать на сына (сын любил целоваться) вином и сигаретами. Она колебалась недолго — выступив из света прихожей в полутьму, она прикрыла дверь его комнаты, и он, обиженный и надутый, теперь там засыпал.

— Мы поговорим, — сдержанно повторил ей Игнатьев. — Я не лягу спать, пока мы не поговорим...

— Хочу вымыться. — Она рвалась в ванную.

Он было шагнул — она тут же и легко отстранила его:

— Ты дашь мне помыться?

За ее спиной, скрываясь, быстрым бликом сверкнуло зеркало ванной комнаты и еще одним бликом эмаль ванны, — Игнатьев успел сказать вслед:

— И все же мы сегодня поговорим.

— Обязательно! — Она усмехнулась из-за двери.

Они прожили пятнадцать лет и, казалось, уже неудержимо приближались к зениту спокойной семейной жизни, в которой нет и не будет перемен; мера ровности —

не мера ли быта. Еще немного, и можно начинать стареть — так казалось. Пятнадцать лет домоседка жена прибегала с работы домой и не хотела, хлопотливая, ничего, кроме мужа, сына и телевизора, — неудивительно и понятно, что Игнатьев приобрел за эти годы среди прочего привычку подсмеиваться над страдающими или недовольными семьей мужьями. Отчасти он им, страдающим, даже не верил.

Слышен был шум и плеск воды в ванной. Жена там напевала:

Быстрая река-а,
голый камешек вокру-уг...

Именно эту песню настырно просил сын, и теперь, отказав ему, она, может быть, по инерции напевала ее для себя. Песенка была из унылых. Но в голосе Симы слышалось остаточное веселье, не слишком даже припрятанное. Она поскользнулась и весело вскрикнула. Стоя под душем в ванне, она удержала равновесие и, не упавшая, опять напевала: песню она переделала голосом в нечто мило дешевое и беспечное: в куплеты.

— Ну так что, — натужно спросил он за чаем, — мужчины стали нравиться? Или водочка?

— Еще не разобралась.

Он пожал плечами:

— Хотелось бы знать.

За эти две недели он пробовал начинать с ней и так и этак, но вечерний разговор, растекаясь, не получался либо же быстро сходил на свару и обоюдные выкрики, ничего не проясняющие и ничего не дающие. Так и шло. Так перебрасывалось с вечера на вечер, реже — с ночи на ночь. Ответ ее, если говорить о словах конкретных, сводился к одному и тому же: у них на работе подобралась в е с е л а я компания.

— И что же вы делаете?

— Выпиваем, танцуем — о боже, что делают мужики и бабы, когда оказываются вместе!

— Они разное делают.
— И мы разное.
— Недобрала в юности, а?
Сима, не ответив впрямую, теперь лгала. Игнатьев накипал и не только потому, что женщины, если их слушать, лгут плохо. Оправдывалась Сима и словами, и гибкой, готовой к поворотам интонацией:
— ...Да что же тут такого — жила, жила, жила и ничего вокруг не видела. Людей не знала. Жизни не знала... У нас и раньше после работы ходили в театр, в кино, развлекались — одна я сторонилась.
Она сделала вид, что собирается плакать:
— Ну хочется мне, милый... ну что же тут такого?
Если не первый день, ложь чувствуется сразу и перехватывается в любом слове, необязательно трудном. Но он лишь повторил:
— И верно: что ж тут такого, если хочется.
Сима пошла в комнату:
— И не сердись, спать хочу — с ног валюсь.
Как и вчера, как и позавчера, он не двинулся за ней следом; посидев еще и сказав себе, что ведь ночь, он прошел в свою комнату — там был диванчик. Игнатьев в споре как-то вдруг обмяк. И шаги его заметно обмякли. В свое время, в давнее, Игнатьев не сторонился ни прямого баловства, ни романов, да и сейчас при шальном случае не упускал сладкого, но в общем был он человек, уже набегавшийся в жизни, напробовавшийся и теперь живший ровно и спокойно, даже внешне. У него была семья, был сын, была жена, у него был дом, было свое кресло и была своя чашка для чая. У него была даже своя страстишка из рядовых и домашних — собирание альбомов живописи.
Он, проходя к себе, услышал голос Витьки:
— Пап.
Игнатьев сунул голову в темный проем двери и сказал суровым шепотом:
— Заткнись, спи...

Теперь жена и сын спали. Игнатьев не спал; он мерно бродил по оставшемуся ему пространству квартиры, как бы выделенному во время общего сна для ночных его шагов, — по комнате и кухне; он нет-нет и курил. Он вспомнил, как утром у него возникло желание что-то эффектное сказать; сейчас тоже представился повод, он проходил мимо овального зеркала в прихожей и повторил, но уж по-иному:

— Это жизнь...

Он, хотя и совестясь, вгляделся в собственное отражение: нет ли морщин на лице. Ему казалось, что морщины могли бы в эти дни появиться, хотя бы наметиться, однако морщин не было. Игнатьев знал, что человек он сложившийся — немножко суетный и немножко позер: он был из тех, кому кажется, что за его поведением и жизнью вроде как наблюдают со стороны пристрастные зрители, хотя бы их, зрителей, и вовсе не было. И вот морщин не оказалось — это точно. Ни морщин, ни боли в сердце, хотя бы и редкой...

Он думал. Если жена загуляла и изменяет, в нас возникает определенная эмоция.

Если жена больна, в нас тоже возникает определенная эмоция. Так мы задуманы, так слеплены.

Но если, к примеру, жена изменяет и жена больна, мы не знаем, как быть и какую эмоцию выдать. Мы в растерянности... На миг Игнатьеву стало обидно, что он человек обыкновенный и в силу обыкновенности своей не умеет вместить разом и хотя бы принять близко, если уж не вместить. Ему стало обидно, что не дал бог ему, Игнатьеву, больше, чем всем прочим, — дал сколько дал, вот и все.

У зеркала постояв и вполне насмотревшись, он погасил свет; сбросивши домашние шлепанцы, чтобы не шаркать, он осторожно, чуть ли не на цыпочках, вошел в комнату, где спала жена. Он подошел ближе: к постели. Глаза очень скоро привыкли к темноте. Сима, заметно похудевшая, спала, он же хотел сказать что-то

доброе и, может быть, неслыханно нежное, но не отыскал слов; он протянул руку, чтобы коснуться, но побоялся, что разбудит.

Даже помыслить о том, что вокруг сидящие сослуживцы начнут сочувствовать или, скажем, шушукаться, что у их молодого начальничка загуляла жена, было как-то нелепо — Игнатьев был на виду. Однако и молчать было тягостно. Некоторые из них, пусть не лучшие, стали для него людьми свойскими, и не первый уж год. Как бы между прочим, Игнатьев спросил у Тульцева, сплетая с чем-то нехитрым: бывает ли, мол, что женщина, обыкновенная, скромная, вдруг и резко меняется характером по причине, например, болезни?

— С женщиной все бывает, — засмеялся инфарктник Тульцев.

— Глубокая мысль.

И больше уже Игнатьев не спрашивал.

Позвонила Марина. Она, торопливая, сама раздобыла его телефон:

— ...Игнатьев, слушай меня внимательно — ты слушаешь, Сережа? — Голос ее частил. — Я ведь работаю недалеко от Симы, две улицы перейти. Зашла я к ним в контору — тут же встречаю Симу в коридоре, ах-ах, сколько лет, сколько зим! «А мы, — говорит, — в театр идем...» Я говорю: «А можно с вами?» Короче: напросилась я в их компанию. Компания, я тебе сразу скажу, невысокого класса... Я поверчусь с ними вечер и присмотрюсь, узнаю, как и что, хочешь?

— Валяй, — сказал он безразлично.

Марина сказала еще с извинением в голосе:

— И не сердись на меня за вчерашнее: я глупостей наговорила.

— Да ладно.

— Не сердись. Сгоряча получилось.

— Ладно.

Он повесил трубку.

А выкурив сигарету, позвонил на работу жене — к телефону долго не шли, потом взяла трубку басовитая женщина. Надо думать, была она из веселой их компании.

— ...Сима собирает сейчас деньги на театр.

— Ч-черт. Она у вас там главная, что ли?

— Ну да.

Женщина у телефона была настроена агрессивно:

— А вы что — против?.. В кои-то веки появился среди нас истинно веселый человек, и вот ее уже одергивают и укорачивают. Сима у нас душа компании. Поверьте: мы все счастливы, что Сима среди нас...

Взяла трубку жена. Игнатьев спросил — как она себя чувствует.

— Неплохо.

— Рад за тебя. Когда это у вас опять театр — завтра?

— Сегодня.

— И после театра опять полуночничать?

— Возможно.

— С винцом?

— Кто же без винца сидит вечером? — Жена засмеялась, и там, в окружении, ее слова подхватили радостными криками и хохотом.

Сын смотрел телевизор. Игнатьев присел рядом, приобнял его за плечо и тоже посмотрел фильм.

Но в десять вечера он, конечно, вышел на улицу. Светила луна. Снег поскрипывал под ногами. Игнатьев обошел дом дважды и еще дважды, а потом наконец увидел ее — женщина-врач с лыжами на плече выходила из подъезда. Она жила в соседнем доме, в девятиэтажном, районный их врач.

Некоторое время они шли рядом.

— Ну что? — спросил Игнатьев.

— Да... Вновь подтвердилось.

Игнатьев, как и вчера, как и позавчера, не поверил. То есть, как это и бывает при несчастье, он именно и поверил и принял, однако словами усомнился:

— Сима чувствует себя сейчас хорошо. Она сама сказала...

— И все же это так.

— Но... но сколько же... Операция будет или нет?

— Ей жить не больше месяца. Метастазы через печень проникли по всему организму — оперировать нет смысла.

— Сима не знает?

— Нет, конечно. Я чуть не ахнула в рентгенкабинете — я ведь сама ее туда привела. Даже наш рентгенолог Софья Семеновна — а она, знаете ли, видела всякое — даже она сдержалась с трудом и после мне в коридоре шепнула: «Я, — говорит, — чуть не вскрикнула».

— У нее будут боли?

— Перед самым концом.

Врач ушла со своими лыжами, а Игнатьев, как и вчера и позавчера, остался со своей бедой. А луна светила.

Марина встретила Игнатьева у метро, по пути на работу. Она сняла красивые свои вязаные варежки с красными петухами и подула на руки, согревая.

— Ничего радостного я тебе не скажу — ну, готов ты слушать?

Она вновь подула на руки:

— Компания у них будь здоров: амуры в полном разгаре. Веселятся люди. Сима, судя по всему, спала с Красиковым...

Игнатьев вздрогнул.

— Может, и не спала, — сказала Марина поспешно, — может, он треплется. Хвастает... Там у них не разберешь. Работают все вместе и гуляют вместе. А сейчас ее домогается Новожилов, есть там такой тип.

Он промолчал.

— ...Видела, как они целовались. Новожилов держал ее лицо обеими руками и ворковал.

— Она не отбивалась?

— Как тебе сказать; заметно это не было.

— А ты хорошо глядела? — сказал он вдруг со злобой.

— Старалась.

Помолчали.

— Что за мужики?

— Да так, замухрышки. Сидят, клюкают и ждут, какая из женщин выпьет лишнего, и тогда тут же намертво к ней прилипают: если одинокая, едет скоренько ее провожать или же к себе на такси увозит. Обычная пьянка на дому.

Марина тронула его рукой: варежкой с вывязанным узором.

— Тебе что — больно?

Он неопределенно скривил лицо. Пора было на работу — Игнатьев был из тех, кто опаздывает лишь в крайнем случае.

— Симка так мне обрадовалась. — Марина рассказывала тихим, как бы скорбным голосом. — Обрадовалась. «Ой, — говорит, — это подруга моей юности. Мы, — говорит, — с тобой будем о п я т ь неразлучны».

— Ты до конца сидела?

— Да. На меня было тоже набросились, но быстро отстали — у меня ведь задание.

— Научилась ставить мужиков на место?

— Что да, то да.

Игнатьев закурил.

— Задание, — заговорил он с всколыхнувшейся и вновь всплывшей злобой. — Задание... А ты и рада стараться. Помчалась вынюхивать чужую беду... У тебя, в комнате твоей — сарай. Тебе надо обои переклеивать, потолок побелить, ремонт давным-давно надо сделать, а не по пьянкам шастать!

Игнатьев отшвырнул окурок и, не оглядываясь, стал спускаться в метро. Он весь продрог. Стояли морозы.

Игнатьев торопился. Ноги его шли сами собой, и теперь он словно бы боялся остановиться, потому и спешил.

Он зашел в отдел к Ване Корнееву.

— Вот. — Игнатьев протянул альбом. — Ты ведь хотел Нестерова — я достал.

— О боги! — Ваня Корнеев, поэт-лингвист и собиратель альбомов живописи, покраснел, потом побледнел. — Как ты достал? Как тебе удалось? О боги, о чем я... Непостижимо...

Уже и не таящийся, Ваня Корнеев вцепился в альбом, отчего пальцы его побелели и надолго напряглись. Он, страждущий, думал и мечтал об альбоме Нестерова как раз вчера. Ему снилось, что он ворует альбом у некоего соседа по лестничной клетке, — во сне Ваня Корнеев делал это через балкон. Теперь же было как бы совпадение, был сон в руку. Ваня Корнеев впал в ступор и некоторое время, говорливый и живой, не мог раскрыть рта; наконец речь к нему вернулась:

— Я... Я даже не знаю, чем тебя отблагодарить.

— Я подскажу. — Игнатьев постарался улыбнуться. И добавил:

— У тебя есть, если помнишь, знакомая в нарсуде. Бабонька там какая-то или тетка. Мне надо быстро развестись...

— Ну ясно! Ясно! — вскрикнул и притом неожиданно звонко Ваня Корнеев, поэт-лингвист и собиратель; от ясности этой Ваня и повеселел: он полагал, что придется заплатить куда дороже. Он не помнил уже, что Сима принимала его вместе с женой на праздники, что кормила пельменями и поила водкой. Он не помнил, что в доме их под хмельком он много и громко пел. Собирателю живописи простительно и то, что он не спро-

сил о причине развода: он ничего сейчас не помнил. — Ну ясно!.. Есть, есть в нарсуде тетка! Она тебя разведет в тот же день, в тот же час, в ту же минуту, как только ты напишешь заявление. Нет! Нет! Она сама за тебя напишет...

— Это лишнее. — Игнатьев ушел; он и в прежние-то времена не мог видеть, как у собирателей трясутся руки.

Он торопился.

Он позвонил на работу Марине.

— С ума сошел... У нас же общий телефон с начальником: у нас звонят только в обед! — Она, кажется, была сердита.

— Не так уж часто тебе звонят, — одернул он.

— Не хами.

Он заговорил:

— Вот что — раз уж ты взялась подглядывать за моей женой, подглядывай на совесть. Узнай побольше. Я прошу тебя: побольше... мне нужны подробности.

Он сменил интонацию. Он вспомнил, что с женщиной можно либо так, либо этак, а лучше всего менять голос, как меняют шаг. Он стал просить:

— Мариночка... Постарайся... Узнай все... Для меня.

Марина заспешила:

— Да что ж узнавать. Я и в тот раз достаточно узнала. Ты же не хотел слушать. Ты же ушел...

— Ну?

— Кончили они веселиться около двенадцати ночи. Кто куда, а Сима поехала к Новожилову. В такси. Захватили бутылку с собой...

— Холостяк?

— Какой там холостяк. Он уговаривал ее впрямую: жена, мол, с ребенком в Белоруссию уехали. На месяц. Квартира пустует... А Симка все теребила его: бутылку прихватил, бутылка с собой?.. Противно пересказывать. Как рыбы тухлой поела.

— Ну-ну. Тоже мне, Магдалина...

— Ты не понял: противно было, что на виду и что Симка меня не стеснялась. Ни на копейку. Все-таки дружили в юности.

— Пьяная была?

— Не очень...

Он торопился. В обеденный перерыв он смотался на такси домой и обратно, и вот, скоро обернувшийся, вновь и чуть ли не бегом он спешил к Ване Корнееву, поэту-лингвисту и собирателю. Он так торопился, что таксист, резво приоткрывший дверцу, крикнул ему вслед: «Эй!.. А деньги?» — после чего, бранящийся, он вернулся, чтобы расплатиться. Вбежав наконец к Ване Корнееву, он из портфеля вытряхнул альбомы с живописью, все, какие у него были: он вытряхнул их на стол. «Это тебе, Ваня. — И чтобы сомнений не осталось, улыбнувшись, добавил: — В подарок». Некоторые из альбомов при вытряхивании выскользнули из суперобложек, но это легко было поправить. Игнатьев вышел.

— Я тороплюсь. Пока! — Он не успел даже заметить, затряслись ли у Вани Корнеева руки или, может быть, ноги, или же Ваня затрясся всем телом, чуткий, потому что подарок был царски щедр... Торопящийся Игнатьев уже входил в кабинет замдиректора (для этого сначала надо было сбежать этажом ниже), где ему удалось быть и спокойным, и, сколько можно, кратким: «...Никак не могу. Я не поеду в командировку». — «Почему?» — «Жена больна».

Зам сказал:

— Похвально... В первый раз, признаться, слышу, чтобы от поездки во Францию отказывались по такой причине. Ладно. Мы пошлем Зубарева.

Жена, как ни странно, была дома: с работы она пришла вовремя, а может быть, и немногим раньше. Для тех дней было это именно странно — прийти с работы и увидеть ее. Пацан, бубнящий, делал уроки. Си-

ма только что вышла из его комнаты. Она вышла в халатике.

— Витька плохо решает задачи. Надо бы заняться с ним... Ты почему поздно?

— Я? — Он не сумел удержаться от иронии.

— Я не с упреком... Может, что случилось?

Тут он заметил, что голос у жены устоявшийся — вялый и тусклый. И виноватый:

— Поужинаешь сам, ладно?.. Устала: хожу и на ходу сплю.

Игнатьев сел с Витькой — проверил уроки.

Когда Витька уснул, Игнатьев — всё в тишине — сделал себе чай и поужинал один, вареным яйцом с колбасой.

Проходя мимо ее комнаты к себе, он заметил (в приоткрытую дверь), что Сима лежит ничком — головой уткнувшись в подушку. Он открыл дверь неторопливо; неторопливо же и вошел. Тая злое чувство, как это любят делать мужчины, он стал совсем умиротворен и спокоен, — он подошел и мягко спросил:

— Что с тобой?

Он, даже и мягчея, чувствовал и знал, что она его, конечно же, не растрогает; той злости было с запасом.

— Сережа, у меня опять что-то не в порядке. Живот болит. Я к врачу сегодня ходила...

Она говорила, лица не поворачивая, приглушенно. Лежала на животе, лицом в подушку.

— И что сказала врач?

— Сказала, что не в порядке. И велела зайти завтра.

Он спросил все так же спокойно:

— Ты уверена, что не в порядке с животом, может быть, ниже?

Он видел, как она вздрогнула спиной.

— ...Мало ли что бывает. Я ведь не осуждаю. — Игнатьев поспешил тут же смягчить: — В жизни все бывает.

Она уснула.

А Игнатьев томился. Он принял снотворное, однако не уснул и вновь шастал туда и сюда, из кухни в комнату; разворачиваясь, он каждый раз как-то тоскливо обкарнывал свое однообразное движение: ему было тесно здесь, нехорошо и тесно. В зеркало он уж и не глядел. Прикрыв дверь комнаты плотнее, он стал было слушать транзисторный приемник, чтобы, может быть, увлечься. А потом вдруг направился к жене и в ярости растолкал спящую. Он кричал свистящим шепотом: «Я тебя голую сейчас за дверь выставлю! Выгоню!» Ему казалось, что в выставлении за дверь есть некое обличение и страшный позор. Он суетился. Он только в юности скандалил и дрался с женщиной и уже забыл, как это делается.

— А?.. Что?.. — Она щурилась от света, подняв к глазам ладонь (а может быть, оберегала лицо от удара).

— *Что?..* Я тебе скажу — *что*. И идиоту ясно, чем ты занималась до трех ночи. — И он назвал словом, чем она занималась. — Ты думаешь, никто не знает — или ты забыла, что мужики все болтуны?

— Да что ты...

Она невнятно оправдывалась, он же, вырвав из постели, толкал теперь ее к двери. Он сильно и уже несуетливо толкал. «Я... Мы... Кофе пили», — лгала она, торопясь, чтобы хоть как-то и что-то солгать, но тут последним сильным рывком он вытолкнул, выставил ее на лестничную клетку. Она была в ночной рубашке, старенькой и ветхой, неудивительно, что в двух-трех местах ткань рубашки немедленно распалась, порвалась и висела клочьями и длинными нитками, там же белело тело. Возможно, были ссадины. Он запер за ней дверь. Но и минуты не прошло, открыл — вспомнил, что зима. Она стояла, прижав руки к груди. Ему пришлось выйти и втолкнуть ее обратно.

— Иди, — с присвистом сказал он.

— Я только пошла с одним нашим... кофе...

— Ты пошла по рукам. И хватит об этом.

Однако после всей этой сцены она довольно быстро и буднично уснула: уже минут через пятнадцать, ну двадцать Игнатьев услышал ровное ее дыхание, и сомнений тут быть не могло — она спала. Игнатьев не спал до утра. Шастал. Чай пил.

С утра обсуждался снос двухэтажного дома, принадлежавшего их НИИ.

За то, чтобы сохранить дом за собой, НИИ боролся с райисполкомом не один год и не два. Райисполкому, как водится, объясняли и доказывали, что дом представляет историческую ценность: верный, хотя и обычный, прием. Было добыто слабенькое, но все же свидетельство, что дом типичен для архитектуры XVIII столетия. И было почти подтверждено, что однажды проездом в доме ночевал Багратион, — в райисполком отсылали бумагу за бумагой, всё дерзкие.

В райисполкоме заколебались. Но колебания были тут же отброшены, как только выяснилось, что здесь (уже независимо от райисполкома и независимо от НИИ) пройдет новый проспект, по замыслу — красивый. Спор был кончен: НИИ дом потерял. Но, потеряв дом, НИИ не хотел потерять хотя бы достоинства, и потому теперь совещание было нацелено на то, что НИИ сам вынесет решение о сносе, опережая решение свыше.

Председательствовал замдиректора. Игнатьев, ночь не спавший и желтый от курева, сидел с ним рядом.

— ...Товарищи, — зам повторял и уже повышал голос. — Товарищи! Наш НИИ, уверяю вас, вполне сможет обойтись без этих нескольких комнат.

— Двенадцать комнат! — выкрикнул кто-то.

— Да, двенадцать, ну и что же...

Собрание зашумело.

— А как же Багратион? — выкрикнули у окна.

— Но, товарищи... Во-первых, не доказано, что князь Багратион доподлинно ночевал в этом доме. Во-вторых, райисполком обещал в пределах территории нашего же

института высвободить нам один из домов. Имеется специальное решение: у нас имеются *гарантии,* товарищи.

И зам кивнул полной женщине из месткома — она знала, что сказать.

Однако первым к столу вылез говорливый инфарктник Тульцев:

— ...Столько лет твердили нам одно, а теперь обратное. А как же, черт возьми, наша история?.. Простите, товарищи, но я прошу зафиксировать в протоколе мое о с о б о е мнение.

Собрание неожиданно зааплодировало. Неожиданно это было, возможно, для Игнатьева — он сидел тупой и недвижный.

— Я, — продолжал Тульцев, — ездил недавно на Куликово поле...

Зам не выдержал:

— Да при чем здесь Куликово поле?

— Как при чем?.. Позволь вам снести багратионовский дом, вы завтра же...

— Да какой же он багратионовский? Князь лишь однажды ночевал в нем, да и ночевал ли, неизвестно!

— Вы дадите мне говорить?

Собрание заволновалось: «Дайте же ему сказать!» — «Гибнет старая Россия!» — «Зачем затыкаете рты?» — возможно, что домишко особой или даже малой ценности не представлял, но нерв людской был задет помимо. Человек пять тянули руки, нацеливаясь попасть в ораторы или хотя бы, если не выгорит, пошуметь с места. Зам растерялся. Зам уже было пожалел, что собрал народ не после обеда, а до: голодного, даже и в пустяке, уговорить, разумеется, куда труднее, — как вдруг кто-то тихим голосом произнес:

— Сносят.

Голос был тих, особенно при повторе:

— Братцы, сносят...

Сказавший сидел у окна — он увидел случайно; не ожидавший, он *тихо позвал,* после чего все, кто быстрее,

кто медленнее, стали грудиться, собираясь у окон. Игнатьев тоже подошел. Через головы сотрудников он видел — дом не только сносили, его уже наполовину снесли и даже больше, чем наполовину. Дом походил на обломок зуба. Кусок крыши и одно-единственное оставшееся окно второго этажа непонятно на чем держались. А огромный металлический шар вновь раскачивался, набирая инерцию для удара, может быть, последнего. Уже и бульдозер прибыл...

Игнатьев ушел: он ушел тихо и в ту самую минуту. Он скользнул глазами по затылкам сотрудников, прильнувших к окнам (им еще предстояло обсудить и вынести все-таки решение), и вышел. Тут Игнатьев впервые, кажется, подумал про реку с быстрым течением. Мысль была как подсказанная. «Экая быстрая река — жизнь. Сносит течением, и все тут дела», — подумал Игнатьев и рядом же, в параллель, думал о том, что он довольно ловко и вовремя с этой говорильни ушел. Он еще подумал и тоже логично, что после бессонной ночи неплохо бы стакан горячего крепкого чая. И только тут в нем что-то сломалось.

2

— Восемь дней, — говорили они с укоризной. — Целых восемь дней.

А Игнатьев никак не мог понять, почему восемь. Он-то считал дни.

Наконец до него дошло, что они отметили *рабочие* дни, за вычетом суббот и воскресений, потому что для них это было главное: они, пришедшие, были *с работы.* Замдиректора, а с ним толстуха из месткома. И бодряк-инфарктник Тульцев, которого они прихватили на предмет личного контакта... Они пришли с визитом втроем — Сима открыла им дверь, встретила спокойно и указала рукой налево: «Там он, в комнате... Полюбуйтесь!» И теперь они любовались.

— Н-да, — сказал замдиректора. — Картинка.

Тульцев тоже сказал:

— Пейзаж после битвы.

И только толстуха из месткома сразу взяла верный (она всегда брала верный) тон:

— Сережа, мы не будем к тебе приставать, не будем расспрашивать, — мы знаем, с тобой что-то стряслось, и вот ты уже восемь дней... пьешь.

Она выговорила и преодолела это трудное слово; когда кто-то преодолевает трудность, остальные чувствуют, что тоже как бы преодолели. Теперь все они заговорили; и будто бы разом. Игнатьев как сквозь дрему слышал и видел их; но себя он не видел — давно не брившийся, всклокоченный, с красными глазами, он валялся на своем диванчике, одетый и помятый... Зам говорил гневно. Зам тыкал пальцем:

— Нет, нет, надо принести ему зеркало, да побольше — пусть-ка посмотрит, пусть!

А инфарктник Тульцев, присевший на краешек дивана, склонив шею к Игнатьеву, шептал:

— ...У тебя прекрасная семья. У тебя замечательная жена. У тебя все великолепно на работе — что с тобой, скажи, я же твой друг.

Игнатьев пробубнил:

— Нельзя и выпить человеку.

— О! — сказал зам.

Игнатьев (теперь он себя увидел) шумно и виновато вздохнул.

Вошла Сима.

— Вы с ним не церемоньтесь. Вы с ним пожестче! — сказала она, суровая.

— Да мы и так, — сказал Тульцев.

— ...Пьет и валяется, делать ничегошеньки не хочет, — продолжала Сима. — Даже с ребенком заниматься не желает. Ни разу за продуктами не сходил.

Тульцев покачал головой:

— Что ж ты так, брат, нехорошо...

Все помолчали.

Пора было заканчивать, и зам сказал:

— Не стану я тебе больше ничего объяснять — не маленький. Единственное и последнее: если не выйдешь на работу, я подписываю приказ.

Они ушли. Сима, проводив их, гремела теперь на кухне посудой.

Вернулся вдруг Тульцев. Зашептал на ухо, хотя были вдвоем:

— Сережа, ты пей, пей, если бросить не можешь сразу. Пей, но на работу завтра же выйди — понял?

Он спешил. Он хотел быть сам по себе, однако же и нагнать остальных, уже ушедших, он тоже хотел.

— Сережа, — шептал он, — ей-богу, приказ заготовлен: восемь дней прогула, это же черт знает!.. Выйдешь, а?

— Выйду, — кивнул Игнатьев.

— Завтра же, Сережик, завтра же. И убери ты это. — Он пнул ногой одну из бутылок под диванчик, где она без промедления зазвякала о другие. — Пей в гостях, пей в ресторане, но не дома... Если денег нет, одолжу.

И вновь чуть ли не молитвенный шепот:

— Выходи. Слышишь, Сережик, завтра же...

И убежал.

Игнатьев встал. Шаги дались ему тяжело, и подумалось, что направился он куда-то очень далеко, — а направился он в ванную, прихватив электробритву. Сев на край ванны, он тупо уставился в угол зеркала и брился. Ему казалось, что с этого начинается день — значит, с этого начинается жизнь. Он сто раз видел в кино такую сцену, которая могла бы в расхожем стиле называться *начало* или, скажем, *перелом.* Он сбросил помятые брюки. Напустил в ванну воды, но передумал — просто встал под душ. В комнате он не то чтобы попробовал, а лишь подумал сделать уборку: вынул одну из бутылок, близкую, выудил кое-как вторую, а затем, обессилев, вновь лег в постель.

— Сима! — позвал он.

— А?

Она появилась тут же. Она, конечно, слышала, как он брился.

— Завтра выхожу на работу, — сообщил он.

Она заплакала:

— Правда?

— Правда.

Она пригладила ему волосы. Движение было быстрое, истинное:

— Сережа... Ты же простил меня, ну зачем ты пьешь?

Она плакала:

— Ну да, со мной было все это; согрешила. Как помрачение было. Но прошло, но ведь прошло, Сережа. Я ведь каялась, но если хочешь, еще буду просить — прости меня...

Она села рядом, на краешек. Так сидел и Тульцев.

— Ну пил — я понимаю, ну забыться хотел — я понимаю, но хватит же, хватит, родной мой, мой любимый.

Движением ладони она обмахнула с милых своих щек слезы:

— Нет, Сережа, гляди на меня — не отворачивайся. Я хочу видеть глаза...

Она, обняв, повернула ему голову, чтобы смотрел прямо: она называла это — заглянуть в душу. Он смотрел в глаза, а потом на ее истончившиеся руки, на плечики — она сохла изо дня в день: выходных тут не было, все дни были рабочие.

— Худенькая, — проворчал он.

— Ну а как же — мне ведь надо быть на диете. Временно. Ты же сам знаешь... И вообще: худоба сейчас в моде. Разве ты не хочешь, чтобы твоя жена выглядела изящной?

Она встала:

— Посмотри, какая я стала стройная. Еще немного, и я буду совсем как в юности.

Она опять присела к нему, рядом:

— И забудь. Забудь все — мне не нужны больше ни компании, ни театры, ни пьянки. — Она укрыла его. Она подоткнула с боков одеяло. — Спи. И не думай ни о чем. У нас все будет хорошо. Я верю в это...

Голос ее даже немного зазвенел:

— Я верю в это, слышишь? У нас все будет хорошо. Все как раньше.

И уже в дверях, оглянувшись, улыбаясь, сказала:

— Утром я сварю тебе кофе, да?

На работе его клонило в сон, и лишь с натяжкой можно было сказать, что Игнатьев сидел, — он едва удерживался на стуле. Но, пусть и с натяжкой, до обеда он выдержал, притом даже отметил, что сравнительно с пустой квартирой на работе ему жить легче, если сидеть и спать. В том смысле, что меньше думается. Он, правда, и здесь посчитал дни и мельком заглянул, как глядят в чужое окно, в те будущие помеченные утратой вечера, когда он останется один на один с сыном. Окно-то было не чужое: свое. Мысль лишь скользнула и смазалась по тому времени. И исчезла.

После обеда он все же уснул, сидя, но его, оказывается, опекали и во сне. К нему своевременно подскочил Тульцев. Бодрый инфарктник растолкал его:

— Сережик... Расскажу тебе новость: они же так пихали наверх этого Гумырина, и вдруг — бац! — выясняется, что у него нет стажа. Но каков хитрец: ввел в заблуждение весь отдел кадров!..

Он подтолкнул Игнатьева:

— Да не спи же, черт! — И шепнул: — Вот и молодец. Держись.

Игнатьев повел глазами и на выходе, в дверях, увидел замдиректора. Зам заглянул к ним в отдел и на ходу что-то производственное с кем-то выяснял, но если он даже и впрямь выяснял, то несомненно, что заодно он при-

глядывался, — потому-то Тульцев держал Игнатьева в напряжении и тоже будто бы говорил о важном, не давая уснуть, ни тем более упасть со стула.

Зам удалился в меру довольный. Во всяком случае, он не подскочил и вообще не сказал Игнатьеву ни слова: понимал, что первый день — это первый.

— Молодчина! — Тульцев шепнул Игнатьеву уже громче и стиснул по-товарищески локоть.

И ушел.

И теперь лишь перед самым концом рабочего дня потревожили его дрему: позвонил Ваня Корнеев. Телефон у Игнатьева, слава богу, на столе — не шагать, только протянуть руку.

— Сергей?

— Да.

— Слушай внимательно: та дама из нарсуда полностью в наших руках. Полностью и всецело. Но чтобы уж совсем наверняка, нужно еще некоторое время. А кстати, скажи — ты не мог бы достать альбом Пикассо?..

Игнатьев смутно и тяжело слушал: он никак не понимал, про что речь. Он даже подумал, что, может быть, оглох.

— Что?

— Пикассо...

Ваня Корнеев, поэт-лингвист и собиратель, был вежлив, и тут сомнений быть не могло. Но Ваня Корнеев был и напорист. Одариваемый, он еще в тот раз, разумеется, сообразил, что его сослуживец Игнатьев вовсе не достает ему альбомы, а в острой, так сказать, житейской нужде отдает и сбывает свои. Собиратель собирателя не только поймет, но и почувствует. Среди игнатьевских альбомов должен был быть и Пикассо (Ваня Корнеев это знал), и едва ли Игнатьев пожалел или же поскупился: всего скорее альбом упал, съехав куда-то с полки, и завалился. Альбому не место в пыли. И почему бы Игнатьеву, в какой бы печали и в каком бы загоне он ни был, не заглянуть за свой же шкаф?.. Ваня Корнеев

всего этого в лоб не сказал, это могло быть невежливо и даже нетактично. Ваня Корнеев лишь повторял:

— Пикассо... Очень нужен Пикассо.

— Да, да, Пикассо, — вяло произнес Игнатьев и положил трубку. Точнее сказать, он ее уронил. О чем речь, он так и не понял: первый день ему давался с трудом.

Вечером, увидев его в ничуть не меняющемся и прежнем хмельном состоянии, Сима рассвирепела:

— Развлекайся, гуляй, изменяй мне — мсти, если уж так хочется, но жизнь не гробь!

Она думала, что, кто его знает, может, мстит?

— ...права не имеешь гробить здоровье. Ты кормилец — запомни! Не о себе, так о ребенке своем подумай!

И уже с утра следующего дня Сима от невнятицы и затаенного подсчета взаимных обид перешла к действиям; ждать, что будет, она не хотела да уже и не умела. (Это было характерно: чем заметнее Сима худела, тем решительнее становились ее слова и тем тверже поступки, до мелочей вплоть. Строжайшую диету она выдерживала теперь легко и просто. Она жила по часам — от часа к часу и минута в минуту принимала лекарства.) Буквально на глазах превращаясь в человека с волей и вполне в логике новообретенного характера, Сима объявила ему в то утро, что подает на развод:

— Ни мне, ни моему сыну ты такой не нужен.

Сима стояла на середине комнаты, а Игнатьев валялся на диванчике.

— Ты все слышал?

Она как бы спросила его и только после этого ушла, а Игнатьев блуждающей мыслью уперся в разность: он, мол, в свое время готовил развод за ее спиной и втихую, а вот Сима вела игру в открытую: была на высоте.

Вечером (он кое-как высидел на работе еще один день) Сима сделала следующий шаг, уже не столько правый, сколько правовой: она запретила Игнатьеву входить в ее комнату без стука и не по делу, — так было объяв-

лено. И ни под каким предлогом не входить в комнату к сыну — чужой значит чужой.

— Повторяю: не смей входить к Витьке — пьянство травмирует детей, ты это знаешь.

Сима добавила:

— И не пей дома. Пей где хочешь — хоть на улице, хоть за углом.

Игнатьев, надо сказать, с отгороженностью примирился не сразу, хотя сам этого и не понимал. Нет-нет и он входил к ней (стуча в дверь), переталтывался на входе, после чего мычал и пытался что-то спрашивать. Он вообще вел себя как-то глуповато. А иногда они сталкивались на кухне.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивал он, сипя и отворачивая лицо, чтобы на нее не дышать.

Или:

— Погода неплохая; может быть, я прогуляюсь с Витькой?

Сима чеканила:

— Иди в свой угол.

И говорила вслед:

— Пока пить не бросишь, никакого снисхождения. И даже если совсем бросишь пить, поверю не сразу. Пусть год пройдет...

— Железный характер, — хрипел он.

— А ты как думал.

Ближе к ночи Сима вошла к нему (она постучала в дверь) и, не глянув даже, лежит ли он лицом к ней или лицом к стене, все тем же воздушно-легким шагом худеющего человека прошагала к книжному шкафу:

— Мне нужен Пикассо...

Объявлять прямо и жестко — это стало уже обязательным в ее характере.

— Я была у Корнеева. Он обещал помочь мне с разводом и попросил альбом Пикассо, где же он?..

Игнатьев, уже не чувствующий, лежал в привычной прострации; он лежал на левом боку, а час назад он

лежал на правом. С работы он шел выпивать к своему давнему приятелю Шестоперову, оттуда приходил домой и валился на диванчик... сейчас он разлепил глаза и увидел жену, вставшую на цыпочки и заглядывавшую за шкаф. Он не удивился. Удивляться было нечему: он и Сима так долго прожили вместе и так основательно срослись за эти пятнадцать лет, что, как только пришел ее черед и час, жена направилась к разводу тем же путем, что и он. Она тоже захотела обойти гору, а не лезть через. Она обратилась к тому же Ване Корнееву и, быть может, теми же самыми словами Ваню просила и торопила.

Найдя альбом, Сима обмахнула паутину и понесла его, удерживая на весу в тонких худеньких руках.

В голосе звенькнуло ироническое торжество:

— Спи, милый, спи — я заходила по делу.

Удивительны были маленькие ее хитрости: хитрости не женщины, а именно что жены, хотя и разводящейся. Сима чуть ли не ежедневно подсовывала ему газеты, где боролись с алкоголизмом, а также с бытовым пьянством. Она оставляла газеты, особенно же книги, на кухне, возле плиты, где Игнатьев утром заваривал чай и легко похмелялся. Как и все, кто вдруг стал человеком с характером, Сима лишилась былой чуткости; ум ее как бы усох, сделавшись слишком устремленным и негибким — книгу, скажем, она оставляла на столе раскрытой именно на т о й странице, а не за страницу-две до сценки с моралью. Сима предпочитала, чтоб и картинка была рядом с изображением распада семьи: косматый человеко-алкаш, совсем дикий, потрясал там кулаками, а по углам жались несчастные испуганные его детишки.

— Игнатьев приветствует Шестоперова, — говорил он давнему приятелю примерно в один и тот же час раннего вечера (после работы), возникая на пороге его квартиры: замшелой и заросшей квартиры холостяка.

Квартиры он, по сути, не видел. После приветствия он проходил сразу на его замшелую кухню. Игнатьев не спешил, но и не мешкал. Он извлекал из портфеля бутылку и минутой-двумя позже уже мыл себе граненый стакан.

А одинокий и печальный Шестоперов почти тут же начинал говорить о своем:

— Да, брат. Женщина — это тайна.

Тихий Шестоперов размышлял вслух:

— Я ведь думал, я изучал... Теперь, брат, я знаток женщин, и ты можешь в этом не сомневаться...

Игнатьев пил, и пить ему было уютно. Речь Шестоперова, сидящего напротив, плавно и негромко текла, как течет близкий ручей, на который внимания можно вовсе не обращать, а звуки — не слышать.

— ...Однако если у женщины ноги искривлены чуть внутрь, от нее можно ожидать всякого. Особенно к сорока — такие женщины обычно уже невозбуждаемы и потому коварны.

— Н-да, — невпопад вставлял Игнатьев, — с кривыми ногами, конечно.

— Но есть, брат, и другая закономерность: если у нее ноги более пышные к бедрам, она слабовольна, сластена по натуре и устоять не способна. Таких обычно берут грубо...

Погружаясь в опьянение и в нем пребывая, Игнатьев полуспал; он смотрел в окно, а иногда натыкался взглядом на приятеля и тоже смотрел. Люди меняются. Шестоперов был когда-то весельчаком, боевитым малым, но неудачно женился, что обнаружилось совсем скоро: через полгода или даже меньше того жена сбежала с геологом. Она и не подумала вернуться. Она и не подумала оставить ему записку с более или менее красивыми словами. Побег потряс Шестоперова: бедняга не понимал, как это так случилось. Он решил, что в будущем ошибка не должна повториться. Он решил, что надо бы всерьез изучить женщин. И вот уже десять лет он занимался теорией.

— Пойду, — сказал Игнатьев и встал.

Он двинулся к выходу, а давний его приятель, в меру свихнувшийся от холостяцкой жизни, провожал его до лифта.

— Посиди еще, — попросил Шестоперов.

— Не могу — к десяти надо быть дома.

— Жена ждет? — И Шестоперов, спросивший, печально и завистливо сглотнул ком в горле.

Игнатьев не ответил.

Вернувшись домой к десяти, Игнатьев постоял у подъезда, а потом стал ходить вокруг дома. Сыпал снег. Ждал Игнатьев недолго — врач в свитере и с лыжами на плече уже шла ему навстречу.

Ценя чужое время, Игнатьев сразу же стал ей рассказывать:

— Сима ходит. И работу не бросает... Не жалуется вроде бы.

В интонации голоса он всегда хранил надежду, пусть малую; но надежды не было.

— Да, да, — кивала головой врач, — это известный период. Это хорошо известный период. Он-то и говорит о близком конце.

Они постояли на морозе минуты три.

— ...Но у нее нет болей.

— У нее есть боли — не очень пока сильные, она мне вчера жаловалась. Я ей дала таблетки с опием, она, конечно, про опий не знает.

Врач добавила:

— К счастью, если тут уместно о счастье, у вашей жены сильная воля.

Врач глянула на лыжню, которую присыпало снежком. И теперь Игнатьев должен был сам и первый заметить, что мороз и что она-то в свитере, да ведь и лыжи держит.

— Спасибо вам.

— Не за что. — Врач вздохнула. — За здоровьем следить необходимо, все на волоске висим.

Она закрепила ботинки и двинулась по лыжне быстрым, бодрым шагом, взмахивая палками и покачиваясь полнеющим телом.

В субботу с самого утра появилась Марина — Игнатьев слышал, как они с женой вдвоем сели чаевничать на кухне. Оказывается, они виделись в эти дни и перезванивались. Более того: оказывается, они вновь подружились. Они пили чай, воркуя:

— ...подруги, как правило, временные. А вот подруги юности — это подруги навсегда.

— Рано ли, поздно ли, мы опять вместе — это как закон, верно, Мариночка?

— Сима, а в кино пойдем?

Похоже было, что в наплыве чувств они там, на кухне, поцеловались.

Когда Игнатьев выполз на кухню глотнуть чаю, Марина поздоровалась сухо. Марина отвернула лицо к чашке чаю, как будто чашка чаю была ей интереснее живого человека. И обе они, женщины, согласно замолчали, показывая, что они уж обговорили и его, и его поведение, что они, разумеется, осудили и что он вне их.

Игнатьев неуместно и как-то глуповато сказал:

— А ведь я гм-м... тоже друг юности.

Они не ответили.

Он удалился в свою комнату, а они затеяли стирку. Сначала женщины переговаривались, а затем послышалось упругое биение струи в ванной, и вот загрохотала стиральная машина. Субботняя неприкаянность тяготила Игнатьева, а этот их грохот и возгласы совместного (и почему-то радостного) труда доставали его каждую минуту, как ни прикрывал он плотнее дверь.

Прихватив портфель, а в нем бутылку, он отправился к Шестоперову — на замшелую кухню, где холостяк, изучивший женщин до самых глубин, пребывал, как всегда, в полном одиночестве; кажется, он читал.

С удовольствием закрывший книгу, Шестоперов почти тут же заговорил о главном. Зеленоватые его глаза повлажнели:

— ...Если у женщины обилие родинок, рассыпанных в области шеи и лица, она, как правило, холодна. Ее надо брать натиском. Она должна быть ошеломлена — согласен?

— Пожалуй.

— И еще оттенок: этот тип женщины максимально возбуждается не после заката, как прочие, а именно с утра...

Жена, бросившая Шестоперова и оставившая столь заметный шрам в его психике, давным-давно родила двух детей. Она *жила* и уже давным-давно сражалась с переменным успехом за жилье, за зарплату, за красивые тряпки и за крохотное, но свое место под жарким и общим солнцем. Вероятно, она понятия не имела, во что превратился ее бывший весельчак муж.

— Ты с ней ни разу не виделся?

— С кем?

— С женой. С бывшей женой.

— Лет пять назад, — Шестоперов заговорил, припоминая, — она написала мне письмо. Хочу, мол, увидеться — просто, мол, потрепаться и поболтать о жизни. Я отказался. Я ведь ее как тип уже знаю. Она для меня пройденный этап — как ты считаешь?

Игнатьев подумал, что его, Игнатьева, тоже ждет в скором времени одиночество — другое или, допустим, такое же в точности, но даже если полных совпадений и не бывает, все равно неясно, в какую сторону поволокет его судьба, или он сам себя поволокет и чем кончит. И еще он подумал: *не спеши* над человеком смеяться.

— ...Главные характеристики женщины — это ее грудь, ее зад и ее колени — согласен? — ничто так не говорит о закомплексованности женщины, о ее неуверенности, как ее зад...

С тех пор как ушла жена, у Шестоперова не было ни одной женщины, он и не искал с ними встреч, он только готовился; он был теоретик. Он был чист и безгрешен, как ангел. Игнатьев отключился — тихо и непотревоженно пил, уставившись в окно, — сыпал снег.

Дома он сразу же завалился спать — а обе женщины, к этому времени стирку закончившие, теперь убирали квартиру: они делали это в охотку и весело. Сима вытирала пыль, а Марина ходила следом за ней с пылесосом.

— А помнишь, как мы ездили в Углич? Нас запихнули в комнату с храпевшей теткой...

— Ох, стонала...

— Стонала?.. Она умирала во сне! Сама же и рассказывала: «Девочки, — говорит, — я по три раза умираю за ночь!»

Обе остановились в коридоре — худенькая Сима и казавшаяся рядом с ней крупной Марина. На миг прервавшие дело, они счастливо смеялись и светились радостью от вдруг приблизившегося прошлого: в том прошлом были не только поездки, и дружба, и Углич, и храпевшая тетка — там была их молодость.

— Ой. Пропылесось заодно у него. — Сима приоткрыла его дверь.

— Надо ли?

— Надо: он же растаскивает пыль сюда. И на кухню несет, и в прихожую.

Сима легонько подтолкнула подругу:

— Не робей. Он налакался и спит... Как только разведусь, сразу же разменяю квартиру. Пусть пьет в одиночестве.

— Он же сопьется.

— А здесь он не сопьется?.. Клянусь тебе, Мариночка, я могла бы и терпеть и ладить, но ведь он Витьку губит.

Сима ворчливо добавила:

— Не волнуйся за него. Он стал совсем безвольный — какая-нибудь доброхотка его подцепит.

Сима отправилась мыть плиту. А Марина, толкнув дверь, вошла с пылесосом в комнату к Игнатьеву — смущаться или робеть и впрямь было нечего, он спал пьяным сном. Марина включила пылесос: шум уже не тревожил спящего. Можно было опрокинуть шкаф. Можно было разбить большое зеркало. Марина (после восторженных воспоминаний об Угличе в ней все еще что-то томилось) вдруг подсела, порывистая, на диванчик и, вглядываясь в лицо спящего, подумала: «А ведь я любила только тебя...» — это вовсе не было правдой, и сама она знала, что это не так, но сейчас думать об этом было приятно. После того романа с Игнатьевым у нее была несладкая жизнь одинокой женщины. Разное было. Она уже давно лишилась прежней сентиментальности.

Ей вдруг пришла в голову мысль, поразившая ее. Чуть ли не в испуге Марина выключила пылесос и стремительно выскочила из комнаты.

— Не могу, — винясь, сказала она Симе. — Мне там как-то неловко...

— А?

— Неловко мне, говорю. Иди уж лучше сама у него уберись, а я вымою плиту. Не могу видеть пьяных...

Сима махнула рукой:

— Да шут с ним. Пусть валяется в грязи — займемся лучше кухней.

Игнатьев проснулся оттого, что Сима, заглянув в дверь, крикнула:

— Эй!

Он открыл глаза.

— Эй! Хочу тебе, Игнатьев, сообщить — назначен день развода.

Она стояла перед ним тоненькая и решительная.

— Когда? — сонно прохрипел он.

— Через месяц. Одиннадцатого... Надеюсь, что ты не будешь упорствовать, не являться, оттягивать дни и вообще валять дурака?

Он подумал и сказал:

— Не буду.

— Вот и молодец.

И она крикнула на кухню:

— Марина! Свари и ему кофе за покладистость! Он такой сегодня милый, что мы за ним немножко поухаживаем...

Вялый и непроснувшийся, Игнатьев тяжело поднялся, прошагал на кухню. Ему дали чашечку дымящегося кофе.

Жена пододвинула сахарницу, а он, проследивший движение, посмотрел на тонкие, спичечные ее руки — в том разговоре она обещала, что будет изящной, как в юности. Теперь это было уже позади: теперь она была изящной, как в детстве; едва ли она весила больше ребенка. Он, вероятно, смотрел на жену слишком пристально — Марина перехватила взгляд.

И со странноватым, вдруг объявившимся оттенком в голосе, робким и одновременно лисьим, она спросила:

— Сима, а у кого ты лечишься? Кто твой врач?

— Загоруйко.

— А-а... Говорят, она знающий врач. Опытный.

— Да. И очень ко мне внимательна.

Уходя в свою конуру, Игнатьев вновь услышал тихий, все с теми же странноватыми интонациями голос Марины:

— Сима, а не затеять ли нам небольшой ремонт?

— Ремонт?

— Ну да... Квартира засверкает, как новенькая.

— Я слаба сейчас, Мариночка. Не потяну.

— Я помогу...

Чуть позже у Симы случился приступ. Игнатьев спал и не слышал, тем более что Сима стонала совсем негромко: она умела сдерживаться.

— М-м... — прижимая руки к животу, цедила она сквозь зубы.

Марина спросила:

— Вызвать врача?

— Не надо. Загоруйко сказала, что приступы время от времени будут. А потом пройдут.

— Дать тебе что-нибудь?

— Таблетки. Там, на полочке. И воды.

— Держи.

— Спасибо. Проследи, чтобы Витька лег спать вовремя — ладно? Я пойду в постель, крутит меня...

Сима стонала — потом стоны сошли на нет, она уснула. Потом заснул Витька; Марина проверила уроки и ровно в одиннадцать велела ему лечь, что он, послушный, тут же и выполнил.

Все спали. Марина прошлась по комнатам. Она потрогала стены. Оглядела кое-где потершиеся обои — квартира была хорошая. Марина не спеша прибрала в прихожей, вытерла следы ног и остатки мокрого снега, который еще днем натащил с улицы Витька.

Потом она вошла к Игнатьеву. Он спал. Марина взялась за веник — осторожно вымела мусор, а также вынесла в прихожую и спрятала в шкаф пустые бутылки. На постели Игнатьева она заметила хлебные крошки — мелькнул даже кусок сыра, ссохшийся и уже каменный. Марина перевалила спящего Игнатьева с боку на бок и отовсюду крошки смахнула. Переворачивая, она прихватила спящего руками просто и грубо, как прихватывают легкую добычу, — руки у нее были уверенные, а он спал крепко.

С утра Марина пришла к ним с рулонами обоев. Она решительно принялась обдирать обои, и обои обрывались

легко и словно бы ждали женскую руку: этак весело потрескивали. Марина закатала рукава курточки, и ее полные белые руки сновали и мелькали там и здесь. Игнатьев, заваривая чай, вспомнил запущенную, как сарай, комнатушку Марины, где ремонт не делали сто лет, но подсмеиваться не стал, только хмыкнул недобро. С утра болела голова. Кроме того, у него возникла тихая, но неотвязная мысль: посмотреть фотографии. Он шел туда и шел сюда — он не мог никак вспомнить, где фотографии лежат, а треск сдираемых обоев, оживленные голоса женщин и их суета не давали сосредоточиться.

Сима решила, что он ищет спиртное:

— Нет ничего. Не высматривай.

— Чего нет?

— Того самого.

И он подумал, что ведь действительно нет. И заторопился.

— Да... Пойду...

Марина подхватила:

— Иди, иди. Скоро одиннадцать — твои коллеги уже возле магазина в полном составе.

Обе засмеялись.

Когда он оделся, Сима подошла и сунула ему деньги:

— Купи еще бутылку.

— Зачем?

— Надо.

— Но зачем?

— Я же говорю — надо.

И вновь обе они засмеялись.

Однако когда Игнатьев вернулся, смысл дополнительной бутылки стал ясен — Марина уже привела трех рабочих. «Хозяева», то есть Сима, Витька и Марина, покрывали старыми газетами мебель, а рабочие белили потолки с помощью этакого опрыскивателя: двое торчали на стремянке, обрабатывая потолок, а третий наблюдал за ведром с раствором, — подкачивал, суетясь и перенося ведро за стремянкой вслед. Закончив побелку, рабочие

поправили на видных местах щербатый паркет. Им стало жарко; они разделись по пояс — мускулистые, крепкие пареньки лет по двадцати. Они работали опрятно и бодро. Насвистывали песенки. А в окна ломилось яркое с морозом солнце, даже и смотреть на пареньков было весело — сама жизнь; возле них, помогая, ходила его жена, высохшая и страшная.

— Какие вы ловкие! — говорила им Сима.

— Какие здоровяки! — говорила Марина.

Марине захотелось помечтать. Или же на нее просто накатило воодушевление:

— Здесь будет у тебя стоять фортепьяно. Да-да, именно здесь! Обожаю музыку. Обожаю играть вечерами.

Она простерла руки вверх. Голос ее зазвенел:

— ...Приятно начать с маленькой сонаты. Негромко. Не спеша, да?.. Там-там-там-там. Там-там-там-там. И не слышно ни соседей, ни самолетов...

Сима улыбалась:

— Чудачка, Марина. Ну чудачка. Какое фортепьяно!

Марина была душой происходящего, она была как бы над всеми ими и царила — энергичная, пробудившаяся, поспевающая там и здесь, она вдруг цвела, хорошела, переходя из комнаты в комнату:

— Мальчики! Здесь вот заделайте щель тщательнее.

— Но паркета нет.

— А я вам припасла несколько паркетин — на совесть работайте, мальчики! На совесть!

Рабочие закончили и, насвистывая свои песенки, удалились. Женщины и Витька сели ужинать.

Игнатьев ушел.

— ...Сложней всего женская душа в тридцать—тридцать пять лет, ты согласен? Она уже знает слишком много о жизни, а прощать и понимать, как прощают и понимают сорокалетние, она еще не умеет.

— Что? — переспрашивал его Игнатьев, но слушать не слушал.

Игнатьев вспомнил состарившуюся шутку о том, как пьют и разговаривают о женщинах; когда-то она казалась смешной. Как в древней той шутке (что и потянуло, пьянея, ее вспомнить), у них с Шестоперовым было точное и согласное разделение труда: один пьет, другой о женщинах... как в раю. Надо сказать, Игнатьев впервые заметил, что теоретик не пьет; он мог бы заметить и раньше.

Игнатьев налил ему.

— Нет-нет, — быстро ответил и быстро же отодвинул стакан Шестоперов.

— Почему?

— Зачем мне пить? Водка старит человека. Водка уносит человека быстрее, чем что-либо.

Они помолчали.

А затем Шестоперов пояснил несколько винящимся голосом, как поясняют самое важное:

— Я не имею права быть изношенным... Когда-нибудь я буду ездить во всякие там командировки — за мной, возможно, будут ухаживать молоденькие женщины, а что же я?.. Нет-нет, сейчас я не имею права пить...

Он еще пояснил:

— Меня ждут молоденькие сибирячки или, допустим, уралочки. Меня, может быть, ждут юные француженки, итальянки — как же я могу себя тратить на водку, ты согласен?

Игнатьев вернулся домой совсем поздно: Марины, так славно сегодня потрудившейся, уже не было, а Сима и сынишка спали. Было тихо. «За полночь...» — подумал Игнатьев и, пьяный, не решился включить свет.

Покачиваясь, он стоял в темноте прихожей.

Не сориентировавшись или же забывшись, он втиснулся в комнату Симы; ботинки он снял и потому втиснулся

сравнительно тихо. Он подошел ближе. Была луна — он видел лицо жены и видел ее тело под простыней, маленькое, как тельце ребенка. «Прогонит», — сообразил Игнатьев и, покачиваясь, вышел. Луна помогла: он только один раз налетел на стул.

Он пробрался на кухню и, чуя жажду, поставил чайник на огонь. Он включил свет. Он искал заварку, и тут фотографии вдруг нашлись сами собой — они лежали, как всегда, среди старых писем.

— Наконец-то, — просиял Игнатьев.

Он обрадовался, как радуется ребенок, нашедший свою цацку, он сделался счастливым:

— Нашел все-таки!.. Ну я молодец!

Среди прочих фотографии жены попадались нечасто. он стал выбирать их и раскладывать по хронологии.

Сначала Сима-студентка...

Нет, сначала школьница с косичками — вот она...

Теперь студентка. Теперь шли фотографии (рубежи знакомства), где он с ней вдвоем, — Сима улыбается, а он, Игнатьев, и вовсе корчит рожу... Теперь Сима взрослела. Ах, как она быстро взрослела, набирая свой нынешний возраст; фотографий и было-то всего штук пятнадцать. Игнатьев их пересчитал — четырнадцать штук. Разложенные одна к одной в неровный ряд на столе, они, если издали, напоминали ручей. Ручей вновь напомнил ему реку, быструю воду реки, которая за какие-то полтора десятка мгновений пронесла мимо него жизнь жены и унесла.

Игнатьев пьяненько шлепал ладонью по выложенным на стол фотографиям, которые не пропали и которые он (молодец!) все-таки отыскал.

— Ты со мной... Вся ты теперь здесь.

Ему подумалось, что теперь-то они неразлучны. Он даже повеселел.

СОДЕРЖАНИЕ

Маканин В. С.

М 15 Место под солнцем : Рассказы / Предисл. А. Жукова. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 316 с.

90 коп. 100 000 экз.

В новый сборник Владимира Маканина, автора известных книг «Прямая линия», «Повесть о Старом поселке», «Портрет и вокруг», «Ключарев и Алимушкин», «В большом городе», «Предтеча», «Голоса» и других, вошли рассказы, объединенные темой нравственного испытания личности, разоблачения чуждых нашей действительности приспособленческих и потребительских настроений, борьбы за социально активную позицию современника.

М $\frac{4702010200-153}{078(02)-84}$ 112—83

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 3540

Владимир Семенович Маканин

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Редактор **В. Пелихов**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **Н. Якубова**
Корректоры **Н. Самойлова, А. Долидзе, И. Ларина**

Сдано в набор 03.01.84. Подписано в печать 28.04.84. А07080. Формат 70×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 3. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 14. Усл. кр.-отт. 14,35. Учетно-изд. л. 14,9. Тираж 100 000 экз. Цена 90 коп. Заказ 2126.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.
Отпечатано в полиграфкомбинате ордена «Знак Почета» ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—42. Зак. 4—164.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В 1983 ГОДУ ВЫШЛИ КНИГИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ:

В. Алексеев. **Козероги и прочие.** Повести и рассказы.

М. Анчаров. **Дорога через хаос.** Роман и повести.

В. Ардаматский. **Последний год.** Роман-хроника.

Г. Баженов. **Пространство и время.** Повести и рассказы.

В. Бешлягэ. **Боль** (перевод с молдавского). Роман.

Ю. Бондарев. **Мгновения.**

Б. Василевский. **Отчет.** Рассказы.

Т. Джумагельдиев. **Дашрабат, крепость моя** (перевод с туркменского). Роман.

И. Друцэ. **Белая церковь. Бремя нашей доброты.** Романы.

В. Дрозд. **Земля под копытами** (перевод с украинского). Повести.

С. Залыгин. **Рассказы от первого лица.** Рассказы.

А. Зурба. **Земля родниковая** (перевод с литовского). Рассказы.

А. Калве. **Посвящается прошедшей осени** (перевод с латышского). Повести.

А. Кикнадзе. **Брод через Арагоа.** Роман.

Р. Киреев. **Подготовительная тетрадь.** Роман.

Р. Коваленко. **Хоровод.** Рассказы.

В. Козько. **Колесом дорога.** Роман.

Г. Коновалов. **Былинка в поле.** Роман, повесть, рассказы.

В. Косихин. **Последний рейс.** Повести.

Л. Корнюшин. **Отчая земля.** Роман.

А. Кривоносов. **По поздней дороге.** Повести.

Г. Марков. **Грядущему веку.** Роман.

К. Найманбаев. **Прощаться не хочу** (перевод с казахского). Повести и рассказы.

Л. Почивалов. **Сезон тропических дождей.** Роман.

В. Петров. **Хрустальный глобус.** Повести.

С. Рыбас. **Что вы скажете на прощание?** Повести и рассказы.

Родины солдаты. Сборник (Библиотека юношества).

А. Туницкий. **Жители нового дома.** Повести.

Н. Черкашин. **Лампа бегущей волны.** Повести и рассказы.

В. Чивилихин. **По городам и весям.** Публицистика.

Д. Холендро. **Плавни.** Повесть и рассказы.

А. Шишкин. **Преодоление.** Повести.

В. Шугаев. **Избранное.** Повести и рассказы.

ПО СЕРИИ «МОЛОДЫЕ ГОЛОСА» ВЫШЛИ КНИГИ:

С. Елубаев. **На свете белом** (перевод с казахского). Повести и рассказы.

Г. Караваев. **У меня появился брат.** Рассказы.

Н. Расул-заде. **Рисую птицу.** Повесть и рассказы.

Л. Репина. **Был смирный день.** Повести и рассказы.

Г. Чохели. **Послание к елям** (перевод с грузинского). Рассказы.